Арбен Кардаш Сыны Ваче



Арбен Кардаш

Сыны Вече

Роман

Дагестанское
книжное издательство
"Даггосиздат"
Махачкала 2026

ББК 84 (2-Лез)-44
УДК 821.351
К–21

Арбен Кардаш.
К–21 Сыны Вече: Роман. – Махачкала: ГАУ РД «Дагестанское книжное издательство «Даггосиздат», 2026. – 384 с.

«Сыны Вече» – это роман-размышление о выстраданной любви к истории родины и сопричастности к ней, о преданности простых людей из народа духовным идеалам и нравственным ориентирам, без которых немыслимы величие и мощь страны.

ББК 84 (2-Лез)-44
УДК 821.351

К $\frac{4702340201 - 57}{М\ 123 - 2026}$ 03 – 2026

© Арбен Кардаш, 2026
© ГАУ РД «Дагестанское книжное издательство «Даггосиздат», 2026

ISBN 978-5-297-02603-2

СЫНЫ ВАЧЕ

Роман

Если даже народ забудет свою историю,
его когда-нибудь сама история
заставит вспомнить о себе.

Ты хочешь идти, но нет тебе дороги –
Стану я тебе дорогой, хлебом с водой, едой.
Будешь строить себе дом –
Стану я тебе крышей, крепкой стеною.
Будешь подниматься в вышние покои –
Распахнусь я дверью перед тобою.
А когда познаешь меня,
Я лестницей стану, возносящей в небеса.

Из песни, услышанной от старой женщины в одном горном селе. Она говорила, что это песня о горе Алпан.

Вступление

Сразу же представлюсь: я – Антер Мазанов из древнего села Мамух, что у подножия горы Алпан. Из места с удивительной историей, где жили удивительные люди. Хотя теперь, когда сменились эпохи и время двинулось вперед, я не берусь утверждать, что подобных им не осталось в нашем селе или где-нибудь в других местах.

Среди дорогих моих односельчан человек по имени Шуай был одним из самых замечательных людей. Мне не довелось близко знать его, общаться с ним, но жизнь очень сблизила нас по духу. Нам даже не приходилось по-

жимать друг другу руку, однако его благосклонное чувство дошло до меня.

Войдя в свою зрелую пору, я много думал о нем. Даже пробовал что-то писать. Я многое узнал о нем от односельчан. Но ничего у меня не получилось, постоянно что-то мешало, не хватало времени, не удовлетворял ворох набросанного, который не желал уложиться в должную форму. Вконец я совсем было оставил мысль написать об этом необыкновенном человеке.

Но в один из дней он мне опять вспомнился. Как будто кем-то подсказанная, пришла неумолимая мысль о его имени: «Шуай – это по-лезгински произносимое имя Иешуа». Иешуа из Назарета, для христиан – Иисус Христос, для мусульман – пророк Иса. И я подумал о том, что мой односельчанин Шуай, носящий это же самое имя, действительно чем-то напоминал святого, пришедшего на землю две тысячи лет назад... Словом, я понял, что, расписавшись в своем бессилии, нельзя дать пропасть втуне истории Шуая. Надо, чтобы память о нем хранилась в сердцах многих и многих.

И другие причины напоминали мне о Шуае: этот человек, хотя мы и не успели сблизиться, оказался связанным с памятными происшествиями и мгновениями моей жизни, точно какая-то неведомая сила толкала его навстречу мне, предопределив ход событий, сбывшихся для меня и близких мне по духу людей. Помимо всего прочего, он сам хотел повидаться со мной, перед смертью написал мне письмо и оставил свои записи. Невиданные, как подумаешь, дела, начавшиеся еще в моем детстве. Я решил в них разобраться, для чего и потребовалось написать эту книгу.

Написанное мной – как осколки старинного зеркала, любовно оберегаемого, но которое по каким-то причинам разбилось: одни осколки мне удалось собрать, а другие безвозвратно утеряны. Возможно, сюда попали и кое-какие посторонние осколки, но мне кажется, что они похожи на осколки моего памятного зеркала и могут заменить

пропавшие. Я не пытался воссоединить осколки: разбитое зеркало не склеишь. Попытки лишь усилят в сердце боль, вызванную сожалениями о потере. Какие есть, такими я их и предоставляю на суд читателя...

Я знаю, что, как в капле росы отражается мир, так и осколки моего разбитого зеркала вмещают в себя и отражают – каждый осколок по-своему – людские судьбы и картины разных эпох. События, описанные в книге, объединяет друг с другом Шуай, необыкновенный человек из нашего села. Создается впечатление, что если не было бы Шуая, не произошли бы и те события, а судьбы людей, связанные с ним, оказались бы другими.

И я бы желал, чтобы читатель понял: мои записи, которые я уподобил осколкам разбитого зеркала, заключают в себя цельную историю как отдельных людей, так и всего народа.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1

Начну я не с детства... Вспоминается мне рассказ, довольно беспомощный, написанный мной, когда я учился в Москве в Литературном институте. Хотя происходящее в рассказе не имеет никакого отношения к моей истории, случай, связанный с ним, заставил меня, тогда двадцатидвухлетнего, впервые глубоко задуматься о Шуае и его судьбе.

С другой стороны, надо сказать, что мой рассказ оказался в странной связи с привычкой Шуая, которую он приобрел в свои последние годы: и в Москву до меня дошел слух о том, что он собирает бутылки по сельским улочкам. О том же, прежде всего, был и мой рассказ. Мою историю с бутылками вы поймете сразу. Почему Шуай собирал бутылки, это я узнал очень поздно: он собирал их не для того, чтобы сдать в магазин за деньги или обменять на что-то нужное, у него был иной повод, к которому мой рассказ подведет в нужное время.

А здесь я приведу свой рассказ таким, каким он был написан в пору моего студенчества, хотя как художественное произведение он не представляет собой никакой ценности, в нем запечатлелись моя молодость, моя наивность и правда тогдашних моих дней. Но приводить их в соответствие с моим днем сегодняшним, означало бы зачеркнуть годы своей молодости.

Осень

Рассказ студента

В моем кармане не осталось ни копейки. Стипендия закончилась, а до следующей выплаты оставалось еще несколько дней, которые надо было как-то пережить.

До последнего гроша в кармане дал волю своей молодой прыти, погулял, насколько позволяли имеющиеся деньги, но и теперь не хотелось сидеть голодным. Просить в долг было не у кого: студенты все в таком же положении – к кому обращаться?

И вот, я решил снести в магазин пустые бутылки, накопившиеся в моей комнате. Узнав об этом, мои приятели отдали мне и те бутылки, которые завалялись у них под кроватями, надеялись: появятся у меня какие-то деньги, и им что-то перепадет.

С двумя большими полными сумками, сверху заложенными газетами, скрывающими их содержимое, я осторожно спустился в вестибюль общежития. И то хорошо, там было пусто. Я не хотел, чтобы меня видели на вахте. Таким делом я еще никогда не занимался. Хотя в Москве это могло сойти за бережливость, я помнил, что у меня на родине к подобным вещам относятся далеко не одобрительно. Но сегодня у меня не было иного выхода.

Несмотря на то, что до закрытия пункта по приему стеклотары еще оставалось достаточно времени, я спешил.

На улице было безлюдно. Моросил дождь. Я пошел через расположенный рядом парк. Увы, мне не повезло: пункт оказался закрытым. Я почувствовал, как сумки сильнее стали оттягивать мне руки.

Тащить две тяжелые сумки обратно мне не хотелось, не думал я и о том, чтобы переночевать здесь, в ожидании, пока завтра утром пункт откроется. Бросить груз, с которым проделал неблизкую дорогу, это тоже мне не улыбалось.

За пунктом по приему стеклотары находился маленький пустырь, заросший сорняком. Заметно было, что

жильцы соседних унылых пятиэтажек тайком выносят сюда мусор. Меня обнадежила там небольшая яма, кем-то как будто специально подготовленная для моих сумок. Я опустил в яму сумки. Сверху прикрыл листом картона и закидал сорняками. Не довольствуясь этим, туда же я собрал часть выброшенных сюда старых галош. Видя столько галош, можно было подумать, что жители этого уголка столицы большой страны носят только подобную обувь. Иначе откуда бы они здесь взялись в таком количестве?

Я вернулся в общежитие. Ребята, мои друзья, дожидались меня. Они поглядели на меня разочарованно: я пришел с пустыми руками.

Я им все объяснил. Они меня утешили: «Ничего, ты завтра сдашь свои бутылки. Лучше утром, чем вечером». «Несъеденное лучше съеденного», – добавил я и лезгинскую пословицу.

Ночь, хотя и затянулась, но прошла. На занятия я не пошел, не мог же я не вознаградить себя за труды и моральные страдания. Я отправился к месту, где вчера спрятал свое богатство. Мои сумки никто не тронул. А пункт по приему стеклотары еще не открылся.

У встретившейся женщины я спросил время и не получил утешения: до открытия пункта оставалось еще полтора часа... А женщина была красивой...

Чем занять себя в это время? Стоять тут и ждать? Нет. Холодновато. Московская осень. Лучше походить.

А что, если догнать женщину, у которой я спрашивал время, и познакомиться с нею?

Меня бросило в дрожь от ее больших глаз, длинных ресниц, светлых волос, спадавших на плечи. Нет, не от осеннего холода меня пробирает дрожь...

Догоню и заговорю, посмотрю, попробую добиться ее благосклонности. Видимо, она одинока, когда смотрела на часы, я не заметил кольца на ее пальце. Вот она! В белом кожаном плаще! Такая стройная!..

Я поспешил вслед за ней.

Пока я догонял ее, она вошла в продуктовый магазин. И меня ноги понесли в магазин. Нет, не ноги, а сердце.

Женщина стала в конец длинной очереди. Вдруг на секунду обернувшись, она посмотрела на меня. Наверное, она видела, что я шел следом за нею. Она стояла, повернувшись ко мне спиной. Но я уловил ее милую улыбку. Однако не осмелился подойти к ней. Мне показалось неприличным при людях навязываться со знакомством. Я вышел на улицу, стал ждать, пока она выйдет.

Она вышла и прошла мимо меня, даже не взглянула в мою сторону. Но мне показалось, что она опять улыбнулась про себя.

– Девушка, можно с вами познакомиться? – сказал я, догнав ее. Чем находить окольные пути, решил я, лучше прямо высказать желание своего сердца.

– А зачем вам? – ответила она вопросом, не останавливаясь.

– Вы так красивы!..

– Красота бывает обманчивой...

– Только не у вас! – я чувствовал себя глупцом, нужные слова не находились – женщина действительно была очень красива.

Она ускорила шаг. Я понял, что моя настойчивость будет излишней. И я пошел в сторону парка.

Парк стоял весь желто-багряный. Солнце, выглянувшее из-за туч, казалось, оживило деревья, пребывающие в покойной дреме. Опавшие листья, влажные и слипшиеся от вчерашнего мелкого дождя, не шуршали под ногами и не ведали ни о чем. Но листья, еще остающиеся на деревьях и иногда, срываясь, летящие вниз, как будто наслаждались последними минутами своей жизни.

Каждый падающий лист мне казался единицей измерения времени. Я хотел, чтобы время проходило быстрее, потому что теперь у меня в сердце была не женщина, ушедшая, ничем меня не обнадежив, и не осенний золотистый багрянец, красивый и печальный, нет, а неказистый пункт по приему стеклотары у пустыря, заросше-

го сорняками. С ним была связана моя последняя надежда: «Куплю кусок масла, чай и сахар, булочки...»

Скоротав еще время, я направился в нужную мне сторону. Опять начал сеять мелкий дождь. Но несмотря на это, перед пунктом выстроилась большая очередь пожилых людей с мешками и сумками, полными пустых бутылок.

Я тоже занял очередь и дождался того, кто стал после меня, а он появился скоро. Предупредив его, что иду за посудой, я поспешил к яме на пустыре.

В яме было пусто. Мутная вода, скопившаяся на ее дне, морщилась от дождя.

– Осень, – сказал я себе. – Твои бутылки ветром унесло, приятель...

Антер Мазанов,
13 октября 1981 года

Этот рассказ я написал в тот же день, вернее поздней ночью, под свежим впечатлением, и, даже не отпечатав на машинке, послал в нашу районную газету. Правда, у рассказа должен был быть другой конец, но я его не включил в текст, думая, что из-за него мой опус не будет опубликован. С редактором газеты я был знаком еще со школьной скамьи, для меня он давно стал близким человеком и я называл его дядей Рашидом. Он с удовольствием печатал в газете немало моих стихов той поры. Он знал, что теперь я студент. И потому я надеялся, что дядя Рашид напечатает в газете и рассказ, и я без промедления получу положенный гонорар... Но я ничего не получил.

После института я ушел в армию. Отслужил, вернулся. Устроился на работу в Махачкале. Как-то я оказался в командировке в нашем районе, и навестил дядю Рашида.

Он вынул из сейфа пожелтевшие листки бумаги.

– Уж ты прости меня, сынок, – сказал он. – Я не решился обнародовать рассказ о том, как мой земляк,

который учится в столице в Литературном институте, собирает и сдает бутылки... Что, ты вспомнил о своем односельчанине Шуае? – Добрые глаза дяди Рашида заискрились лукавой улыбкой. – Теперь ты самостоятельный человек, как хочешь, так и поступай с этой своей бестолковой писаниной... А если привез что-то новое, оставь у меня...

Дядя Рашид, конечно, поступил правильно. Я бы не был в обиде, если бы он даже выбросил мой рассказ. И я заглянул к нему не по поводу моего слабенького рассказа студенческой поры. Свое посещение я назвал бы визитом вежливости.

Меня тронуло, что дядя Рашид несколько лет хранил это подобие рассказа в сейфе и теперь вернул мне. Кроме того, упоминание им имени Шуая вселило в меня чувство неопределенной радости. Тогда я и подумал, что напишу о Шуае... Дети смеялись над его странностями, особенно над появившейся у него позже привычкой собирать бутылки, хотя взрослых это не очень занимало. Однако я еще в Москве узнал, что он был не тем человеком, над которым можно смеяться. Вот почему я хотел написать о нем и как бы реабилитировать себя за старый рассказ. А случай, там описанный, в жизни получил важное продолжение...

Глава 2

– Что случилось? Пропали бутылки?

Я очнулся от своих невеселых мыслей. Передо мной стоял стройный парень с большими карими глазами и участливо смотрел на меня. По виду он приходился мне ровесником. Догадавшись, что вопрос оказался для меня неожиданным, он пояснил:

– Я видел в окно... Я живу в этом доме, – он показал на потемневшую от времени пятиэтажку напротив пункта по приему стеклотары.

– Унесли, – сказал я, невольно улыбнувшись. – Не успел сдать.

– Могу утешить тебя тем, – тоже улыбаясь, заговорил парень, – что ты не один такой. И другие оказывались в твоем положении.

– Хорошее утешение...

– Это баба Шура из нашего подъезда, – добавил он, продолжая меня утешать. – Она со всеми так поступает.

– Как это так?

– Много приходят сюда с полными сумками. Кто приходит вовремя, а кто опаздывает, не успевает сдать свои бутылки... Как и ты, оставляют свою поклажу в той яме. Как только они уходят, баба Шура уносит бутылки к себе. Потом спокойно сдает их сама.

– Ничего не скажешь, предприимчивая старушка! – засмеялся я.

(Именно этот заключительный эпизод с бабой Шурой нарочно не был мной включен в рассказ, который я отправил в районную газету, так как я точно знал, что дядя Рашид мне скажет: «Неприлично изображать повидавшую жизнь женщину, советскую пенсионерку, воровкой. Этому никто не поверит».)

Видя, что у меня настроение улучшилось, незнакомого парня потянуло на разговор:

– Ты, по-моему, студент, нет? Не из Литинститута? Ведь его знаменитое общежитие тут недалеко. Я собираюсь как-нибудь сходить туда...

– Да, я оттуда, – я пытался узнать, к чему он клонит.

– Кавказец?

Я понял, отчего его потянуло на разговор со мной. И мне самому он показался давнишним знакомым, даже другом. Какими-то неуловимыми признаками он напоминал кавказца.

– Да, я кавказец, – ответил я.

– Случайно, не лезгин? – он посмотрел на меня с горящими глазами.

– Да, лезгин, – ответил я, довольный, что не разочаровал его.

Подав сначала руку, он по-братски обнял меня. И у меня не осталось сомнений: он из наших, лезгин. Его порыв показывал, что это человек, сердце которого чего-то жаждет, хранит какое-то дорогое для него желание.

– Андрей, – назвал он себя. – А по-лезгински – Эндир... Я тоже лезгин. Учусь в политехническом техникуме... Собирался прийти в ваше общежитие, познакомиться там с лезгинами...

– В вашем техникуме не учатся лезгины?

– Нет...

Я забыл, что в Москве осень. Хотя здешняя осень не даст себя забыть: ее изысканная красота наполняет душу тихим светом, вселяет в нее безмятежность и спокойствие. «Это не осень, – приходила мне мысль, – а изнанка весны».

Большая радость – встретить в далеком огромном городе своего человека. Я забыл и про свои пропавшие бутылки, и про чувство голода, которое меня одолевало. «Руки-ноги целы, – думал я, – голова на плечах! Пойду ночью выгружать вагоны, на еду заработаю!» Однако до этого не дошло. Завладев инициативой, Андрей пригласил меня к себе. Как кунак – кунака. Как лезгин – лезгина...

– Нет, я не могу принять твое приглашение, – попытался я отказаться. – У меня неотложное дело...

Андрей взял меня за локоть и повел за собой:

– Так я тебя не отпущу... Мне надо поговорить с тобой, стха[1].

Последние его слова и слово «брат», произнесенное им по-лезгински, заставили меня принять приглашение. «Он что-то хранит в сердце», – подумал я. А кроме того, меня не очень тянуло ночью выгружать вагоны.

---

[1] *Стха* – брат.

Глава 3

Женщины нашего села каждое лето отправлялись в Гору – за белой глиной. Их рассказы о Яме, откуда брали белую глину, с детских лет сохранились у меня в памяти вместе со сказками и легендами, рассказанными бабушкой.

Уже к пяти годам я знал, что Яма, откуда достают белую глину глубокая, и, переходя в узкий туннель, тянется под землей извилистыми переходами. Еще говорили, что когда-то кто-то там остался, попав под осыпь. Но все равно туда ходили за глиной. «Почему взрослые идут к этой опасной яме?» – задавался я вопросом в детстве. Но когда мать начинала белить стены комнат в нашем доме, я все понимал: белая глина как будто обновляла дом, делала его красивее, светлее. Вместе со всеми и моя мать каждый год ходила к Яме и на спине, в плотном небольшом мешке приносила домой куски белой глины. На следующий день она делала уборку во всех комнатах. Потом белила белой глиной внутренние стены и всю переднюю часть дома. На это у нее уходило два дня. От белой глины в комнатах менялся воздух, пахло чем-то приятным, сладковато и свежо. И казалось, что жизнь в доме начинается заново. Душа как будто расправляла крылья. Я замечал, что то же самое чувствуют и все наши домашние. Если в это время кто-то к нам заглядывал, разговор заходил о Яме белой глины, о нашей главной Горе, называемой Алпан, вспоминались разные, необычные и смешные случаи с теми, кто туда ходил.

Бабушка же влажными, привычными к работе руками лепила из комков податливой белой глины кирпичики и ставила их сушиться на перила террасы. Потом один из них она несла в дом Шуая, сказав: «Это доля сына Вache».

Отнести кирпич следовало бы мне, как младшему, но я боялся Шуая, а почему, сам не мог объяснить. Его

побаивались и другие дети, потому с долей белой глины для сына Вече в дом Шуая приходилось идти старухам. И я удивлялся бесстрашию высохших и сморщенных старух, которых, казалось, свалит порыв ветра, подуй он сильнее.

Шуай со своей старой матерью Лизе жили в старой одноэтажной сакле с осыпающимися стенами. Старуха Лизе в ясные дни постоянно сидела перед своей саклей на старой овчине. Я знал, что ей не по силам белить внутренние стены и переднюю часть сакли, и никак не мог понять, почему чуть ли не из всех домов села Лизе с Шуаем несут белую глину, и что они с нею делают? Я спросил об этом у бабушки, но получил уклончивый ответ.

– Доля сына Вече, – сказала она. – Это обычай такой, сынок. Подрастешь, поймешь.

Тогда я не понимал, что бабушка сама, и повзрослев, и состарившись, так и не узнала тайну обычая, укоренившегося в селе. И для меня эта тайна долгие годы оставалась непонятной. Не был ли связан страх перед Шуаем, мой и моих ровесников, с той тайной? Порой я думал: «Может быть, и взрослые испытывают страх перед этими людьми, которые, не сходясь с другими, живущими сами по себе? И чтобы они никому не навредили, задабривая мать с сыном, сельчане несут им белую глину? В таком случае, почему несут только глину? Есть же и другие вещи, более приятные и нужные?»

Но, как я узнал позже, от Лизе с Шуаем другим людям не было никакого вреда. И взрослые их вовсе не боялись, они уважали мать и сына, не обделяли их своим вниманием. В четверг им несли хлеб, со свадеб посылали миску супа и кусок халвы, девушки и женщины приносили с родника свежую воду в кувшине. Однако среди всех прочих знаков внимания обычай одаривать их белой глиной оставался главным. Глина давала им пропитание. К ним из других сел приходили женщины и покупали ее.

Старуха Лизе ничем не отличалась от остальных старушек, Шуай же ничем не походил на других сельчан.

Может быть, у детей вызывал страх внешний вид Шуая?

У него густо росла борода. И летом и зимой он ходил в лохматой папахе, из-под которой выбивались длинные, седые волосы, в старом бешмете, порванном, с выглядывающими из дыр темными клочками шерсти. На его ногах всегда были одни и те же тупоносые галоши, ветхие, серого цвета суконные штаны, заправленные в черные, но выцветшие шерстяные носки. В руке он держал толстую, сучковатую палку.

Зная, что его боятся и остальные дети, я не стыдился этого своего чувства. На какой угодно сельской улочке Шуай мог, точно из-под земли, возникнуть перед нами. Он ходил по одной улице, переходил на другую, мог, что-то бормоча, остановиться за углом. А дети, увлеченные беготней, неожиданно наталкивались на него и, устрашенные, убегали. Никто из детей не догадывался спросить себя: «Он же ничего не говорит, и пальцем никого не трогает. И палка у него в руках бездействует. Может быть, он нас и не видит, стоит себе, зажмурившись, покачиваясь, что-то бормоча. Почему же мы убегаем от него?»

Никто не видел, чтобы Шуай, сойдясь, с кем-нибудь разговорился. При встрече обычно с ним здоровались, могли перекинуться ничего не значащими словами, и шли дальше. Шуай отвечал на приветствие, если, бормоча, весь не уходил в себя, но он мог и не услышать ничего.

Как-то один из мальчишек с нашей улицы, желая похвастаться своей храбростью, сказал:

– Давайте, побьем его камнями.

– Давайте! – нашлись те, кто его поддержал.

Один из нас, постарше, попытался их удержать:

– Не делайте, не надо. Он и не рассердится, и не погонится за вами.

– Не может быть! – не поверил тот, кто до этого додумался.

– Давайте, посмотрим, – настояли те, кто его поддержал.

Вот так ватага мальчишек, набив карманы камнями, отправилась на поиски Шуая. Его нашли в конце круто спускающейся улицы, он стоял, прислонившись к стене дома. Мальчишки, со свистом и криками, запулили в него камни. Он же оставался стоять, отвернувшись к стене, съежившись и обхватив голову руками. Он не вымолвил ни слова, даже жестом не выразил своего негодования, точно не в него летели камни.

Не запустив в него ни одного камня, я стоял в оцепенении. Я вывернул карманы и высыпал камни на землю. Наконец успокоились и остальные ребята. Все смотрели, удивленно тараща глаза. Они ждали: вот теперь Шуай что-то скажет, обругает их, погонится за ними. Но он как стоял, съежившись, так и продолжал стоять у стены. Из него не вырвалось ни звука, он даже не взглянул в нашу сторону...

С того времени я стал его еще больше бояться. Я еще не ходил в школу, но уже готовился к ней. Я чувствовал некую связь Шуая с Ямой белой глины, и невольно об этом думал. А я ту Яму увидел позже, когда значительно подрос.

Глава 4

Никогда бы не подумал, что в жизни встречусь с этой женщиной, о которой так много слышал в детстве. Вначале я не поверил ни глазам своим, ни ушам. В нашем селе она прослыла красавицей из красавиц, вскружившей голову многим молодцам. Одному из них она отдала свое сердце, однако их любовь оказалась несчастливой. Эту девушку, носившую одно имя, но всем сельским сообществом наделенная другим именем,

я никогда не видел, однако образ ее ярко сложился в моем сознании. И тем более я не думал об увядании ее красоты. Я знал, что у нее растет сын, но не мог знать, что он мой ровесник и мы с ним встретимся...

Андрей внешне был похож на русского, и когда он назвался лезгином, я не сразу поверил, но он не шутил.

Мне казалось неудобным, что легко принял его приглашение, и попытался дать задний ход.

– Может быть, я зайду в другой раз, Андрей?

– Сначала согласился, теперь бежишь, брат? Так не пойдет! Я тебя не отпущу. Есть, это правда, и разговор к тебе... У нас с матерью... Теперь я тебя насильно уведу к себе, – смеясь, сказал Андрей.

– Ей-богу, ты похож на моего родича дядю Ходжу, – сказал я.

– Чем? Кто он?

И я рассказал Андрею о дяде Ходже.

– Он старше меня лишь на какие-то десять лет, но приходится мне дядей. И я вынужден, оказывая уважение, так и называть его. Когда в село приезжают родственники, близкие ли, дальние ли – неважно, дядя Ходжа насильно тащит их к себе домой. Он водит разбитый, хуже арбы, колхозный «ЗИЛ», который сам называет «прялкой». Так вот, представим себе, в летнюю пору, когда он с поля возит сено на ферму, дядя Ходжа видит: один его родич, приехавший из города, с кем-то беседует на улице. (Правда, я здесь скрыл от Андрея, что тем самым родственником был я, и признался в этом позднее, когда мы стали друзьями).

Останавливает он машину, высовывает из кабины голову и кричит:

– Эй, родич милый! Родич мой беспутный! Ты ли это? А ну-ка, подойди сюда.

– Да, это я, – родич, с улыбкой до ушей, идет к нему.

– Когда приехал? – спрашивает его дядя Ходжа.

– Уже третий день, как в селе.

– Чтоб дом твой рухнул! И тебе не стыдно? За столько дней не навестил меня! Не поинтересуешься, жив ли твой родич? Голодно ли ему, холодно ли? Есть же обычаи! Есть старшие и младшие. Что вы, горожане, о себе возомнили!

Дядя Ходжа сыплет упреками, а гость вынужден оправдываться:

– Что за слова, дорогой дядя Ходжа! Я всегда думаю о тебе. Собирался зайти...

– Тогда сядь в машину, – дядя Ходжа открывает дверцу.

– Сейчас не получится, дорогой дядя, в другой раз... И ты, я вижу, везешь колхозное сено...

– Колхоз пусть катится в тартарары! И так уже покатился... Ну, садись...

И так и эдак пытается дядя Ходжа уговорить гостя, а тот ни в какую, не поддается.

– Парень, ты вздумал подшутить надо мной? Ты хочешь, чтобы люди смеялись над Ходжой? Обычаи отцов ты забыл, к слову старшего не прислушиваешься... Это что же получается? С тобой надо по-другому...

И тут дядя Ходжа взбирается в кузов машины, берет оттуда толстую, длинную веревку и спрыгивает на землю. Он, неожиданно схватив гостя, скручивает ему руки назад, стягивает веревкой и вяжет хороший узел. Гость может умолять его, может злиться и кричать, но ничего не добьется. Взяв в охапку гостя, дядя Ходжа несет его и усаживает в кабину, потом едет к себе домой. Там, по всем правилам, уважительный прием гостя, соответствующее угощение. У гостя, хотя он и очень зол, очень скоро на душе проясняется, и он уже всем доволен...

– Настоящий горец дядя Ходжа! – Андрей, видимо, тоже доволен тем, что я нахожу в нем черты своего родича. – Считай, что у нас до этого не дошло.

Вот мы у дверей. Я не представлял себе, что мне откроется за этими дверьми...

– Мама, у нас дорогой гость, он лезгин, – входя, громко сказал Андрей. – Это моя мама, Арина Федоровна.

– Заходите, заходите, очень рада, – сказала вышедшая к нам женщина и, оценивающе оглядев меня, добавила: – Гость – студент.

Видя мое удивление, она пояснила:

– Ну, худой...

Ситцевый халат облегал ее крепкое и стройное тело, русые волосы, нетрудно было догадаться – густые и длинные, собраны на затылке. Большие зеленые, с карим оттенком, глаза смотрели еще молодо, но, как показалось, были подернуты застарелой печалью. Белое лицо в мелких морщинах, однако на фигуре возраст (его трудно было бы определить) не особенно отразился. Без сомнения, в молодости она была красавицей...

Угощая незнакомого гостя, которого привел сын, она говорила:

– Не стесняйся. Ешь все, что в твоей тарелке. У лезгин так делают.

О нашем обычае доедать все, что тебе положили, оказывается, знал и Андрей, к словам матери он добавил:

– Если человек не доест то, что в тарелке, то на небесах сокращают срок отпущенной ему жизни.

Конечно, эту прибаутку я слышал в детстве. К ней прибегали, когда ребенок отказывался есть. Кроме того, считалось грехом выбрасывать остатки еды.

Осведомленность Арины Федоровны с сыном о таких знакомых мне мелочах делали их близкими для меня людьми. С меня слетели остатки понятной робости, и я перестал сдерживать свой аппетит. Впрочем, не отставал от меня и Андрей.

Мы с ним помалкивали, больше говорила Арина Федоровна. Голос ее звучал красиво, слова точно светились и испускали тепло. «Таким голосом надо читать хорошие стихи», – подумал я. И тут же выяснилось, что Арина Федоровна учительница русского языка и литературы. В голове у меня как будто что-то прозвенело... Мо-

жет ли быть такое?.. Все же я учился в Литературном институте, писал стихи и рассказы. Почему у меня не может быть провидческого дара?.. С молодым самомнением, набравшись смелости, я спросил у Арины Федоровны:

– А вы случайно не Ширинат?

Мой вопрос для нее прозвучал как гром среди ясного неба. Сидя на стуле, она оцепенела, не в состоянии вымолвить ни слова. Андрей встревожился:

– Мама, милая, принести воды?

Он быстро выбежал в кухню и вернулся со стаканом воды. Но мать уже пришла в себя, взволнованно задвигалась.

– Уже прошло, – она отстранила стакан. – Ничего, бывает...

– Извините, – проговорил я, – кажется, я поступил глупо...

– Нет, нет, не думай... Просто старая рана...

– Значит, ты из нашего села? – у Андрея радостно заблестели глаза.

– Да, – ответил я, сердце у меня сильно стучало. – Я из Мамуха.

– Как я понимаю, ты слышал мою историю от односельчан, – со вздохом сказала Арина Федоровна.

– Да, это так.

– Шуай еще жив?

– Жив и здоров.

– Как-то я собралась даже написать ему письмо, но не написала... Не захотела и ему напоминать однажды испытанное... – Она понизила голос. – Он святой человек...

Видимо, теперь и ей трудно стало говорить. Я мог представить себе, что пробудил в ее сердце. О том невозможно было в те минуты говорить спокойно. Я встал.

– С вашего позволения, я пойду, – сказал я.

– Смотри сам, сынок, – сказала Арина Федоровна. – Но не забудь про наш дом... Как-нибудь в спокойный час я расскажу... Может, тебе пригодится...

Что-то материнское прозвучало в ее голосе... Я имел хорошее представление о событиях ее молодости, в селе о них помнили. Но, конечно же, для меня важно было услышать обо всем от самой Арины Федоровны.

– Спасибо большое. Еще раз извините, если что не так.

– Смотри, обязательно заходи, – повторила Арина Федоровна свою просьбу.

– Мы же односельчане! – сказал Андрей. – Если потребуется, я возьму пример с твоего родича Ходжи.

– Такого я не допущу, – я пожал ему руку.

Глава 5

В первый мой школьный день мне довелось лицом к лицу столкнуться с Шуаем.

В школу меня повела бабушка. Она надела свое черное платье, накинула на голову черную шерстяную шаль, обулась в новые галоши. Так она наряжалась в особых случаях. Стоит добавить: бабушка не ходила на свадьбы; это у нее повелось после того, как на войне погиб ее брат, а на свадьбы из дома она посылала, с положенными дарами, своих дочерей.

Со всех улиц нашего большого села в сопровождении матерей и бабушек (мужчинам появляться на людях с малышами считалось зазорным) шли мальчики и девочки, мои ровесники. У всех были сшитые из ткани разноцветные сумочки с книжками и тетрадками. В те годы у школьников редко видели портфели. У младших обычно были тканевые сумочки, а старшеклассники держали книги просто подмышкой. У меня была сумочка темно-зеленого цвета. На одной стороне ее был кармашек для чернильницы, из которого она не выпадала, выпячиваясь, как детский кулачок.

Первая мысль, пришедшая мне в голову в школьном дворе: «Все мы похожи на маленьких пастушков.

Не хватает палки в руке и пяток ягнят перед каждым, и на луг бы...» Даже не мысль, это было желание. Хотя оно и рассмешило меня, на сердце было неспокойно. Как мне вести себя в таком шумном столпотворении? Ведь я был в семье единственным ребенком.

Сначала, поздравляя нас и ободряя, говорили учителя, потом прозвенел первый звонок. Когда нас повели в классы, я потянул бабушку за платье и заявил:

– Я не хочу в школу!

– Что ты говоришь, сынок? Ты же теперь взрослый, мужчина. Стыдно... – крепко держа за руку, она повела меня в класс. – И я пойду с тобой, вместе будем учиться читать и писать.

Слова бабушки помогли мне кое-как взять себя в руки. Она была неграмотная, и я принял ее слова за чистую монету. Она что-то сказала учителю на ухо. Меня посадили за первую парту около двери. Бабушка пошла и села на свободное место за одну из последних парт.

Ее присутствие не успокаивало мое сердце. Многие из детей знали, что она моя бабушка. «Что они подумают обо мне? – спрашивал я себя. – Нет, это не мое место!»

Учитель Рамазан, в очках с толстыми стеклами, что-то громко говорил, но его слова не лезли мне в голову. Мне казалось, что он считает нас за глухих. Или считает, что бабушка глухая? Я не мог этого понять...

«Каждый день вот так сидеть часами, как наседка на яйцах? – думал я. – Нет, так не пойдет. А если захочется в уборную? А когда проголодаюсь, кто здесь даст хлеба? И все время перед таким, в очках...» Мне казалось, что учитель видит даже то, что никто больше не видит, ни одно движение от него не ускользнет.

Тайные вопросы, которые я сам себе задавал, становились все острее.

И тут в дверь постучали. И просунулась голова, потом в дверном проеме возник Айсам, сын барабанщика дяди Балака с нашей улицы. С ним никого не было из взрослых.

Мы с Айсамом не ладили. Их дом находился выше нашего, и он постоянно кидал камни на нашу крышу. По этой причине мы несколько раз дрались на Зеленом току. Айсам был не сильнее меня, но у него было четыре старших брата. У меня же не было даже сестры. Из-за многочисленных братьев соперника мне приходилось пасовать перед ним.

Появление Айсама еще больше настроило меня на бегство из школы.

– Почему ты опоздал, Айсам? – обратился к нему учитель Рамазан.

– Поздно проснулся, дядя Рамазан, – не смущаясь, ответил Айсам. Надо будет, его братья и этого учителя посадят на место – он выглядел самоуверенным.

– Проходи, садись, – сказал учитель.

Шагнув в класс, Айсам словно прирос к полу от удивления.

– О! – вырвалось у него. – А пол тут не застелен паласами!

Класс смеялся. Улыбался и учитель. Вдобавок ко всему, Айсам вошел в класс, разувшись в коридоре.

– Мальчик, где твои сапожки? – спросил учитель.

– В коридоре.

– Почему ты их снял?

– В комнату же не заходят в обуви, – ответил Айсам, удивляясь вопросу учителя и недоуменно поглядывая на детей, сидевших в обуви. – А из них никто не снял! Мне старший брат сказал: перед тем, как войти в класс, разуйся, там настелены ковры и паласы.

Класс громко смеялся.

– Брат пошутил, Айсам. Обуйся. Садись.

Учитель Рамазан повел его к парте, за которой сидела моя бабушка, других свободных мест не было.

Воспользовавшись тем, что учитель оказался в конце класса, я вскочил с места и выбежал из класса. Сумка моя осталась в парте.

Здание начальной школы располагалось на верхней окраине села на покатом склоне. И я побежал вниз, что было легче. Едва ли нашелся человек, который догнал бы меня. Я не знал, куда я бегу? И для чего?.. Мне показалось неправильным, что один человек, усадив перед собой тридцать детей, учит их. Внутри меня что-то этому воспротивилось. Меня смутило количество детей в классе. Я потерял голову. Я бы хотел, чтобы моя учеба продолжалась не в школе, а дома, как я привык: мама пишет по одной букве, и мы читаем записанное слово. С другой стороны, я осознавал, что повел себя неподобающим образом. Если бы у меня, как у Айсама, было четыре брата, я бы не позволил себе такую слабость.

– Сынок, милый, остановись! – бабушка выскочила вслед за мной. – Как стыдно! Ты же мужчина, не дай людям повода смеяться над собой!

Я пустился вниз по узким улочкам. Я знал: побежишь в сторону Большого кима[1] или магазина, там будут люди, они могут меня задержать. Я побежал в сторону Улицы при воротах.

За моей спиной раздавался голос бабушки. Она не отставала. Я бы никогда не подумал, что она может так быстро бегать.

– Куда же ты бежишь, щенок?

Как будто я знал...

Оставив позади Улицу при воротах, я приближался к древнему склепу на окраине села. Я знал, что это место считается христианским кладбищем, но о нем тут мало что напоминало, не было надмогильных камней. А те немногие, которые еще оставались, упали, и их совсем занесло землей. Разве что древний склеп с краю (его еще называли Святилищем сына Ваче) свидетельствовал о том, что когда-то здесь действительно было кладбище.

[1] *Ким* – место в селе, где собираются мужчины.

Почему забросили кладбище со склепом? Я этого не знал. И когда подрос, почему-то не задавался таким вопросом. Но мне задал его другой человек – Эдгем Шахшан. Его отец был уроженцем нашего села. Эдгем Шахшан встретил меня в Москве, когда я там учился. Тогда в разговоре он и спросил, знаю ли я, откуда в нашем селе древний склеп и христианское кладбище? И я удивился тому, что ничего о них не знаю, не интересовался, и испытал чувство стыда. На свой вопрос молодой ученый сам же и ответил, но об этом я расскажу позже...

Склеп представлял из себя маленький, низкий домик из скальных камней. Накрытый большими, плоскими пластинами того же камня, на восток он смотрел оконным проемом в стене.

Там одни оставляли, как подаяние, мелкие монеты, а другие их забирали.

Порой разносились слухи о том, что в склепе видели бородатого человека, и что он был похож на Шуая...

Я, значит, бежал из школы...

Вдруг бабушка закричала:

– Шуай, держи его! Останови!

Но Шуая нигде не было видно. Да и бежал я далеко от его улицы. Я догадался, что бабушка именем Шуая хотела припугнуть и остановить меня. Однако меня остановил не страх перед его именем, а он сам.

Я не понял, как Шуай неожиданно возник передо мной, и как его сильные руки схватили меня. Не знаю, как бабушка увидела его, возможно, она и не видела. Она сама казалась обескураженной его появлением.

Палка Шуая упала на землю. Держа обеими руками мои руки, он смотрел мне в глаза. Удивительно, но я не боялся. Я даже подумал: «Если бы я был Шуаем, вот было бы хорошо». Его большие черные глаза блестели. Я только теперь заметил, что, хотя у него густая, с проседью, борода, он не такой уж старый, каким кажется издали.

– Хочешь убежать? – спокойно спросил он, и его слова прозвучали весомо. – Не надо бежать! Как далеко

ни уйдешь, не сбежишь, сынок. От чего ты бежишь, то останется с тобой, куда бы ты ни сбежал.

Тогда я его не понял, но мне показалось, что Шуай понимает меня, заглядывает мне в душу.

Подоспела бабушка, и он отпустил меня, точно уверенный, что больше я не убегу.

– Дитя мое! Да буду я жертвой у ног твоих! Разве у меня остались силы, чтобы бежать за тобой? Что ты вытворяешь? Ты же не теленок непослушный, а мужчина...

Бабушка не могла отдышаться.

– Пошли, – сказал я, чувствуя себя окрыленным, совершившим смелый поступок. Заключался же поступок не в том, что я убежал из школы, а в столкновении лицом к лицу с Шуаем.

– Куда? – спросила бабушка.

– В школу, – уверенно ответил я.

Бабушка изумленно посмотрела на Шуая, он же, улыбнувшись, кивнул головой: мол, идите вместе с внуком.

Вдвоем мы вернулись в школу. Бабушка постучалась и открыла дверь в класс.

– Так вы пришли к согласию? – спросил учитель Рамазан. – Проходите, садитесь.

Бабушка направилось было на свое место.

– Ты так уж хочешь учиться, бабушка? – прошептал я ей на ухо.

– Если ты выучишься, зачем учиться мне, сынок? – также шепотом ответила мне бабушка.

– Книги тебе я буду читать, а теперь уходи домой.

Конечно же, бабушка донельзя обрадовалась. Но она не знала, что я сегодня переборол в себе страх перед Шуаем. Все остальное в те минуты мне казалось не таким важным. И я был очень рад тому, что увидел в Шуае хорошего человека.

Глава 6

Шуай оказался участником еще одного события моих школьных лет.

Я уже знал, что он много времени проводит в склепе на окраине села. Но я не знал, с какой целью он посещает склеп, и эта его привычка отвела от нас, меня и моего лучшего друга Айсама, того самого, кто маленьким любил кидать камни на нашу крышу, одно недоразумение. Благодаря ему нас не исключили из школы.

Мы ходили в девятый класс. Оставалось совсем немного до наступления мая. А этот месяц любили все, дети и взрослые, в мае было много праздников. В мае весна входила в полную силу, люди в возрасте чувствовали себя помолодевшими, в них возрождались желания, молодые испытывали прилив сил, ум у них пробуждался, им казалось, что они много чего знают, предавались безобидному важничанью.

Но в том году в нашем селе радость и оживление, пробудившиеся в людских сердцах перед наступлением мая, оказались растоптанными. Разнеслась нехорошая весть о небывалом, о чем никто бы и не подумал: чуть ли не ежедневно, точнее, по ночам, у сельчан стали пропадать куры. То на одной, то на другой улице поднимались шум и крики. Если бы повадилась лиса, оставались бы следы, однако их отсутствие указывало на дело рук двуногого. В селе, где и не вспоминали о воровстве, происходящее восприняли бесчестьем для себя.

Наконец председатель сельсовета принял негласное решение: ночами держать село под наблюдением, для чего организовали маленькие группы. Каждая из них состояла из четырех человек, из взрослого мужчины и трех старшеклассников. И каждую группу прикрепили к одной улице. Участников же групп предупредили, чтобы они держали язык за зубами.

В одну из сторожевых групп входил и я, вместе с сыном председателя сельсовета Сардаром и моим дру-

гом Айсамом. А возглавлял нашу группу его отец дядя Балак, о котором нельзя было сказать, что ему не нравилось такое дело. Он всегда был готов оказать услугу селу и сельчанам. Правда, я заметил, что он не хотел видеть в своей группе сына председателя сельсовета. Я никогда не видел, чтобы им дядя Балак был доволен. Позже я узнал, что на то были серьезные причины. Но и об этом мы поговорим потом.

С ночными обходами села все пошло не так, как хотелось председателю сельсовета, точно в события вмешалась некая таинственная сила.

...Мы с Айсамом крепко сдружились, что произошло незаметно и неожиданно. Мальчик, который сидел за моей партой в тот первый день, когда я пошел в школу и попытался сбежать оттуда, оказывается, должен был ходить в другой класс. Он ушел и учитель Рамазан, тоже наш сосед, рядом со мной посадили Айсама. Я подумал: «Учитель посадил его вместе со мной в наказание за то, что я убежал. Он знает, однажды и сам видел, что Айсам бросает камни на нашу крышу и что мы с ним не в ладах. Мы в ссоре и не разговариваем друг с другом, вот он и посадил нас вместе для своего спокойствия».

– Теперь вам надо помириться, вы уже взрослые парни, – сказал учитель.

Бабушка мне заранее втолковывала, что в школе главное – слушаться учителя. Но больше, чем ее внушение, на меня подействовали слова Шуая, произнесенные им, когда он поймал меня: «Не надо бежать! От чего ты бежишь, то останется с тобой, куда бы ты ни сбежал». Их смысл до меня не доходил, но я понимал, что эти слова разумные: не надо бежать... И я просто решил, что ни от чего и ни от кого не следует бежать. И от Айсама тоже.

Я предавался своим размышлениям, когда Айсам легко толкнул меня плечом.

– Давай пожмем руки, – прошептал он мне на ухо. – Сидя за одной партой, у нас не получится не говорить друг с другом.

– Хорошо, – шепнул и я и пожал его руку. – Больше ты не будешь кидать камни на нашу крышу?

– Нет, не буду. Слово мужчины...

«Слово мужчины» – излюбленное выражение дяди Балака, о чем я узнал в ту ночь, когда мы ходили сторожами по селу. Барабанщик, заведующий сельской библиотекой, сельский острослов, отец пятерых сыновей, а еще обладатель длинных, закрученных вверх усов и, по собственному определению, «истинный коммунист». В ту ночь дядя Балак специально оделся в китель, брюки галифе и хромовые сапоги. Так он одевался, когда с другими музыкантами играл на свадьбах.

В партию дядю Балака приняли за то, что он прочитал много книг. Возможно, он прочитал все книги в своей библиотеке (их было до двух тысяч), часть которых составляли труды Маркса, Энгельса, Ленина. Из них многие места он знал наизусть. Плакаты, вывешенные в селе на видных местах – на стенах сельсовета, школы, клуба – были написаны по его указаниям.

– Ты читал книги Сталина? – спросил я в ту ночь у дяди Балака. После того, как в Москве «отца народов» вынесли из мавзолея, из библиотек исчезли и его книги. А от Айсама я знал, что его отец хранит книги развенчанного Сталина дома в отдельном сундуке.

– Да, все прочитал! – с гордостью ответил дядя Балак. По голосу, он охотно приступил бы к рассказу, независимо оттого, хотят его слушать или нет. – Из армии я вернулся кандидатом в члены партии. Тогда меня и назначили работать в библиотеку. Сказали: «И сам читай, и другим давай читать. А попадется интересная книжка, и нам рассказывай, о чем она».

– И тебе не лень было читать столько книг? – удивился Сардар.

– Я дал слово, – довольный собой, ответил дядя Балак. – Слово мужчины! И я сдержал данное мной слово.

Меня почему-то беспокоила судьба книг вождя.

– Но книг Сталина не осталось в библиотеках, – сказал я. – Как же ты их прочитал?

– Его книги сожгли после двадцатого съезда партии. А я их прочитал раньше.

– Ты их тоже сжигал?

– Да, – помолчав, ответил дядя Балак, при этом взглянув на своего сына.

– Слово мужчины... твои слова, – меня понесло. – Но как ты мог сжечь книги любимого вождя? Как у тебя рука поднялась?

– Я не виноват, что те, наверху, кто ведет народ, не умеют держать слово. Я же маленький коммунист. И я остаюсь мужчиной. Книги Сталина я берегу в сердце, как в сундуке. Его слова «Ни шагу назад!» выведены на моем знамени.

Видимо, он догадывался, что я знаю, в каком сундуке он хранит книги Сталина. И его ответ я принял как тайный знак. Он остерегался сына председателя сельсовета.

– Парень, мы собрались поговорить о Сталине или ищем куриного вора? – Айсам незаметно толкнул меня плечом.

– Слово мужчины...

Мы рассмеялись.

Ночь выдалась ясной. Мы ходили по Улице при воротах, самой большой в селе. О том, что эта улица древняя, говорило ее название. Из него явствовало и то, что когда-то в прошлом здесь находилась крепость. Вдобавок, эта часть села отличалась более узкими улочками и проулками. Наши тени, плывущие перед нами, падали на стены домов, повторяя наши движения, веселили нас. Сардар, обезьянничая, передразнивал свою тень. Из-за горы Келет поднималась огромная луна. Сейчас

луна была некстати, но ее восход нам очень нравился и подбадривал нас...

Выполнять возложенное на нас поручение мы вышли после полуночи, когда все уже давно спали. Улицы были пустынны. В то время в селе еще ни у кого не было телевизора. Обычно сельчане слушали по радио передачу и концерт на лезгинском языке, которые длились вечером с половины восьмого до половины девятого, и ложились спать.

– Нам надо выбрать место, откуда нас не видели бы, а мы могли бы наблюдать за всем вокруг, – сказал дядя Балак, как-никак он возглавлял группу. – Как вы смотрите на развалины Ясаба?

– Туда иногда приходит Шуай. Вдруг он и теперь находится там? – поспешно проговорил Сардар, и мы поняли, что ему неохота идти на развалины.

Сказать правду, мы не хотели, чтобы Сардар шел с нами. Во-первых, он был труслив, во-вторых, отец послал его, чтобы показать, что вот, мол, и его сын участвует в общественных делах. Мы понимали: если мы поймаем вора, завтра в первую очередь будут упоминать имя Сардара.

– Если Шуай и приходит, то в склеп рядом с развалинами, – кое-что знал и дядя Балак.

– Ночью? В склеп? – поразился я. – Но что он там делает?

– Он и днем приходит в склеп. Ему все равно, днем или ночью. Такой вот человек, странный... дядя Балак, остановившись, посмотрел каждому из нас в лицо. – Что же вы замолчали? Не бойтесь, я с вами!

– А мы не боимся, – отозвался Айсам.

– От него нет никакого вреда, – добавил дядя Балак. – Он чистый человек, без греха. Были бы все такими...

– Деньги, что люди оставляют на окне склепа, забирает он, – что-то знал и Сардар.

– Несколько дней назад мать дала мне деньги, чтобы я отнес их в склеп, но Шуай не взял их, – Айсам не согласился с мнением Сардара.

– Да, наши люди делают подаяния, имея в виду прежде всего Шуая, но он не жаден до денег, оставляет их нуждающимся, сиротам. И деньги из склепа забирают другие... Но кто бы ни брал, это подаяние. На благо и дающему, и берущему... Ну, пошли... Разговорились мы... Ни шагу назад! – дядя Балак резво зашагал вперед.

Меня удивило, что «истинный коммунист», хотя и не упоминая Всевышнего, заговорил о подаяниях, но я решил больше его ни о чем не спрашивать.

В развалинах двухэтажного дома Ясаба никого не оказалось. Они давно стояли без дверей и окон, от других я знал, что местами провалилась и крыша. От развалин веяло тоской, точно в них плотно осели людские боль и невзгоды. Окно в нижнем этаже, со стороны Улицы при воротах, было выбито. Через него мы вошли внутрь. Из окна, тоже без рамы, одной из комнат верхнего этажа просматривалась большая часть села, расположенная внизу. Особенно хорошо просматривались тесные закоулки Улицы при воротах. На террасах многих домов горел свет, ложась спать, сельчане его не отключали. Так поступали, чтобы осветить дорогу позднему путнику или случайному ночному прохожему. Освещенные террасы уступами поднимались вверх. Самые верхние световые пятна приближались к звездам на краю неба, и потому ночное село представлялось спускающейся свыше звездной гроздью. Всю долину, тихую в этот поздний час, заливало завораживающее лунное сияние. Только наша Большая река не поддавалась волшебным чарам луны. В такие ясные ночи ее шум становился слышнее, и казалось, что это звучит колыбельная родной земле. Не потому ли так сладко спит село, что оно убаюкано колыбельной песней Большой реки?..

– Жаль! Жаль! – вздохнул задумчиво молчавший дядя Балак. – Какой был человек, достойный!

Судьба хозяина развалин Ясаба на долгие годы оставалась у сельчан предметов разговоров да пересудов.

Одним из свидетелей беды, постигшей этого человека, стал дядя Балак. И мы, трое юношей догадывались, что ему вспомнилось прошлое. Не привел ли он нас сюда с особой целью, чтобы дать нам знать, какие невзгоды могут преследовать в жизни человека?

Лунный свет, через выбитое окно падающий в комнату, когда-то давно обмазанную белой глиной, освещал ее изнутри, делая еще явственнее, что тут царят печаль и несчастье. Некогда здесь жили люди, играли свадьбы, рождались дети, их укачивали в колыбелях матери и бабушки, пели колыбельные песни, двор оживляла скотина, стерегла собака, здесь радовались приходу гостей, предавались радушным беседам с ними... Но жизнь в доме, обустраивавшемся долгими годами, подобно тому, как ласточки лепят свое гнездо, неся в клюве комочки глины, рухнуло в одночасье.

По рассказам я знал, как убили Ясаба. Теперь, в его развалинах, я не мог не спросить о нем дядю Балака.

– Дядя Балак, значит, Ясаба убил Бетих? – неудачно начал я разговор вопросом, на который знал ответ.

– Да, тот самый ишачий сын.

– И ты все видел своими глазами?

– Я сам понес Ясаба до школьной машины. Другого транспорта в селе не было... Его не довезли до районной больницы...

– Как все случилось? За что его убили?

– Из-за женщины... Любовь была...

Я знал, что Ясаб был женат на русской женщине, посланной в наше село учительницей. Ее настоящего имени я не запомнил, но сельчане по-своему звали ее Ширинат.

– Это долгая история, – опять вздохнул дядя Балак, глядя вдаль, на звезды. – Если не уснете, могу рассказать.

– Сна ни в одном глазу! – заверил я.

– Мы пришли не сказки слушать, – Сардар дал понять, что он сын своего отца. – Зачем ворошить старое?

– Молчал бы. Ты пока еще не сельсовет, – Айсам обиделся за отца.

– Я расскажу не сказку, – дядя Балак боком сел в проеме окна. – Все это было. Подобные несчастия чтобы не повторялись, вам, молодым, следует знать о них.

– Мы слушаем, дядя Балак, – у меня пропало желание охотиться за куриным вором.

– В ту ночь веселились бурно, – начал он. – В село только что провели электричество. Ясаб много танцевал: его жена, наша русская невестка Ширинат, родила сына, и ему исполнилось сорок дней. Во все прошедшие сорок дней Ясаб не скрывал от сельчан своей радости. Ту женщину по-настоящему звали Ариной, но сельчане, которым пришелся по душе ее нрав, называли ее Ширинат – Сладость, чему она ничуть не воспротивилась.

Бетих с Ясабом не ладили с юных лет. А тут оба влюбились в красавицу Ширинат. Когда она приехала, ее поселили в доме старухи Лизе, матери Шуая. Директор школы решил, что так будет лучше: кто-то из сельчан мог не желать иметь дома русскую девушку, а поселишь в дом, где взрослый парень – могли возникнуть нежелательные проблемы. Вот и выбрал директор дом старухи Лизе. «Она приехала издалека, русская, учительница, – пояснил он старухе. – Пусть живет у тебя. Пусть будет она тебе вместо дочери, а ты ей – за мать». – «Пусть живет, – ответила ему старуха. – Разве мы из тех, кто не может принять гостей?» В словах видавшей виды старухи прозвучала и ирония: она-то знала, что, помимо подаяния белой глиной, в селе некоторые не желают никакой связи с их домом. Еще она догадывалась, что директор школы не сразу решился обратиться к ней из-за ее сына. Шуай держался в стороне от сельской жизни, не участвовал ни в каких работах или общих мероприятиях. Он был сам по себе, каким остается и теперь, живет дервишем, пустынником, отстранившимся от жизни. Видимо, мать переживала за сына, но

ничего не говорила ему, так как понимала его и любила таким, какой он есть... Словом, просьба директора больше обрадовало старуху, чем озаботило. Не загорелась ли в ней и искра надежды по поводу сына? Но это другая история...

Остановилась, значит, Ширинат у старухи Лизе, начала работать в школе. И новым именем ее сначала наделила старуха, а потом его подхватило все село, когда ее полюбили, как родную. Красивая, ладная, со спускающейся через плечо толстой русой косой – она была добра, быстро сходилась с людьми. И действительно, русская учительница заменила дочку старухе Лизе. Дом ее точно осветился. Ширинат не только стирала, носила в кувшине воду с родника. Она и изнутри, и снаружи белила саклю старухи белой глиной. Дошло до того, что ее стали называть не только Ширинат, но и «дочерью старушки». Даже разнесся слух, что в ней течет лезгинская кровь: мол, кто-то из ее предков оказался в России, обзавелся там семьей, и вот, теперь одного из его отпрысков занесло обратно в горы, вот почему Ширинат так легко обжилась в селе. Такую версию особенно охотно поддерживали пожилые селянки.

Однако они ошибались: Ширинат, со всеми ее способностями, которых оценили в нашем селе, была настоящей русской. Ее родители жили в Москве, но она знала, что корнями их род уходит в древний Новгород. Однако предположения сельчан она не опровергала, при случае выслушивала их с улыбкой.

Ее зеленые с карим оттенком глаза вскружили головы многим парням. Старуха Лизе желала бы, чтобы вскружилась голова и у ее сына. Шуай, хотя по возрасту был не намного старше, вид имел человека в годах. Молодым увлечениям он не поддавался, и надежду матери нисколько не оправдал. Вскоре в селе заговорили о том, что Шуай принял Ширинат названной сестрой, что он впоследствии и доказал.

Из всех сельских парней открыто претендовали на руку Ширинат двое, Ясаб и Бетих.

Ясаб был колхозным бригадиром, он водил и грузовик, работал и на тракторе. После школы он отслужил в армии, больше не учился, хотя и подумывал об институте, в технике же разбирался хорошо.

Бетих отличался зловредным характером, каким он и остался. Окончив двухгодичное педучилище в Дербенте, он работал секретарем в сельсовете. Маленькую должность, которую занимал, он считал главным козырем в соперничестве за руку Ширинат. «Ты ей не пара, – говорил он Ясабу. – Ты всего лишь оглобля безмозглая...»

Нельзя сказать, что Бетих завидовал Ясабу, его высокому росту и широким плечам, голубым искрящимся живым глазам, задорным пушистым усам, сам он тоже был крепким парнем, видным, разве что не имел таких привлекательных усов.

Ясаб был открыт, обходителен и со старым и с малым, умел говорить красиво и к месту. Вдобавок, он великолепно танцевал! Когда он кружился, раскинув руки, подобно орлиным крыльям, зрители, приходили в восторг, ловя глазами каждое его движение, следя за тем, что вытворяли его ноги. Все сельские девушки предавались тайным мечтам о Ясабе...

Бетих же совсем не умел танцевать и, видимо, завидовал Ясабу. Вышедшим в танцевальный круг Бетиха я впервые увидел в ту горестную ночь... Хотя он, не добившись руки Ширинат, женился на другой девушке, в сердце его сохранилась обида. И слова, сказанные Ясабом в ту ночь на площади, во время танцев, тронули его незажившую рану.

– Дорогие односельчане! – сказал тогда Ясаб. – Сегодня я не устаю танцевать, уж вы меня не обессудьте. Исполнилось сорок дней сыну, моему Андрею, которого подарила мне моя Ширинат!

Поздравляя молодого отца с его большой радостью, на площади захлопали, раздались приветственные возгласы и здравицы. А мы, музыканты, сыграли его любимую быструю танцевальную мелодию...

Молодые люди, желающие танцевать, уступали свою очередь Ясабу, и распорядитель на танцах этому не противился. С Ясабом, наверное, тогда станцевала большая часть наших девушек, село искренне разделяло радость молодого отца.

И в ту ночь едва ли кто догадывался о том, что творилось в сердце у Бетиха, о нем никто не думал. А ведь был еще повод, растравляющий его душу, о чем сельчане знали, но помалкивали. Заговорить заставил их сам Бетих...

Ясаб танцевал, когда, разорвав кольцо стоявших в кругу парней, Бетих неожиданно вышел на площадку. Подойдя со злым лицом, он рукой с размаху прижал палочки, которыми я играл на барабане. Его попытался оттащить назад тамада, без ведома которого никто не имел права останавливать музыку. Вырываясь из его рук, Бетих что-то шепнул ему на ухо. Тамада рукой сделал знак музыкантам остановиться.

– Люди! Мне надо вам что-то сообщить...

В неожиданно наступившей мертвой тишине каждый человек, застыв на своем месте, ждал, что скажет Бетих. Сельчане ведь знали о неладах между ним и Ясабом. В эти мгновения только неугомонные бабочки продолжали кружиться вокруг большой электрической лампочки, освещающей площадь, в своей компании им-то было все равно, что происходило внизу под ними.

Ясаб не хотел связываться с Бетихом, давая понять о своем добром расположении, он сказал:

– Парень, ты не прерывай мой танец. Если желаешь, раздели со мной мою радость, станцуем вместе! Зачем нам держать зло друг на друга? Не стоит этого делать!

Но Бетих его не слышал, он вышел в круг с другим намерением.

– Люди! – вновь крикнул Бетих. – Все вы знаете, что этот человек, – он указал рукой на Ясаба, – мой непримиримый враг. Однако до сих пор я о нем и не думал, мне было все равно, живет он или нет. Что было, то быльем поросло, так я решил. Нет больше причин, чтобы наши пути пересекались. Но этот человек, – рука Бетиха опять указала на Ясаба, – нанес мне оскорбление. Его слова передали мне те, кто их слышал... Вы знаете, что он сказал? Мужчины, которые не могут иметь детей, пусть посылают жен к нему...

На площади раздался смех. Бетих, чувствуя, что смех относится и к нему, возвысив голос, продолжал:

– Он бросает камни в мой огород! Но я не тот мужчина, который позволяет оскорбить себя!..

Да, сельчане знали об этой боли Бетиха: его жена не могла забеременеть. На площади опять воцарилась глубокая тишина. И тут раздался сильный и спокойный в своей правде голос Ясаба:

– Уважаемые односельчане, клянусь моим маленьким сыном, чистым от всякого греха, я не произносил таких слов!

– Ты их произнес!

Бетих, приблизившись к нему, левой рукой резко дернул его за лацкан костюма, а правой выхватил из-за пояса прикрытый кинжал и раз за разом всадил его в живот Ясабу. Все произошло в мгновение ока. Многие даже не заметили кинжала, оказавшегося в руке Бетиха.

Ожидали чего угодно, но не того, что произошло. Ясаб издал душераздирающий крик, возвестивший о беде. Тамада и парни, бросившиеся в круг, не сразу могли оторвать Бетиха от его жертвы...

Раздались крики ужаса, женские стенания вознеслись к небу. Как назло, погас и свет. Ночь была лунной, на что до этого при электрическом свете никто не обращал внимания... Никто не видел, куда исчез Бетих, и никто его не искал. Мужчины сгрудились над упав-

шим на землю Ясабом... И сегодня в моих ушах стоит его крик, помню, как он стонал и вымаливал: «Не отдавайте меня смерти! Не оставляйте моего Андрея сиротой!..»

Мне показалось, что дядя Балак, отвернувшись к стене, вытер глаза. Глубоко вздохнув, он собирался продолжать свой рассказ.

– Кто-то проходит у мечети, – шепнул Сардар, он так легко прервал дядю Балака, как будто и не слушал его.

– Ну-ну, пойдем-ка, – дядя Балак выступил вперед. – Может быть, вор? Иначе в селе кто так поздно выйдет на улицу?

Мы спустились к мечети и, стараясь не шуметь, чуть ли не на цыпочках, поспешили на ту улицу, где мелькнул прохожий.

– Надо, чтобы он нас не видел, – шептал, идя сзади, Сардар. – А самим узнать, кто он.

– Скрываться от вора? – дядя Балак был настроен решительно. – Ни шагу назад!

Вдруг мы увидели, что по узкой улочке кто-то идет нам навстречу. Мы остановились.

Идущий навстречу также остановился, он тоже увидел нас.

– Бежим! – сказал Сардар. – Не надо, чтобы он нас узнал. Это Бетих, Бетих!

– Но надо узнать, кто он, – дядя Балак пошел вперед. – Вдруг он вовсе и не вор...

Глава 7

Наше ночное приключение закончилось странным и неожиданным образом, и заставило заговорить о нас все село. Но об этом я расскажу позже.

О горькой доле Ясаба и Ширинат впоследствии я слышал не раз, и каждый, кто описывал те события, вносил в рассказ свои краски. Но я бы никогда не подумал, что услышу о них от самой Ширинат. Чем тогда все закончилось, сельчане определенно и сами не знали, о ней же высказывали лишь туманные предположения.

И вот, как все происходило в действительности, я услышал в Москве от самой Ширинат, иначе говоря, Арины Федоровны. Я узнал, что в продолжение тех событий оказался замешанным и Шуай.

А в том, что рассказывали сельчане, Шуай не присутствовал. Отсюда следовало, что ни он сам, ни его мать, старуха Лизе, никому не говорили о том, как они спасли Ширинат. Может, рассказали только дяде Джебесу, канатоходцу, но и тот об этом хранил молчание.

Поистине, те события имели такой тревожный характер, что приходится говорить о спасении Ширинат...

В дом Ясаба с черной вестью первыми успели две его сестры, молодые незамужние девушки. Они присутствовали на ночных танцах, и произошедшее увидели своими глазами. Мужчины не допустили их к упавшему брату, который истекал кровью. С распущенными волосами, обезумев, с воплями: «Убили! Убили! Брата убили!» – они кинулись к себе домой и напали на невестку, которая уже легла в постель на топчане. Сестры, начали рвать ее длинные волосы, голося и выкрикивая: «Пропади ты пропадом, стерва! Из-за тебя убили нашего брата!»

От их криков подрагивал огонек в керосиновой лампе на полочке.

Осознав беду, Ширинат перестала чувствовать боль от шлепков, которыми осыпали ее словно сошедшие с

ума заловки, и только, согнувшись, ограждала ребенка, к счастью, лежавшего у стены.

Хорошо, что их мать Селми оказалась дома. У нее достало сил, чтобы оттащить от Ширинат дочерей. Они, простоволосые, сверкая безумными глазами, стали у стен, готовые опять наброситься на невестку.

– Мой сын жив? – сдержанно, насколько это ей удавалось, спросила мать. Едва ли она сама могла объяснить, откуда взялось у нее это спокойствие.

– Его закололи кинжалом, – сказала одна из дочерей. – Мужчины увезли ее в больницу в район. На школьной машине.

Догадываясь, кто мог быть кровником, мать спросила:

– Бетих?

– Да.

Ширинат как была, согнувшись над ребенком, так и застыла. Она чувствовала, что ушла часть ее жизни, и укрывала собой, прижав к груди, сына, преспокойно спавшего, ничего не ведая о нагрянувшей беде. Она понимала, всем своим существом осознавала, что ей остается только беречь его, и это понимание наделило ее, как и старую Селми, спокойствием и силой духа. В мире для нее остался только этот теплый комочек, ее ребенок. Все остальное, и мысли, и чувства, и желания, отошли куда-то далеко, просто исчезли. Лишь спустя время, когда рана затянулась, вспоминая те страшные события, она могла удивляться спокойствию свекрови в те минуты. И всегда, когда она оказывалась в непростой ситуации, перед ее глазами, придавая силы, вставала старая Селми...

Хотя свекровь, испытывая минутную слабость, и присела на топчан к невестке, она продолжала держать себя в руках и обратилась к дочерям:

– От нее вы что хотите? В чем она виновата? Она и так несчастна. Идите, разузнайте о вашем брате. Поспешите. Догоните машину!

Мать как будто не верила в худшее. Кинжал не возьмет ее сына, подобного скале. Потом, вспоминая, Ширинат лучше и верно поняла ту ситуацию. Старая горянка многое повидала в своей жизни. Она рассказывала невестке и о случаях, когда люди умирали от кинжальных ран. Она хорошо знала, что человеку с распоротым животом, едва ли поможет доктор, да и сам Всевышний. А дочерей она посылала вдогонку за братом, чтобы обезопасить невестку с ребенком, кровиночкой своего сына. При невестке она не стала ни рвать на себе волосы, ни голосить, понимая, что для этого времени будет предостаточно. В первые минуты, услышав черную весть, она сумела совладеть собой, не потеряла рассудка.

– Иди и ты, – с прежним спокойствием, точно ничего особенного не произошло, сказала она невестке, когда дочери ушли из дома. – Бери ребенка и уходи.

– Как?.. Ясаба увезли в больницу, ему помогут, – Ширинат цеплялась за вспышку надежды, залилась слезами.

– Если хочешь, чтобы твой ребенок остался жив, беги.

– Куда? Куда я отправлюсь ночью?

– К старухе Лизе... Шуай найдет выход...

И без совета свекрови, Ширинат ушла бы к Лизе, ставшей ей приемной матерью, больше ей некуда было деться.

Селми собрала одежду, завязала в узелок, отдала невестке.

– Теперь здесь тебя могут съесть, доченька. Иди. Делать нечего. Если буду заступаться за тебя, и мне не сладко придется.

Оглушенная бедой, Ширинат не могла осознать, как она вдруг стала чужой и виновной в произошедшем.

– Мама, милая! – она бросилась на грудь свекрови. – Я не могу уйти, не повидав Ясаба!..

– Дочь моя! Мать моего внука! Тебе лучше уйти, не увидев его... Не подвергай опасности ни себя, ни своего сына...

Только теперь, покрывая поцелуями руки, щеки, глаза невестки, Селми не удержалась от слез, которых, повернувшись к ребенку, попыталась скрыть от Ширинат. Тщательно запеленав ребенка, завернув в одеяло, старуха передала его матери, подала ей узелок.

– Иди. И крепись, не поддавайся страху. Поручаю милого внука, Андрея, тебе, а тебя Всевышнему... Если что не так, прости меня, дочка...

– Милая мама... – Ширинат беззвучно плакала и ничего больше не могла говорить.

– Иди через улицу Даркал, там не будет людей... Смотри, не вздумай отрезать косу, я запрещаю тебе. Ты не видела мужа мертвым...

Мать, потерявшая сына, и мать с сыном на руках в последний раз посмотрели друг на друга.

Ширинат вышла из комнаты. Прошла террасу, спустилась по лестнице. Выйдя за ворота, она успела только сделать шаг, направляясь к улице Даркал, как за ее спиной, в доме, из которой она ушла, раздался душераздирающий стон, заставивший ее вздрогнуть и остановиться. Но она не повернула назад, нельзя было несчастной матери мешать излить свое горе.

Внизу, на улице у мечети, тоже раздавались плач и причитания женщин. Они направлялись к дому старухи Селми. Плач прерывался угрозами в адрес русской невестки, проклятиями кровавому Бетиху. Ширинат поняла, как была права Селми, выпроводившая ее из дома. Среди прочих она угадывала и голоса своих бывших соперниц. Год назад она отобрала у них лучшего сельского парня, на которого каждая имела виды, и они были непримиримы в своей неприязни к ней.

В небе сияла полная луна. Она ярко освещала и улицу Даркал, расположенную на окраине села. Эта улица была такой узкой, что по ней могли пройти арба или сани, но не проехала бы машина. Во многих домах тут никто не жил. Из-за своей тесноты и пустынности она и называлась улицей Даркал – Тесная. Здесь, как и пред-

полагалось, людей не оказалось. За годы жизни в селе Ширинат его хорошо узнала. И эта улочка ей была знакома с каждой ее колдобиной. Она шагала, ни на что не обращая внимания, прижимая к себе ребенка и прислушиваясь к многоголосому вою, который раздавался из дома, откуда она ушла. Значит, туда пришли женщины.

Дойдя до склепа на старом кладбище, Ширинат что-то почувствовала, ее встревожили непонятные звуки. Слух ее уловил фырканье лошади. И тут в тени, отбрасываемой от склепа, она как будто уловила некое движение. Ширинат, надеясь на лучшее, почувствовала облегчение и ускорила шаги. Теперь в двух неясных людских фигурах она угадала старуху Лизе и Шуая.

Глава 8

Дядя Балак недаром называл себя «истинным коммунистом», он решительно пошел вперед, не задумываясь над тем, что вором и вправду может оказаться Бетих, недрогнувшей рукой заколовший сельчанина кинжалом и за это отсидевший много лет. Не книги ли Сталина, хранящиеся дома в тайном сундуке, придавали ему силы? Айсам, конечно, не мог оставить отца в такую минуту, и последовал за ним. А я не мог оставить своего друга и, побежав, догнал его. Сардар же думал иначе, он, ничего нам не говоря, вдруг исчез.

Непростым это было делом, искать вора в извилистых тупичках улицы Даркал, где он мог укрыться за каждым углом. Нам с Айсамом оставалось только следовать за «истинным коммунистом», стараясь не терять его из виду.

Сердце мое охватила тревога, которой я старался не поддаться.

– Сардар был прав, вор – Бетих, – по словам и голосу Айсама нетрудно было понять, что у него на душе тоже неспокойно, и он боится встречи с Бетихом.

Меня бы немного утешило то, что мы думаем одно и то же и одинаково страшимся, если бы мы тут же не убедились, что охватившие нас тревога и чувство опасности являются отнюдь не ложными.

Вдруг кто-то железной хваткой взял меня за ворот, и я с громким треском больно о что-то стукнулся лбом. Когда мои глаза, из которых посыпались искры, начали опять видеть, а голова соображать, я увидел, что Айсама тоже, как и меня, держат за ворот, а треск раздался оттого, что мы стукнулись лбами, вернее сказать, нас стукнули лбами. Такой треск раздается, когда бараны с разгона ударяются рогами.

Подобное вынужденное сравнение, не вовремя пришедшее на ум, донельзя опечалило меня, и я дал себе слово, что больше никогда не последую за теми, кто зовет людей вперед. Я решил, что прав учитель Ингар, который любил повторять: «Кто бы что ни говорил, первый камень, заложенный в фундамент мироздания, это ложь. Все религиозные и философские системы, идеологии, призывы основываются на лжи. Вот почему в мире нет никакой правды. А пока останется хотя бы капля лжи, человечество не найдет своего счастья».

Разве не обманул нас председатель сельсовета, сказав: «Вы уже взрослые парни, и в школе хорошо учитесь, потому на вас можно надеяться?» Ведь наше дело – ходить в школу, а поимка воров входит в обязанности других. Оттого, что у кого-то пропадают куры, председатель сельсовета не стал излишне ломать себе голову и нашел нас, безголовых. А его собственный сын оказался умнее, вовремя сбежал...

Столкновение лбами с Айсамом навело меня на такие мысли. Но их прервал громко раздавшийся у самого уха грубый и злой голос Бетиха:

– Ну, чертовы дети, кур крадете? – оторвав меня с Айсамом от земли, он хорошенько нас встряхнул. – Кто еще был с вами?

– Никого с нами не было! – сказал Айсам, конечно, скрывая отца.

– Мы не крадем, мы ищем воров, – добавил я, чувствуя неполноценность ответа друга.

– Вы, значит, отличники, активисты, комсомольцы, да? Ха-ха-ха! – ехидно посмеялся Бетих, точно уверенный в том, что он-то знает, почему мы поздней ночью пропадаем на улице. – Отличники и воры! С вами был еще один. Кто он? Сознавайтесь, чертовы дети! Если забыли, я вам помогу вспомнить! – он еще раз крепко встряхнул нас с Айсамом.

– Это был я, Бетих! – Из-за угла появился дядя Балак. – Отпусти ребят, они со мной.

– Ага, значит, ты у воров старший, Балак?! Тот, кто хранит книги Сталина в сундуке! Ну что, у отца народов учимся воровать? Одного себя недостаточно, и сына, и соседского парня ведешь по тому же пути? – Бетих резко оттолкнул нас.

– Что-что?! Ты нас принимаешь за воров, негодяй? Мы не воры! Мы ловим воров!

Видимо, «истинного коммуниста» и барабанщика озадачило то, что Бетих знал о книгах Сталина, хранящихся в сундуке. Вот почему дядя Бетих даже не стал заступаться за вождя. А может быть, он просто лукавил, сделав вид, что не расслышал сказанное о Сталине, тем самым показывая Бетиху неосновательность его догадки.

– Я давно уже слежу за вами, видел, как вы шли, где скрывались, – Бетих и вправду принимал нас за воров.

– Нас послал председатель сельсовета, чтобы узнать, кто воры, – сказал дядя Балак. – Мы и тебя давно заметили, и шли по твоим следам.

– Теперь ты хочешь сказать, что вор – это я, чертов барабанщик? Ну да: я же сидел в тюрьме. Кто же еще может быть вором? Это хочешь сказать? Но орел мух не ловит! – последние слова он сказал по-русски.

Они стояли рядом, лицом к лицу.

– Куры – не мухи! – не уступая, по-русски ответил дядя Балак.

– Для тебя, но не для меня, – Бетих говорил по-русски. – Только не для меня! Понял, сталинист-барабанщик? – Бетих приставил к груди дяди Балака палец и слегка толкнул его.

Дядя Балак резко убрал его руку:

– Не трогай меня своей окровавленной рукой!

Его слова напугали нас с Айсамом. Держась с двух сторон за плечи дяди Балака, мы потянули его назад. Могла завязаться драка. Но что мог поделать щуплый дядя Балак с Бетихом, наделенным бычьей силой? Силы убежденности «истинного коммуниста» тут явно была недостаточно. Неизвестно, о чем думал Бетих, но мне казалось, что тот, кто убил, в другой раз пойдет на это легче, что он сам и подтвердил:

– Да, я такой! Но я убил не без причины! Кто затронет мою честь, тот поплатится! Ты меня понял, вор?

– Мы это увидим! Я соберу народ! Я сделаю так, что тебя прогонят из села! Тебе отрубят руки, которые тянутся к чужому! – дядю Балака занесло.

– И я посмотрю, кто кого прогонит, – спокойно заявил Бетих.

Его самоуверенный тон смутил меня: «А если и вправду не он крадет кур, что тогда?» И я опять мысленно обругал себя за то, что во все это ввязался.

Мне ясно представлялось, что завтра произойдет: Бетих на все село ославит нас, назвав куриными ворами. Сумеют ли дядя Балак и председатель сельсовета оправдать нас, выпутаться из сложившейся ситуации? Конечно, Бетих преступник, отсидел... Но никто не видел его с чужой курицей... Так ведь он нас тоже не поймал с краденным?..

Незаметно зашла луна.

Снизу, по лощине Большой реки поднимался туман. В детстве я удивлялся: почему наша река, стреми-

тельная, которая ворочает большие валуны и уносит их, не может также остановить туман, повернуть его вспять?

Сначала туман тянулся длинным драконом, проглатывающим реку, потом, точно распухая от проглоченной жертвы, заполнил всю долину.

Но как-то, когда я пас в очередной раз сельских телят у Большой реки, я увидел, что она сама приносит туман: река, с силой устремляясь вниз, создает встречный поток воздуха, с которым и поднимается туман. Образуясь на Каспийском море, туман сначала медленно движется с равнины к горам, направляясь по Срединной реке, затем поднимается по ущельям горных речек и потоков. А наша Большая река течет с самых высоких гор Лезгистана, она и самая стремительная, и туман здесь берет от ее норовистого характера...

И в эту ночь, как мне казалось, луна скрылась, испугавшись поднимающегося снизу тумана. Ему потребуется совсем немного времени, чтобы плотно укрыть всю долину. Вдруг ты увидишь, что мир этот стал тесен, он опустел: ни села, ни людей, небо слилось с землей, даже собаки не лают, перестала рокотать и Большая река. Люди спят, им нет дела до густо стелющегося тумана. Нет им дела и до того, что в эту ночь происходит в селе, о столкновении Бетиха с дядей Балаком, что на нас может упасть тень подозрения в воровстве. И дядя Балак, и мы с Айсамом, молча шагавшие домой, все трое хорошо понимали, что Бетих постарается нас опозорить, просто так он от нас не отстанет. Мы желали добра, но неожиданно для нас самих оно грозило обернуться злом... Как будто встречный воздушный поток загонял в ущелье туман. Для нас этот туман носил имя Бетиха...

– Куда мог деться Сардар? – нарушая наше тяжелое молчание, неожиданно спросил дядя Бетих, когда мы уже подходили к своим домам. Видимо, он тоже жалел, что отправился на поиски куриного вора.

– Как будто ты не знаешь, – недовольно и зло ответил Айсам. – Сбежал, ишачий сын!

– Плохо, если завтра и отец его так же спрячется в кустах.

Туман уже обвивал нас своими потоками, они носились по улице, становясь все гуще и плотнее. Туман набирал силу. Мы расстались, не прощаясь, не надеясь ни на что хорошее.

Глава 9

Утром меня разбудила бабушка. Если сказать правду, в те часы, что оставались от ночи, я совсем не спал. Придя домой, я сразу разделся и лег. Мать с бабушкой, ожидавшие меня, не давая остыть и моему ужину на печи, даже пошутили: «Бедненький, устал, гоняясь за ворами!» Они были против того, чтобы я, послушавшись председателя сельсовета и «истинного коммуниста», пошел на поиски куриного вора. «Это не твое дело, сынок, – сказала мне мать. – Пусть с ворами разбирается сам сельсовет. За это ему государство платит...» Я не послушался. Я хотел показать себя!.. Перед кем? Для кого? Сожаления, неприятное предчувствие прогнали мой сон. Я не спал, когда рано утром мать выгоняла корову в стадо... Потом я задремал с тяжелым сердцем, вдобавок беспокоясь и о том, как бы не опоздать в школу...

То, что меня разбудила бабушка, являлось плохим признаком. Если я не поднимался вовремя, меня будила мать. Бабушка же говорила: «Пусть поспит дитя. Один день ему можно и пропустить школу. Он не из тех, кто отстает в учебе». – «Будет пропускать уроки, будет и отставать», – отвечала мать.

– Поднимайся! Опоздаешь в школу! – бабушка непривычным приказным тоном, а обычное «сынок» я от нее не услышал. Она тотчас вышла из комнаты.

«Плохо дело», – подумал я. Поднявшись, я открыл окно, в комнату ворвался туман и быстро рассеялся в тепле. В облачном небе белел солнечный круг. Это уже лучше: если солнце просматривается в облаках, оно прогонит туман. Прошло немного времени, и небо очистилось, разорванные облака пытаются зацепиться за вершины гор, окружающие село, а остатки тумана скрываются в глубоких горных расщелинах. Солнце поднимается все выше, и облака, растаяв, совсем исчезают. И горы, и лощины, и лесочки, пастбищные луга и нивы обретают новый и праздничный вид. И Большая река шумит иначе, мелодичнее. Вся природа, а с нею и человек дышит легче.

Я уповаю на солнце. То неприятное, что сгущается надо мной, пусть рассеется, как туман в лучах солнца. Я пытаюсь приободриться...

Я умылся, приготовился идти в школу. Оттого, что голос бабушки, разбудившей меня, был другим, и мать не показывалась, я подумал, что сегодня обойдется и без завтрака. Есть мне совсем не хотелось. Но когда я взял подмышку книги и собирался пойти, из кухни выглянула мать.

– Что, наелся курицей старухи Шахни? – спросила она.

– Какой еще старухи Шахни? – сердце у меня екнуло.

– Матери учителя Ингара.

– Я не ел ее курицы! – вскричал я.

– Я-то знаю, что ты не ел... – мать вздохнула. – Но все село говорит, что съели ты, Айсам и Балак... Говорят, что видели, когда вы крали.

– Это Бетих! Он, скорее, сам крадет кур, а хочет нас опозорить.

– Говорят, он видел, как вы несли курицу. Он заявляет, что может показать, где вы ее разделали... Говорила я тебе: не ходи! – мать покачала головой.

– Пусть говорит, что угодно. Ему нечего показывать, – обозленный, с болью в сердце, я ушел со двора.

– Поешь же, сынок! – донеслось мне вдогонку.

– Не хочу!

Туман, пронизываемый солнечными лучами, рассеивался, бесследно таял. Но ничто не могло рассеять тучу, окутавшую мою душу.

Глава 10

– Шуай попросил лошадь у канатоходца Джебеса, – рассказывала мне Арина Федоровна...

Теперь я бывал у них часто, и каждый раз узнавал у нее что-то новое о тех давнишних событиях. И образ Шуая, в ореоле тайны, все больше разрастался в моем сознании, и я все сильнее желал разгадать эту тайну. И каждый раз, возвращаясь к себе в общежитие, я тщательно записывал, все то новое, что узнавал о Шуае и о моем селе. К тому времени в одном я уверился крепко: Шуая нельзя забывать, он является последним звеном, случайно уцелевшим, сохранявшим связь с большими, святыми для нас делами прошлого... Сегодня, когда я пишу эти строки, я доволен тем, что в ту пору я пришел к таким мыслям, а записи рассказанного Ариной Федоровной, я привожу, ничего в них не меняя.

– Они знали, что канатоходец Джебес их не выдаст, – рассказывала она. – Мать с сыном доверяли канатоходцу больше, чем кому то бы ни было. Между ними имелась глубокая связь. Об этом я догадалась по тому, что лошадь знала дорогу к Дому Ваче на Горе. Джебес на свои выступления в других селах возил от них кирпичики белой глины, продавал их и отдавал старухе Лизе деньги.

– Селми решила правильно, мы знали, что она так и поступит, – сказала старуха Лизе. – Нельзя медлить. Надо вытерпеть, дитя мое, крепись сердцем.

Они и словом не вымолвились о случившемся, что тронуло меня. Прижимая ребенка к груди, я старалась лишь подавить подступающие рыдания.

– Садись на лошадь, – сказал Шуай, взяв у меня ребенка и передав его своей матери. И помог мне взобраться на лошадь.

– Пока в селе не уляжется... Поедете на Гору. Здесь все необходимое, одежда и еда, тебе и ребенку, – старуха Лизе указала на пузатые переметные сумы, свисающиеся по обе стороны седла. – Держи поводья. Не бойся, мое дитя. Всевышний да сбережет тебя.

И мы отправились. Шуай шел пешком, держась рядом с лошадью. У меня в голове никак не укладывалось: почему мы идем на Гору? До меня никак не доходило, в чем моя вина в случившемся? Кажется, я еще не успела до конца осознать своего несчастья. От всего остального меня как будто ограждал теплый сверток у груди. Мои мысли были только о нем, о его безопасности. И я отдалась воле тех людей, которым верила. Они знают, что делать... Куда уйти ночью из горного села, когда кругом одни горы? Единственный рейсовый автобус, отправляющийся из райцентра в Махачкалу, в соседнее село приезжал в восемь утра. Он всегда был переполненным. Если в него и брали попутных пассажиров, до Дербента им приходилось стоять, теснясь и покачиваясь, автобус нещадно подбрасывало на разбитой, ухабистой дороге...

Перед рассветом мы дошли до Хрустального озера.

– Передохнем, – Шуай сначала взял у меня ребенка, потом помог слезть с лошади.

Неожиданно я разрыдалась: мой ум начал в истинном свете постигать беду, которая обрушилась на меня... Мы с Ясабом приходили на это озеро через два дня после свадьбы. Образованное подземными ключами, с чистейшей водой, оно занимает подгорную впадину и неописуемо красиво.

Я знала, что в селе не было принято, чтобы молодожены вместе выходили на прогулки. Однако Ясаб привел меня сюда. По его словам, в старину влюбленные юноши и девушки, собираясь соединить свои судьбы,

на этом озере давали друг другу клятву верности. Он сказал, что услышал об этом обычае от Шуая. Ясаб был одним из тех, кому Шуай доверял. Все знали, что в случае чего, Ясаб всегда готов заступиться за него.

По словам Ясаба, в старину, когда влюбленные приходили сюда, юноша должен был переплыть Хрустальное озеро, показывая девушке свою силу, убеждая ее в том, что на него можно положиться. «Так же поступлю и я», – сказал Ясаб. Я засмеялась: «Нет необходимости, мы уже муж и жена». А он пояснил: «Если парень сумеет беспрепятственно доплыть до конца озера и вернуться обратно, судьба влюбленных будет счастливой. Я хочу убедиться в нашей счастливой судьбе». Я промолчала, хотя тоже не прочь была убедиться в счастливом будущем. Он разделся, взял в зубы кинжал и бросился в воду. Хотя уже была осень, день выдался жарким, но вода в озере была ледяной. А то, что он поплыл с кинжалом, я сначала тоже отнесла к обычаю. Но оказалось, что кинжал может понадобиться в случае судороги в ногах. Ясаб доплыл до конца и вернулся без особого труда. Я спросила: «Наверное, ты не раз плавал здесь?» Он ответил: «Мы, ребята, приходим сюда купаться, когда летом косим траву, но с любимой я здесь впервые», – и поцеловал меня.

Она замолчала, точно забылась...

– Вы с Шуаем дошли до озера... – напомнил я.

– Да, и до восхода солнца оставались там. Я все плакала и не поняла, как заснула. А разбудил меня плач ребенка. Не помня себя, я вскочила на ноги.

– Бояться нечего, – успокоил меня Шуай. – Держи, накорми ребенка, – он осторожно передал мне сына.

Но оказалось, что у меня пропало молоко.

– Ты ничего не ела, тебе надо поесть, – Шуай хотел снять с лошади суму.

– Я не могу есть, – остановила я его.

А ребенок, успокаиваясь, когда брал грудь, ничего в ней не находил и опять заливался громким плачем, терзая мне сердце.

– Садись на лошадь, и быстрее, – Шуай, забеспокоившись, взяв у меня ребенка.

Сидя на лошади, я вновь попыталась дать сыну грудь, но так и не сумела его успокоить. Потом он все же заснул, укачиваемый мерной поступью лошади.

Мы все выше поднимались по тропинке. Теперь Шуай шел впереди лошади. Еще через какое-то время до нас донесся звук свирели.

– Мы приближаемся к Одинокому лугу, – спокойно заметил Шуай.

Крутая тропинка закончилась. Наверху перед нами открылась широкая зеленая лощина. Осенняя трава влажно блестела под недавно взошедшим солнцем. Отара овец спокойно щипала траву. В стороне, опустив голову, паслась лошадь. В конце лощины виднелся шалаш, покрытый сеном. Оттуда и доносился звук свирели.

– Это играет Эбил, колхозный чабан, – Шуай кивнул в сторону шалаша. – У него и возьмем молоко для ребенка.

– Там большая собака, – с непонятным спокойствием, удивляясь себе, сказала я. – Она вскочила, не бросится ли на нас?

– Не волнуйся, – Шуай выглядел еще более спокойным, чем я.

Собака, тоже спокойная, нехотя, но вынужденная исполнять свой долг, направилась в нашу сторону. Она даже не гавкнула, как будто не желая беспокоить хозяина, забыв обо всем, играющего на свирели. «Умная собака», – подумала я. Громадный волкодав с обрезанными ушами, покачивая хвостом, подошла и села перед Шуаем. Они оказались старыми знакомыми.

– Как ты, дружище Гапур[1]? – Шуай погладил его. – Сытый ли ты, тепло ли тебе? Волки не особенно тебя беспокоят?

[1] *Гапур* – кинжал.

Собака, показывая клыки в большой приоткрытой пасти, свесив язык, преданно смотрела на человека. Видимо, она понимала его. Шуай вынул из переметной сумы половину домашнего хлеба и бросил собаке. Она схватила хлеб на лету и очень быстро съела. После этого она впервые посмотрела на меня, оценила, что хлеб оказался в суме на лошади, на которой сидела и я. До сих пор для нее я была чужой, оказавшейся здесь вместе с ее другом, теперь же и я стала для нее близким человеком. Я заметила, как она, смотря мне в глаза, менялась: «улыбка» на ее морде исчезла, возникло выражение печали – почувствовала мое горе, и по глазам собаки я сама увидела, как оно велико. Кто знает, не из-за сочувствия ли мне в несчастье собака так скоро причислила меня к своим близким?

Арина Федоровна прослезилась. Тяжело вздохнув, она продолжала:

– Шуай обратился к Гапуру, попросив проводить нас к его хозяину. Волкодав пошел впереди нас. Эбил, весь отдавшись мелодии, которую исполнял на свирели, и не заметил, как мы подошли к нему. Он сидел за шалашом, лицом к вершине Горы. Мы подошли и стали сбоку от него. Гапур, никак не предупреждая его о гостях, сел возле него с другой стороны. Он тоже не хотел прерывать мелодию.

Эбил играл, закрыв глаза, отключившись от всего мира. Я в жизни не слышала такой дивной мелодии. Она отвечала моемудушевному состоянию, вызывала у меня плач, но я заставляла себя держаться, чтобы не прервать мелодию. Лишь слезы непрерывно стекали по моим щекам.

Шауй, чуть улыбаясь, взял у меня ребенка, удерживая его левой рукой, правой помог мне слезть с лошади. А Эбил все играл, Бог знает, в каких далях странствовала в те минуты его душа. И Шуай почему-то не возвращал его к действительности.

Но неожиданно на моих руках заплакал ребенок. Мне показалось, что это был не прежний голодный

плач моего сына, он жизнеутверждающе откликнулся на мелодию свирели... Да, сердце маленького человечка, только пришедшего в мир, откликнулось, принимая мелодию, плывущую над Одиноким лугом, по подножию Горы, поднимавшейся в чистое, голубое небо над ними.

И Эбил не мог не вернуться в этот мир, изумленный нежданным плачем ребенка, раздавшимся на пастбище.

Он вскочил и уставился на неожиданных гостей. Потом скинул с плеч бурку на землю и осторожно положил на нее свою свирель, словно младенца. Когда прекратилась мелодия, замолчал и мой сын.

– Что случилось? – чабан с тревогой в глазах посмотрел сначала на меня, потом на Шуая.

Эбил знал меня. Он был из тех, кому доверял Шуай, с кем он, хотя и изредка, общался.

Как-то раз, до нашей свадьбы, еще живя у старухи Лизе, я пришла с родника с кувшином за плечом. Во дворе стоял Эбил, который принес кирпичики белой глины и подаяние от чабанов – брынзу и мясо. Он обратился ко мне:

– Ну-ка, дочка, налей мне ковшик свежей воды.

– Эбил, пьешь из всех горных родников, и тут тебя жажда разобрала? – пошутила старуха Лизе. – Это вода, хотя тоже родниковая, но течет по трубам. Ты бы привез кувшин воды из того ключа, откуда сам пьешь, сказала бы тебе спасибо.

– Не один, а два кувшина воды привезу в следующий раз... Но я никогда не пил воды с рук русской красавицы, – смеясь в седые усы, сказал Эбил.

Я подала чабану медный ковшик с водой.

– Вот теперь готов хоть умереть! – заявил он. – Спасибо, дочка. Счастья тебе желаю. Да встретишь ты того, кого полюбишь, и кто полюбит тебя. Но не на стороне, а в нашем селе!..

Шуай рассказал ему о случившемся в селе.

– Ясаба... – Эбил, не договорив, помолчал. – Бетих?

– Да, Бетих... – с горечью подтвердил Шуай. – Сестры Ясаба сходят с ума... Ее мы решили увезти из села, – это он сказал обо мне.

– У меня шалаш большой, места хватит всем. Здесь можно переждать, пока там успокоятся.

– Нет, мы здесь не останемся. Мы идем в Гору. В Дом Вачe.

В это время ребенок, которого я продолжала держать у груди, опять заплакал. Я вздрогнула, волна накатившейся тоски захлестнула мне сердце.

– Это ребенок Ясаба, – пояснил Шуай удивленному чабану.

– Я-то думал, что она держит просто сверток, а прежде плач ребенка мне только почудился.

– У нее пропало молоко, вот почему мы завернули к тебе.

– Есть кипяченое молоко. Я сейчас, сейчас! – чабан забрал у меня ребенка и отдал Шуаю, меня усадил на седло у входа в шалаш. В шалаше, напоминающем уютный домик, из эмалированной кастрюли он налил молоко в миску.

– Сейчас, птенчик мой! – приговаривал он, обращаясь к моему ребенку. – Как не накормить такого дорогого гостя? Мы его накормим!

В словах старого чабана я чувствовал поддержку, они хотя бы немного успокаивали и утешали.

У горских мужчин ведь не принято брать на руки и ласкать своих младенцев, но эти двое сделали исключение для моего ребенка. Я этого не забыла...

– Ребенку трудно будет переваривать овечье молоко, – сказал чабан. – Мы его разбавим водой... Водой из горного источника.

– У тебя не найдется кипяченой воды? – спросил Шуай.

– Найдется, есть и кипяченная вода... Нет ничего, что не нашлось бы для такого гостя!

Взяв с очага, устроенного из камней, закопченный до черноты чайник, старый чабан разбавил водой молоко в миске. Слова его лились мне в сердце, взывая к терпению, давали чувствовать, что жизнь продолжается...

Мужчины оставались верными своей природе: миска, в котором чабан приготовил питание ребенку, была непомерно велика для человека, прожившего на свете всего сорок дней. У меня, как я и сегодня помню, даже нашлись силы, чтобы внутренне этому улыбнуться. Но я не вмешивалась в старания заботливых мужчин. Они порой, умиляясь, обращались и к ребенку, он же, точно все понимая и принимая их ласку, молчал. Соски не было, проглотив всего несколько чайных ложек молока, он заснул. А мужчины, взглянув на полную миску перед собой, усмехнулись.

– Милый дорогой гость! – проговорил старый чабан. – Тебя, оказывается, легко накормить.

Он налил молока в глиняную пиалу и дал мне:

– Бери, дочка, пей и ты. Помнишь, как ты напоила меня водой? Не отказывайся от моего угощения...

Я не могла пить, душа не принимала.

– Если даже не хочешь, надо пить, заставь себя. Ради ребенка...

Уговаривал меня и Шуай, и я им подчинилась...

Вроде бы я стала приходить в себя. Сначала, когда мы вышли из села, я подумала, что Шуай ведет меня на мусульманские святилища, расположенные на северной стороне Горы. Один раз я там была вместе с Ясабом и его сестрами. А тут услышала от Шуая, что мы идем в Дом Вачe, расположенный на южной стороне Горы. Оттуда близко было и к Яме белой глины, но идти за глиной мне не приходилось. Я знала, что Шуай часто бывает в Доме Вачe, хотя он никогда про это не говорил. Для всех остальных сельчан Дом Вачe являлся непонятным, таинственным местом. В отличие от мусульманских святилищ на северной стороне, его никто

не посещал. Даже дорогу туда мало кто помнил за исключением нескольких человек, которые казались мне особенными людьми, как бы по-родственному сплоченными, связанными между собой чем-то непонятным для других. Такие особенные люди, очень редкие, были и в других селах Лезгистана. Они считались кунаками Шуая, навещали его, и они вместе, стараясь не привлечь к себе внимания, отправлялись в Дом Вече. Мне казалось, что об этом знают все сельчане, но они привычно помалкивали, с уважением относясь к паломникам.

Многие считали посещение Дома Вече делом опасным. Говорили, что на той стороне Горы и в солнечный день может прогреметь гром, ударить молния. Я не могла разобраться: кунаки ли Шуая распускали такие слухи, чтобы отвадить от святилища чужих, или мусульмане, чтобы вдруг свои туда не начали ходить?..

Из сельчан одни принимали Шуая за юродивого, для других он был просто несчастливым человеком. Мнение о нем этих последних разделяла и я. Прожив у них целый год, я совершенно не знала его: мы с ним почти не общались, да и домой он приходил только ночевать. А если и появлялся днем, то я оказывалась в школе.

В его комнате стоял топчан с бедной постелью. Помогая старухе Лизе прибираться в доме, иногда я видела в комнате Шуая, на низеньком столике, замазанную глиной дощечку с непонятными мне письменами. Брызгая на дощечку водой, Шуай стирал старые письмена и отточенной палочкой наносил на нее новые. Старуха Лизе говорила, что он это делает для того, чтобы не забыть древнюю грамоту.

Уже после того, как я стала женой Ясаба, он мне объяснил, что это древняя лезгинская письменность, которую помнит только один Шуай. Две такие дощечки с письменами вскоре я увидела и в Доме Вече...

Почему после нагрянувшей беды Шуай привел меня в святилище, я поняла впоследствии, много лет

спустя: для него это был не просто дом царя Вачe, который жил в давно прошедшие времена, а Дом Бога, которому поклонялись христиане. Он, возлагавший надежды только на Всевышнего, хотел верить, что Он не оставит меня в несчастии...

В Дом Вачe мы добирались по тропе, замысловато петляющей между громадами камней и скал, порой зависая над отвесными обрывами. На особенно опасном месте Шуай шепотом, чтобы не вызвать обвала, предупредил меня: «Не смотри ни вниз, ни вверх». Остановившись, он ссадил меня с лошади, пустил ее вперед, взял ребенка, и мы пошли дальше.

Когда добрались до места, Шуай сказал: «В древности здесь было место стоянки лезгинского царя Вачe. После принятия учения Иисуса Христа, его, оставившего трон, Бог направил сюда. Это священное место».

А остановились мы перед пещерой в громадной скале. Вход в пещеру закрывали двустворчатые дубовые ворота, потемневшие от времени и изъеденные червями. Внутрь легко могла пройти лошадь. Перед пещерой, огибая ее с одной стороны, находилась площадка, как бы вымощенная плоскими каменными плитами. Скала, вмещавшая в себя пещеру, выделялась среди многих других скал и камней. Широкая у основания, поднимаясь выше, она все суживалась и вершиной упиралась в небо. Вершине скалы мастерами еще в древности была придана форма купола, а в остальном скала снаружи не подверглась обработке. Почему ее так оставили или, может быть, над нею не успели поработать, Шуай мне не сказал, а я была не в том состоянии, чтобы его о чем-то расспрашивать.

Пещера изнутри показалась мне довольно просторной. Она была в два-три раза просторнее и значительно выше обычной кунацкой в горских домах. В этом я убедилась, когда Шуай в нескольких местах зажег свечи. Помещение имело привычную четырехугольную форму, стены и потолок были не очень гладкими, но чтобы

выдолбить его, видимо, пришлось немало потрудиться. Стены и потолок были обмазаны белой глиной, но штукатурка не выглядела свежей.

На одной стене висели две овчинные шубы и пастушья бурка. В углу находилась металлическая и деревянная утварь. Пол был постелен старыми коврами. Стена напротив ворот привлекала внимание своей гладкостью, она не была обмазана глиной. Когда Шуай у той стены зажег еще несколько свечей, моим глазам представилось большое изображение распятого Христа. Прижимая к себе ребенка, я невольно приблизилась к нему. Краски поблекли, но оно как будто оживало в отблесках свечей.

– Молись и поплачь, – сказал Шуай, – тебе полегчает.

Я никогда не молилась, меня этому не учили. Мое поколение выросло в других традициях. Не знаю, как в том священном месте мне вспомнились молитвы, услышанные в детстве, когда их повторяла бабушка. Я, плача, прочла «Отче наш» и перекрестилась. (Арина Федоровна прочла эту молитву при нас с Андреем и глаза ее наполнились слезами.) Стоя за моей спиной, молился и Шуай, чему я тогда, как ни странно, совсем не удивилась. Я понимала, почему он привел меня в Дом царя Ваче, оставив трон, принявшего учение Христа: он привел меня к Богу, веря, что у Него я найду самую крепкую защиту, лишь Он послужит мне опорой. Тем самым еще он хотел, чтобы мое сердце не возненавидело ту землю с живущим на ней древним народом, чтобы с нею не прервалась моя духовная связь...

Прочитав молитву, я зарыдала. Стоя на коленях, прижимая к себе ребенка, я неудержимо плакала. Шуай мне не мешал, он только взял у меня ребенка и вышел наружу. Он понимал: плач и молитва при всяком горе успокаивает человека, возвращает его к жизни. Вот почему он не пытался утешать меня. «Не совсем погиб Ясаб, кровь его течет в жилах нашего сына», – подумала

я, приходя в себя. И ощутила безмолвие тишины, для меня исчезли все звуки. Я почувствовала себя слившейся с некоей бесконечно большой силой. Покой и смирение охватили мою душу.

– Накорми ребенка, он проснулся, – Шуай вернулся в помещение.

Шуай, наверное, понимал мое состояние. Он занес в пещеру переметные сумки, сняв их с лошади, постелил на полу бурку и на ней усадил меня. Одну шубу накинул мне на плечи, другую постелил сбоку и сказал:

– Здесь пусть спит малыш.

Я дала ребенку грудь, запамятовав, что у меня пропало молоко, но оказалось, что молоко шло. Малыш, насытившись, сразу заснул. Я положила его на шубу. После этого я стала помогать Шуаю, который занялся переметными сумками.

У стены стояли дощечки с древними письменами, такие же, какие я видела дома у старухи Лизе. Мой взгляд несколько раз останавливался на небольшом сундуке у стены под изображением Христа. Сундук был обшит металлическими пластинами, а запирался маленьким замком. На сундуке стояла стопка старых нераспечатанных конвертов. Заметив, что сундучок привлек мое внимание, Шуай пояснил:

– В нем хранятся древние рукописи, в них история нашего народа, сведения о прибытии сюда царя Вече, переводы на наш язык из священных книг... А конверты... – он вздохнул. – Это письма Сталину, в тридцатые годы написанные родственниками репрессированных. Мой отец, почтальон, носил их сюда. Он ведь понимал, что нет смысла отправлять их по адресу... Таким образом он поручал их Божьей воле...

Его слова меня потрясли. Что-то похожее я испытала пять лет назад, после двадцатого съезда партии.

– Много в мире боли и невзгод, Ширинат... Все не поместится в маленьком сердце... Не может быть, чтобы мать не рассказывала тебе о судьбе отца... Есть толь-

ко Один, кто берет на себя боль всех. В Нем для всех нас и утешение, и надежда... Я пойду, принесу воды с Небесного озера, потом мы поедим, – взяв кувшин, Шуай вышел.

На Небесном озере я бывала, когда в первый раз поднялась в Гору вместе с Ясабом и его сестрами. Они водили меня и на мусульманские святилища. Но тогда мне никто не сказал, что недалеко от озера находится Дом Ваче, не слышала я о нем и в селе. Хотя о Доме знали люди старшего возраста, о нем не говорили, чтобы не привлечь к нему внимание представителей власти. И об этом я позже узнала от Шуая. В наше время не жаловали все то, что было связано с религией. Однако на мусульманские святилища люди все равно ходили, и властям приходилось закрывать на это глаза.

В тот раз на Небесном озере, бросая в воду мелкие деньги, мы загадывали желания. Я видела сквозь прозрачную воду: дно озера устилали металлические деньги. Едва ли кто, побывав здесь, уходил, не загадав желания... У меня желанием было родить Ясабу сына...

Ушедший за водой Шуай задерживался. Я забеспокоилась: в горах с человеком всякое может произойти. Но ничего не случилось. Кроме полного кувшина, Шуай принес и целую охапку травы для лошади. Найти и нарвать в этих скалах траву было задачей не из легких.

Время шло. С наступлением сумерек Шуай привязал лошадь, оставив на ней чепрак, под укрытием большого валуна и положил перед ней траву. Потом он затопил очаг, который накрывала плита с отверстием. К нему был приделан и дымоход, проходящий в дыру, продолбленную в каменной стене. Имелся и запас заранее заготовленных дров и хвороста. Налив воду в медную кастрюлю, Шуай поставил ее на очажную плиту, из отверстия которой стали вырываться языки пламени. Он нарвал необычного вида, напоминающие крохотные деревца, растения с мелкими зелеными листочками, растущие в расщелинах камней.

– Это чайная трава, – пояснил Шуай, бросая их в закипевшую кастрюлю. Вода в ней тотчас окрасилась в коричневый цвет, помещение наполнил приятный душистый аромат.

Я могла представить себе жизнь отшельников, в старину уходивших от мира. Им все давала природа, и природа их охраняла. Природа укрепляла чистые души удалившихся от зла и противоречий мирской жизни, помогала приблизиться к Всевышнему, вносила в их сердца великую любовь, терпение и смирение. Мне даже показалось, что я могла бы уподобиться древним старцам, но это не дано было женщине...

Шуай снял с плиты кастрюлю, налил чай в две пиалы.

– Спит, как ангел, – он улыбнулся, взглянув на ребенка, прикрытого полой шубы. – Поешь. Вот масло, брынза, пей чай. Мать положила немного от всего, что у нее было. Можешь разбавить чай молоком, что дал чабан Эбил. Наверное, тебе холодно, на надень что-нибудь, мать и это предусмотрела, есть и пеленки для ребенка.

Старуха Лизе, как оказалось, положила в сумы мои старые жакетки и даже пальто, оставшиеся у них дома. Шуай заставил меня натянуть их на себя: непривычный человек в горах может легко простыть, особенно ночью. А была уже ночь, снаружи все укутал плотный туман. Впрочем, это был не туман, а облака, забившиеся в скалы, внизу, в селе, наверное, тогда было ясно. И эти облака утром растают под солнечными лучами...

Шуай закрыл ворота в пещеру задвижкой в виде толстой крепкой палки.

– Ложись вместе с ребенком, – он отдал мне обе шубы, а себе взял бурку. Потом он задул свечи, оставив только одну у входа. Там же, на входе, завернувшись в бурку, он лег на ковер.

Я не могла уснуть. Почувствовав это, Шуай сказал:

– Хочешь послушать одну притчу? Она относится к времени царя Вече.

– Расскажи...

Я понимала, что он, мой названный брат, под опекой которого я оказалась, по-всякому старался облегчить мою душевную боль. И он начал рассказывать старинную притчу:

– Передают, что в некоем селе жил один молодой парень. Он был холост, и хотел жениться, но ни одна девушка не соглашалась выйти за него замуж. На то была причина: у парня лоб был не обычной формы, а выпячивался вперед, отчего он выглядел уродом. А во всем остальном он был хорош: высок и строен, широкоплеч, силен, с большими живыми глазами, с густыми черными усами. Но все это девушек не привлекало.

И вот, враги напали на его родную землю, парень ушел сражаться. В сражениях выяснилось, что его лоб не берет ни сабля, ни стрела. Весть об этом разнеслась кругом. Теперь многие девушки пожелали выйти за него замуж.

А молодец любил одну девушку, о чем и поставил в известность ее отца, попросив его узнать, что скажет дочь. А девушка сказала: «Я его не люблю».

Ее отец был из сынов Вече. В их роду в каждой семье старшего сына считали сыном Вече. Он был чист душой, обладал даром ясновидения. Дочери он показал в зеркале отражения нескольких девушек, которые были не прочь выйти замуж за героя со лбом, его уродовавшим. Девушки были одна красивее другой, их глаза излучали чистоту и ум. «Такие красивые и умные девушки хотят выйти за него замуж, почему же я не могу?» – подумала девушка. И сказала отцу, что согласна выйти замуж за этого парня.

Сыграли свадьбу. А на страну Алпан (наши предки так называли и нашу древнюю землю) опять напали враги. И парень опять ушел сражаться за родную землю.

Год проходил за годом, он не возвращался. «Он сбежал в другие края, у него есть другие возлюбленные», – доходили

слухи до молодой жены. И вот она пошла к своему мудрому отцу и рассказала ему обо всем. Отец ее успокоил: «Милая дочка, не верь слухам». – «Но как мне в этом убедиться, отец?» – «Если хочешь узнать правду, сходи к дереву чандар[1]*», – посоветовал ей отец.*

Величечтвенное дерево чандар одиноко росло в самом центре села. Удивительным в нем было то, что даже в безветренную погоду его листья шелестели как от дуновения ветерка. Даже когда листья опадали, можно было приложиться к его стволу ухом и услышать нескончаемый шелест. А отец девушки знал и о главной тайне дерева чандар, потому он дождался еще вопроса дочери. «Но как я спрошу у дерева, отец?» – «Иди и обними его, поцелуй. И приложись ухом к нему, оно само скажет».

От дерева чандар девушка вернулась приободренной. «Мой любимый на войне, он гонит врагов, – радостно сообщила она. – Он тоскует и часто видит меня во сне».

В ответ отец молчал. Он знал: ее муж пал в сражении и захоронен на высоком холме.

Год проходил за годом, а жена все ждала мужа. На слухи она перестала обращать внимание, а муж не возвращался. Каждый раз, когда подступала тоска, она приходила к дереву чандар. И каждый раз дерево отвечало ей одно и то же, и она возвращалась от него умиротворенная. Надежда не покидала ее.

Когда отец умирал, дочь посмотрела ему в глаза с немым вопросом: «Но мой возлюбленный не вернулся, отец?» Отец ее понял и ответил: «Спроси у дерева. Это будет и мое завещание тебе». О тайне дерева чандар уже все знали. Дерево отвечало на все безответные вопросы, облегчало боль сердец, призывало к смирению тех, кто в трауре, возвращало надежду тем, кто перестал надеяться, поддерживало тех, кто пал духом.

Годы шли. Та женщина состарилась, настала ее пора умирать. Она попросила людей, сама уже не могла, отвести ее к дереву чандар. Люди исполнили ее просьбу. Ста-

[1] *Чандар (древо жизни)* – платан.

руха обняла и поцеловала дерево, послушала, что оно скажет. Дерево ответило ей обычное.

«Милое дерево чандар, – сказала тогда старуха, – только теперь я поняла тебя. Ты всю жизнь поддерживало меня: не давало мне потерять надежду, помогало оставаться преданной возлюбленному, сохранить себя, свое достоинство среди людей, дом и очаг. Это завещал мне и отец. Спасибо тебе, дерево, царствие небесное отцу моему. И да прольется свет небес на могилу моего возлюбленного, вчера я видела его во сне. Настала пора соединиться нашим душам». Говорят, что после этих слов старуха умерла. Похоронили ее под тем платаном.

Шуай закончил рассказ. Наше молчание затянулось. Может быть, он ожидал, что я заговорю, но я не могла вымолвить ни слова, так подействовала на меня его притча. Наконец он спокойно произнес:

– Спи. Постарайся заснуть. И не думай ни о чем. Завтра у нас путь долгий, наберись сил.

Сон не шел, но я лежала, не шевелясь. И мне казалось, что Шуай тоже не может спать. Я не хотела, чтобы он видел, что я не сплю и переживал за меня. Я думала об услышанном. И мне казалось, что в груди у меня затеплился огонек, подобный огоньку оставленной гореть свечи во мраке ночи.

Теперь я поняла и то, почему в лезгинских домах ночью, уходя ко сну, оставляют гореть приглушенный свет лампы. Свет – как надежда, которая тоже не должна угасать. Свет – как утешение, без которого человеку нельзя в его горе...

Рано утром меня разбудил Шуай. Проснулся и ребенок. Я поменяла ему пеленки, покормила его грудью. Шуай приготовил чай. Я заставила себя сделать несколько глотков.

– Пей еще и поешь, – настаивал Шуай.

– Не хочу.

– Тогда отправимся...

Мы начали спускаться с противоположной стороны Горы. Солнце еще не встало. Было холодно, но Шуай это предвидел: одну из шуб он накинул на плечи мне, в другую закутался сам. Теперь наша дорога шла вниз, извиваясь, по гребням, пологим лугам, скатам. Внизу из-за холмов показались крыши какого-то села.

Там жил водитель рейсового автобуса в Дербент. Его дом нетрудно было угадать по автобусу ПАЗ, стоявшему во дворе. Шуай помог мне сойти с лошади и велел подождать, сам вошел во двор и позвал водителя. Они довольно долго говорили. Шуай, конечно, оставил меня на дороге, считая ненужным, чтобы я их слышала, но я догадывалась, о чем они могли говорить, и с трудом сдерживала слезы...

Меня с ребенком посадили на отдельное сидение рядом с водителем.

– Вот деньги, они тебе понадобятся... – Шуай сунул их в кармашек моей жакетки.

Я же за все это время даже не подумала о деньгах. Я не совсем ясно осознавала, почему нахожусь в этом автобусе. Упоминание о деньгах вернуло меня к действительности и к моей беде. Я поняла, что навсегда покидаю эти горы, с которыми я свыклась душой, соединилась кровью. Мне легче было бы здесь умереть, чем уезжать, но мои родные хотели, чтобы я уехала... Нет, они этого тоже не хотели, но они смотрели дальше меня, поступали так, чтобы отвести еще более горькую беду от меня и сына, которого я им родила. Мне оставалось только послушаться их.

Все же я сдерживалась до тех пор, пока Шуай не обнял меня и ребенка. И тут душу мою пронзила невыносимая боль, хлынули слезы... Меня как будто с кровью отрывали от тех, с кем я сроднилась. Я словно лишалась их опоры, любви, доброты и мне казалось, что всего этого у меня больше никогда не будет в жизни.

– Успокойся, сестра, надо потерпеть, – сказал Шуай. – Бог с тобой. И мы всегда останемся с тобой: и я, и

мать, и Ясаб, и Гора с ее святынями и весь наш народ. Ни с кем ты не расстаешься насовсем, все остаются с тобой. И ты остаешься со всеми, где бы ты ни была, и что бы ни произошло. Не плачь, сестра.

Он поцеловал сначала меня, потом ребенка в щеки, перекрестил нас и добавил:

– В добрый час...

– Храни тебя Бог, спасибо тебе за все, брат! – Я сняла с себя шубу. – Забери, это из Дома Вече... Теперь уже тепло.

– Пусть будет подарком этому молодцу, – по губам Шуая скользнула улыбка. И вдруг он, как будто вспомнив, спросил: – А ты успела дать имя сыну?

– Ясаб хотел назвать его Андреем, в честь Андрея Болконского, героя книги Льва Толстого...

– Пусть так и будет. Хорошее имя. Да вырастет он достойным своего имени! Оно встречается у их предков.

– Встречается у их предков? – удивилась я.

– Да. Один из предков Ясаба был из тех, кто пришел на Одинокий луг к царю Вече. Точнее, его привели к царю в числе других старших сыновей из лезгинских семей. Он носил имя Эндир. А Эндир значит Андрей. – Шуай собрался выйти из автобуса. – И твой Андрей пришел в дом царя Вече...

– Милый брат! – сдерживая слезы, я обнял Шуая и так замерла на мгновение. – Красивая история будет у имени моего сына... Но где я найду дерево чандар из твоей притчи?

– Отросток того дерева на руках у тебя, это твой Андрей. В тяжелые минуты прижимай его к себе. Пусть он еще не умеет говорить, но он все скажет тебе и без слов...

Шуай сел на лошадь, не задерживаясь и не оглянувшись, наметом поскакал в сторону Горы. Вскоре всадник скрылся за холмом. Я знала, что теперь он плачет, когда он один и никто его не видит...

Прослезилась и сама Арина Федоровна, не утираясь, она отвернулась к окну, наверное, перед ее глазами продолжали проходить события, о которых она рассказывала.

Глава 11

Учитель Ингар был удивительным человеком. Весельчак. Философ. Он вел у нас уроки физики. И был нашим классным руководителем. Он имел необычные привычки. Сельчанам его поведение не всегда нравилось, однако учителя никто ни в чем не упрекал. Но если бы он не был учителем, пожалуй, ему бы не все сходило с рук.

О нем говорили, что другого такого учителя физики нет во всей округе.

Как-то на киме, желая подшутить над ним, сельчане завели такой разговор:

– Скажи-ка: если бы на голову Ньютона не упало яблоко, сумел бы он открыть свои законы? И что это за волшебное яблоко?

Недалеко от кима у нас начинается колхозный яблоневый сад. Дело было в пору созревания яблок. И вот, учитель Ингар повел того, кто задал вопрос вместе со свидетелями в сад, поставил под деревом и потряс его. На голову тому сельчанину упало не одно, а несколько яблок, но он ничего не сказал. Ждет, что будет дальше.

– Видишь, – говорит ему учитель Ингар, – столько яблок упало на твою голову, но ее не посетила ни одна умная мысль. Законы Ньютона не от волшебных свойств яблока, дорогой мой односельчанин, волшебство кроется в голове умного человека. Голова нужна, голова! А что на нее упадет, яблоко или груша, или она сама стукнется о стену, это неважно...

Вот что еще характерно было для учителя Ингара: при встрече с Шуаем, он не упускал случая вызвать

его на спор. И споры их всегда относились к духовным вопросам. В ту «безбожную» эпоху Шуай был из тех редких верующих людей, кто этого не скрывал. Но он придерживался «своей» религии, которая была во всем христианской.

Каждый раз, встречая его (будь на его месте другой верующий, было бы то же самое), учитель Ингар говорил:

– Нет ничего! Там нет ничего! – палец его раз за разом поднимался к небу. – Все обман, все религии да идеологии! В основе всех у них обман! Их основатели искали легкой жизни для себя. Да, для себя они умели создавать рай на земле. А людям лишь морочили голову, ослепляли их разум. Если есть Бог, то он сам обман. А кто умеет обманывать других, тот пророк. И ты, дорогой односельчанин, из их числа. Овладей же какой-нибудь профессией, работай. Читай научные книги. Учи законы физики.

Шуай, ничего не отвечая, упираясь грудью на свою палку, слушал его.

Видя его спокойствие, и что его слова на него никак не воздействуют, учитель Ингар входил в раж:

– Мир, изначально подобный раю, люди внешне вроде бы украшают, а изнутри людской же ложью он превращен в ад, дорогой мой односельчанин! Ну чего ты молчишь? Нечего отвечать? Хорошо. Тогда я еще скажу. Такие, как ты, утверждают: души умерших возносятся в небеса. Безгрешных – в райские кущи, а тех, кто грешил – в геенну огненную. Допустим, все это так. Но если души всех умерших исстари отошли в небеса, там едва ли остается место тем, кто умирает сегодня. А с другой стороны, там, в пустынных и холодных небесах, куда приткнуться бедным душам? Душе ведь тоже надо тепло очага, чтобы оставаться душой. Ладно, будем считать, что чистые души уходят на некую планету, где и устроен рай. А как тогда быть с душами грешников, которые должны гореть в аду? В небе один лишь

огонь, на солнце. Больше там нечему гореть. Если все грешные души горят в «солнечной печи», значит, благодаря им солнце светит и дает тепло. Благодаря им держится жизнь на нашей маленькой планете. Так ведь мы должны им, кто были грешниками, ставить памятники! Они достойны нашего преклонения!

Случайные свидетели этой сцены, поздоровавшись, уходили, посмеиваясь. Шуай продолжал молча слушать. Учитель Ингар, наконец закончив, выжидающе смотрел ему в глаза. Не дождавшись никакого ответа, учитель победно заключал:

– Что? Нет ответа?

– Нет вопроса, на который нельзя ответить, брат Ингар, – говорил Шуай, улыбнувшись. – Но как быть, если много будет тех, кому гореть в «солнечной печи»? Тогда солнце опалит и нашу землю. Ты об этом не подумал...

Задумавшись над неожиданным для него вопросом, учитель Ингар признавался:

– Тут да, есть проблема... Но и ее решает сама природа. Хороших и плохих людей природа создает в таком количестве, в каком они ей требуются... – но голос его звучал не совсем уверенно.

– Ладно, иди, а то опоздаешь на уроки, – У Шуая не было желания продолжать спор.

– Все обман! – восклицал учитель Ингар и шел своей дорогой.

Казалось, навязывая спор Шуаю, он хотел вывести его из себя, убедиться в неосновательности его веры, но этого учителю не удавалось. Свидетели подобных сцен не могли не подумать: в споре с учителем физики у Шуая имеется непонятное для других основание, отчего он так и терпелив.

Расскажу еще об одной привычке учителя Ингара. В хорошие ясные дни в колхозном саду он любил устраивать застолья с друзьями (а по мнению сельчан – просто пьянки.) Впрочем, организатором этих застолий

мог быть и не учитель, а его самого могли пригласить такие же любители повеселиться, потому что Ингар пел на трех языках: русском, хинди и лезгинском. На каком языке петь – зависело от того, что пьют; под водку звучали русские народные песни (в том числе развеселые частушки), под вино, бегая от дерева к дереву и обнимая их, учитель Ингар пел индийские песни к большому удовольствию собутыльников.

Лезгинские песни он пел редко, это сельчане связывали с тем, что в их магазин коньяк завозили редко. Они, бывало, побывав в городе, привозили учителю Ингару бутылку-другую коньяка. Помнили про привычку учителя и старые друзья, и его ученики, проживающие в городах. Приезжая в село, они тоже не забывали про коньяк и приглашали его в сад. В таких случаях учитель Ингар, повернувшись лицом к Горе, пел лезгинские песни. Среди них была одна песня, в которой рефреном повторялись слова:

Рожденный у Горы Алпан,
Камешек я той Горы.
Совесть я, опаленная
Неправдою мирской...

У учителя Ингара увлажнялись глаза, крупная слеза скатывалась по его щеке. Он ее не вытирал, не пытался скрыть. Видимо, что-то угнетало его сердце, о чем не знали да и не хотели знать товарищи по застолью. Однако слушая эту песню, они замолкали, о чем-то задумывались, казались протрезвевшими.

Кто-то в таких случаях, поругивая коньяк, который «совсем не действует», наливал себе водку, то же предлагал и учителю Ингару. Но он никогда не смешивал одно с другим. Кто-то, пожалуй, даже мог бы додуматься до мысли: если учитель выпьет сразу и коньяк, и водку, и вино, он и запоет на трех языках, однако подобного никто не видел.

А то, что учитель Ингар после коньяка пел на родном языке, сельчане связывали с его любовью к своему языку, к родной земле.

Была еще одна причина, почему сельчане прощали учителю его увеселения. Не было случая, чтобы он выпившим появлялся в школе, не помнил себя, где-то валялся, кого-либо оскорбил. И песни он пел только в колхозном саду и больше нигде.

Однажды свидетелями этому стали я и мои товарищи по школе.

Нас, десятиклассников, оканчивающих школу, в селе начали принимать за взрослых парней. За неделю до «охоты» на куриного вора наши соседи играли свадьбу, на которую пригласили и нас, старшеклассников, что послужило признанием того, что мы уже взрослые. Оказанное уважение пробуждало в нас чувство ответственности за свое поведение.

В доме, где шла свадьба, в нескольких комнатах сидели гости. Когда одни уходили, их место занимали вновь прибывшие. Нас хозяин усадил за стол на просторной террасе. За нашим столом оказалось и несколько взрослых мужчин, в том числе и учитель Ингар. Рядом с классном руководителем ребята чувствовали себя скованно, мы понимали, что это не совсем удобно, мы исподтишка посматривали друг на друга и задавались вопросом: как быть? Учитель Ингар понял наше состояние и взял роль тамады на себя.

– А ну-ка, парни, – сказал он, выбирая из спиртного бутылку с вином, – подвиньте сюда стаканы!

Мы переглянулись: он и вне школы обращался к нам только по фамилии, а тут – парни. Что-то новое...

Разве мы могли ослушаться классного руководителя, а теперь еще и тамаду, да еще в такой день, когда нас впервые как взрослых пригласили на свадьбу? Наши руки неуверенно заходили над столом, перед учителем выстроились в ряд граненые стаканы.

– Вы, братья, позаботьтесь сами о себе, открывайте и наливайте по вашему усмотрению, – обратился учи-

тель Ингар к взрослым гостям. – А я сегодня поухаживаю за молодыми, а то они стесняются.

Он до краев наполнил наши стаканы густым рубиновым вином, а себе до половины налил водки.

– Встали! Выпьем по первому! – приказным тоном сказал он. – Тосты будете говорить потом, когда осмелеете.

Мы, стесняясь, сделали по глотку-другому.

– До дна! Пейте, как мужчины! – тоном, не терпящим возражения, сказал учитель Ингар.

Нам ничего не оставалось, как опустошить свои стаканы.

Что правда то правда, от вина мы осмелели. Мы не утрачивали ощущения ответственности, присущего взрослым мужчинам, и старались вести себя достойно, как равные среди равных. Мы не перебивали собеседников и внимательно слушали, стараясь не говорить невпопад. Это оказалось задачей не из легких, но мы с ней справились.У ребят совершенно изменились и облик, и разговоры, и то, как они сидели, теперь выглядело по-другому.

Выпили по второму стакану. Мы поняли, что относимся к орлиному племени. Между нами скрытно зашел разговор о том, как бы уговорить учителя Ингара спеть. Сначала надеялись, что он споет сам, но не дождались, открыто же попросить, тоже не осмеливались. Решили возложить эту задачу на Сардара: он, что называется, и лицом тверд, да и сын председателя сельсовета, чье слово должно иметь вес. Наше предложение он принял охотно и обратился к учителю Ингару:

– Уважаемый тамада! Не можете ли вы спеть нам песню? Если поете другим, почему не спеть и своим ученикам. Мы просим...

– Попроси спеть своего отца! – не зло, с достоинством ответил учитель Ингар. – Пусть начинает с «Марсельезы», потом перейдет к гимну Советского Союза.

Неожиданный ответ учителя вызвал хохот у взрослых, сидевших за нашим столом, но мы не смеялись, не решились.

Мы подумали, что учитель недостаточно выпил, однако опьяневшим мы его так и не увидели. Он вел застолье по всем правилам, говорил, что положено, каждому предоставляя слово для тоста.

Потом мы встали, освобождая место для очередных гостей, и спустились во двор, где играли музыканты. Учитель проводил нас словами:

– Теперь, молодежь, идите танцевать! Нельзя уходить со свадьбы, не потанцевав.

Ингар забыл о нашем непозволительном поступке за столом, он руководил нами, и здесь, на свадьбе, оставаясь учителем.

Мы вышли в круг и закружились в быстром танце. Танцевать с нами вышли наши одноклассницы. Учитель Ингар, по обычаю, вложил им в руки деньги, обращался с нами как с родными людьми. Он и здесь оставался нашим классным руководителем, готовым нести ответственность за наше поведение. Нас это поддерживало, наш танец становился темпераментнее, нам ободряюще хлопали.

Потом учитель Ингар вышел танцевать в круг. Он лихо танцевал лезгинку, ноги его, казалось, не касались земли. Его танец привлек внимание всех: и женщины, остановившиеся на террасе, и мужчины, поднявшиеся из-за столов, и те, кто еще не успел сесть за стол, и юноши с девушками, и дети – все хлопали учителю Ингару! И девушка, которая вышла танцевать с ним, оказалась под стать ему – быстроногая. Кружилась в танце, они вели незримое соперничество.

– Не уступай ему! – кричали девушки своей подружке.

А она и не думала сдаваться и выходить из круга. Мужчине же выйти из танца первым считалось зазорным, он просто не мог себе этого позволить.

– Учитель, держитесь! Не поддавайтесь! – кричали мы, так как его победой мы могли гордиться.

Он продолжал танцевать, не сбавляя темпа, не обращая внимания на происходящее вокруг, заведенный какой-то неизвестной силой.

– Наверное, у него внутри турбина работает, – сказал кто-то из мужчин рядом со мной.

Наконец девушка сдалась, а учитель Ингар точно с небес спустился на землю. Он поклонился девушке и всем вокруг, поблагодарил музыкантов и кинул на поднос перед ними с кучкой рублевых и трехрублевых бумажек красную десятирублевку с изображением Ленина. В такие минуты разве мы могли не гордиться своим учителем!

– Он наш классный руководитель, – говорили мы, как будто об этом никто не знал...

Нам на следующий день он еще раз подтвердил, что он учитель и наш классный руководитель.

Мы допоздна веселились на свадьбе. На следующий день пришли в школу. По расписанию первый урок – учителя Ингара. Мы были не готовы, но вели себя беспечно, решив, что учитель сегодня не будет вести опрос, он же знает, что мы не успели подготовиться к занятию, и как достойно вели себя вчера на свадьбе, как его поддерживали во время танца...

Но учитель Ингар повел себя так, словно ничего особенного вчера не случилось, что мы не сидели на одном застолье, не произносили тостов, не пили вино. По одному он начал вызывать всех ребят.

– Садись, двойка, – сказал он Айсаму.

– Садись, двойка, – сказал мне.

– Садись, двойка, – сказал Сардару.

– Учитель! Но это неправильно! Вы же знаете, вчера мы были на свадьбе. У нас не было времени подготовиться к урокам, – Сардар это сказал за нас всех.

– Вас пригласили на свадьбу, и вы решили, что вы стали мужчинами. Так ведь? Но мужчина всегда дол-

жен оставаться таковым. Вы знали, что сегодня у вас мой урок, и должны были найти время, чтобы подготовиться к нему.

В классе наступила тишина.

А учитель продолжал:

– Недостаточно приглашения на свадьбу, чтобы стать мужчиной. Мужчина – это тот, кто знает и соблюдает свои обязанности. Обязанности для него, как ступени, которые ведут вверх. Но если он не удержался на той высоте, куда поднялся, это его не украшает. Быть мужчиной – нелегкое дело. Очень важно всегда оставаться мужчиной... Вчера я был рад тому, что находился с вами, мужчинами, но сегодня мне нечему радоваться. Если бы вы как мужчины оценили мое вчерашнее пребывание с вами, то сегодня бы вы подготовились к урокам.

Мы сидели понурые. Каждое слово учителя стучало по голове подобно яблоку, упавшему на Ньютона. Наверное, в тот день для нас впервые так ясно открылся закон, обязательный для мужчины, он четко сформировался в голове, глубоко вошел в сердце.

Я подумал: «Учитель Ингар поет в колхозном саду не по легкомыслию, тут что-то другое, какое-то горе, или его угнетает какая-то ошибка, допущенная в жизни, которую он не может простить себе».

А сельчане этого не понимали. По селу разнесся осуждающий слух: «Учитель Ингар пил со своими учениками...» Люди посмеивались, не зная, что уроки учителя Ингара продолжаются и вне школьных стен...

Я про себя рассуждал, направляясь в школу: «Бетих знает, что мы с Айсамом учимся у Ингара. И то, что на следующий день он после свадьбы поставил нам двойки, до него тоже дошло. Бетих мог украсть курицу его матери, решив, что подумают на нас, что это мы сделали в отместку учителю».

Туман уже рассеялся, гогда я дошел до школы. Только у вершины Ледовой горы, что южнее главной Горы

Алпан, точно зацепившись за нее, удерживались облака. И в расщелинах других гор таяли остатки облаков.

– Сегодня в два часа в клубе будет собрание, – сообщил мне Айсам, когда я сел за парту. – Ты знаешь?

– Что за собрание?

– Общее собрание села. Говорят, что Бетих объявил нас куриными ворами и даже доказал это.

– А как же председатель сельсовета, он верит тому, кто отсидел в тюрьме?

– Преступные элементы умеют влиять на власть, – со знанием дела сказал Айсам.

– Что говорит Сардар?

– Иди и сам спроси у него, – по тону Айсама я понял, что он знает, что говорит наш товарищ.

Я подошел к Сардару.

– Это что за новости?

– Новости как новости.

– Как это? Ты ведь тоже был с нами. А нас послал твой отец.

– В свои дела не впутывайте меня. За себя отвечай сам.

Его слова вывели меня из себя, видимо, его научил отец. Я схватил его за грудки и ударил о стену.

Нас разняли Айсам и другие ребята.

В класс вошел учитель, и мы поспешили на свои места.

Я бы хотел поговорить с учителем Ингаром, но сегодня у нас не было его урока. Неужели и он поверил слухам про нас?

После второго урока Сардар ушел. Мне казалось, что учителя поглядывают на нас с Айсамом с сожалением. Они вели уроки как обычно, о распространившихся слухах речь не заводили, значит, не верили им.

К двум часам мы пошли в клуб. Раньше здесь была мечеть. В начале двадцатого века ее возвели на остатках фундамента христианского храма, стоявшего здесь в древности. Здание хорошо сохранилось, оно было

больше других общественных строений в селе и выглядело новым. Только плакаты со всех сторон на минарете и полоса кумача с надписью «Вперед к коммунизму!» на минарете говорили о том, что здесь уже не мечеть.

Большой зал клуба был полон людьми, когда мы пришли. Мы не нашли места, чтобы сесть. Видимо, все жаждали узнать, кто же этот вор, так неожиданно появившийся и позорящий село? Они уже слышали, что воров нашли, но верить или нет слухам? Увидев нас с Айсамом, зал пришел в движение, по нему пронесся шум. Сельчане перешептывались и поглядывали в нашу сторону. Мне хотелось провалиться сквозь землю, в жизни не было так стыдно, сердце у меня ныло. Невыносимо, когда тебя несправедливо обвиняют в гнусном поступке, а ты не можешь оправдаться...

С середины зала дядя Балак подал нам знак рукой, мол, не переживайте, но я не почувствовал облегчения.

Рядом с Балаком сидела моя бабушка. Она посмотрела на меня и покачала головой, как бы говоря: «Что ты наделал? Во что ввязался? Ну, не бойся, я не дам тебя в обиду!» Хорошо, что мать не пришла, значит, она доверилась бабушке и дяде Балаку. Она тоже могла бы мне сказать: «Ты не послушался меня, смело пошел ловить вора. И теперь веди себя смело, будь мужчиной».

Бетих сидел в первом ряду, в центре, и выделялся тем, что был на голову выше остальных. Рядом с ним с двух сторон места пустовали, их никто не занял. Он посмотрел на нас и ехидно усмехнулся.

Сардар, сойдя с лица, прижимался к стене. Он подошел к нам. Для него мы тоже были ворами.

– Идиоты, я же вам говорил, бегите. Отвечайте теперь.

– Молчи, – сказал я, – это тебя не касается.

– Отойди от нас, трус! Негодяй! – Айсам незаметно для других ткнул его кулаком в бок.

Сардар отошел к стенке.

На сцене стояли три стола в ряд, накрытые красной материей. В середине красовался графин с водой и рядом граненый стакан.

Над сценой висели большой портрет Ленина, а по бокам от него портреты поменьше Маркса и Энгельса. На стул, указывая на важность мероприятия, был поставлен и портрет Брежнева. Его принесли сюда, сняв со стены в фойе.

Нам никогда не приходилось бывать на таких собраниях. Но как бы организаторы ни желали придать ему важности, мы во всем происходящем чувсствовали какую-то фальшь.

– Сейчас начнется представление, – попытался сострить Айсам.

На сцену поднялась сельская власть: председатель сельсовета, председатель колхоза и секретарь парткома. Все трое в шляпах и в галстуках.

– Вот наши Маркс, Энгельс и Ленин, – не удержался и я. – Им бы еще по красному цветочку в петлицы.

Айсам затрясся от сдерживаемого смеха, минуту он корчился от смеха. Но потом стало еще смешнее.

Представители сельской власти сели за столы не сразу. Они, повернувшись к портрету Брежнева, начали хлопать, подавая знаки, чтобы в зале последовали их примеру. Видимо, они чувствовали присутствие самого генсека, и народ должен был приветствовать его.

Народ же вел себя по-разному: одни, переглядываясь, пожимали плечами и посмеивались, другие, вяло похлопав, сразу остановились. Но те, на сцене, настаивали, особенно председатель сельсовета Вурдихан, продолжая хлопать, вытянувший к залу обе руки.

И тут я увидел, как сначала Сардар, затем Бетих, начали хлопать во всю силу. Тут и там еще раздались хлопки. Наконец весь зал бурно зааплодировал. Правда, мы с Айсамом не хлопали. Не хлопала и моя бабушка. Про себя в эти минуты я гордился ею: «Молодец, бабушка! Поступаешь, как настоящий мужчина».

Наверное, шум аплодисментов был слышен и на улице, в клуб вошли еще люди. Среди них оказался и учитель Ингар.

Аплодисменты не стихали. Теперь председатель сельсовета жестами просил всех остановиться, но зал ему не внимал и, людей точно подстегнули, они продолжали хлопать. Секретарь парткома подошел к столу, вынул из нагрудного кармана ручку и ею постучал по графину. Но зал не останавливался. Я ничего не понимал, особенно когда увидел, что дядя Балак, а за ним – моя бабушка – встали и тоже захлопали. И тут меня осенило: таким образом народ посмеялся над теми, кто на сцене, выставил их в смешном виде за то, что они повели себя с ним неподобающим образом. Теперь и мы с Айсамом захлопали до боли в руках. Протискиваясь между людьми, подошел учитель Ингар и остановился возле нас. Значит, он не считал нас за воров! Он тоже хлопал и смеялся, даже пронзительно засвистел дважды.

Люди на сцене все поняли, но сделали вид, что ничего особенного не происходит. Пока аплодисменты не утихли, вынужденно улыбаясь, они продолжали стоять.

Зал наконец успокоился. Воцарилась выжидающая тишина.

Но власть на то и власть – сельская ли, районная или целой страны – она всегда права (конечно, по ее собственному мнению). Власть подобна женщине легкого поведения, которая, забывая о собственных похождениях, находит грехи в добродетельном человеке. Она может все, но с ней ничего нельзя поделать.

Что-то похожее произошло и в этот раз...

Прежде всего, глупостью выглядело сама затея с проведением этого собрания. Выясняйте, кто вор, найдите его и накажите как положено, но зачем надо было отрывать людей от дел? Удивительно то, что представители сельской власти не понимали бесполезности этой

затеи. Разве что они хотели показать, что они работают, пекутся о народе, стоят на страже людских интересов.

Наконец представители власти сели, сняли свои шляпы и положили их перед собой на стол.

Встал председатель сельсовета.

– Дорогие товарищи! – высоко подняв голову, уставившись в какую-то далекую точку в потолке, уподобившись памятнику, голосом, не оставляющим сомнений в том, что нет ничего важнее того, что он сейчас скажет, начал он. – В нашей великой стране, где прилагаются все старания для строительства коммунизма, отстаивающей во всем мире правду и справедливость, дружбу и братство, ни перед кем не преклоняющейся, беспощадной к врагам, в нашем Советском Союзе совершаются великие деяния, о чем вы все хорошо знаете. И мы сопричастны к тем великим деяниям, мы счастливы тем, что можем ими гордиться. Обосновываясь на учении лучших сынов человечества: Маркса, Энгельса и Ленина, наша родная коммунистическая партия во главе с ее генеральным секретарем, пламенным ленинцем, горячо любимым нами великим Леонидом Ильичом Брежневым, ведет нас к сияющим вершинам коммунизма. (Он повернулся и посмотрел на портрет генсека, похлопал, другие двое тоже, но в зале их поддержали очень слабо.) Мы давно дошли бы до тех сияющих вершин, если бы среди нас не было отсталых людей, ослепленных религией, лодырей, воров, анонимщиков и прочих им подобных. Настанет время, мы покончим со всеми ими, выведем их на верную дорогу, а кто этого не пожелает, с ними будет другой разговор.

– Ближе к делу, зачем испытывать терпение людей? – выкрикнул из передних рядов Эбил, по старости лет уже оставивший работу чабана.

По залу прокатился шум, выражающий поддержку чабану.

Председатель сельсовета продолжил:

– Дорогие товарищи! Вы знаете, что нас заставило собраться. В селе появился вор! Это позор. Это все равно, что сорняки и колючки на нашем пути к коммунизму. Нам надо очистить от них наш путь вперед. И мы это сделаем!

– Хотя бы одно полезное дело с вашей стороны увидеть бы! А если еще прополоть наши огороды, то и коммунизм быстрее наступит, – подал голос канатоходец Джебес, тоже по старости лет оставивший свое занятие.

В зале похлопали.

Секретарь парткома на этот раз постучал по графину не ручкой, а граненым стаканом.

– Мы ни у кого не будем пропалывать огороды, – председатель сельсовета не скрыл раздражения, – но мы укажем самым нерадивым огородникам!

В зале успокоились.

– Так что, слушайте, товарищи. В последнее время в селе участились случаи пропажи домашней птицы. Поднимите руки, у кого пропали куры!

Пятнадцать человек подняли руки.

– Для нашего села это цифра большая. Воровство бросает тень на наше село. Я решил принять меры. Не предавая гласности, были организованы сторожевые группы из примерных старшеклассников и активных коммунистов, которые по ночам обходили село. Однако к чему мы в результате пришли, нас глубоко опечалило. – Председатель сельсовета удрученно покачал головой. – Выяснилось, что некоторые из тех людей, кому мы доверяли, сами воровали!

Видимо, он ожидал бурной реакции зала на свои слова. Собрание должно было превратиться в запоминающееся событие, а сам председатель сельсовета выглядеть героем, искореняющим воровство.

– Ах, твою... – прошептал Айсам, с трудом сдерживаясь.

У меня внутри тоже кипело. Однако нас сдерживало молчание в зале, никто не проронил ни звука. Все

знали, о ком идет речь. А молчали потому, что, с одной стороны, не хотели верить в то, в чем нас обвиняли, а с другой стороны, людьми овладевали сомнения, они дожидались, чтобы окончательно убедиться в том или другом.

Председателю сельсовета, видимо, не понравилось молчание в зале, он ожидал иного. Ему было все равно, что выставляет на позор нас, кого вчера сам послал ловить вора. Он решил идти до конца. По его поведению я понял, что он готов забыть про честь и совесть.

– Кем бы ни был вор, пусть даже самым близким нам человеком, он не получит у нас пощады! – провозгласил он. – Мы не дадим им позорить наше общество!

– Парень, да кто же они, эти воры? – опять раздался мощный голос Джебеса. – Назови же их, покажи их нам.

В зале засмеялись, понимая его иронию.

– Кто они, вам скажет Бетих, который все видел своими глазами.

Поднялся шум: председатель сельсовета ссылается на преступника... Вурдихан, выставив вперед Бетиха, хотел обезопасить себя. Бетиху же пришлось по душе оказаться в центре внимания, он заговорил самоуверенно и так страстно и убедительно, хотя и брызгаясь слюной, что некоторые могли ему и поверить.

– Дорогие товарищи! – начал Бетих.

– Сгинуть такому товарищу! – голос, кажется, был Джебеса.

Раздался смех, в зале похлопали. Парторг постучал граненым стаканом о графин.

Бетих посмотрел на председателя сельсовета, ища поддержки, тот кивнул головой, мол, продолжай. Ясно было, что перед собранием они о чем-то договорились.

Выявление вора возвышало председателя сельсовета в глазах сельчан. Бетих же, отсидевший преступник, представлялся ступившим на правильную дорогу... Оставив обычное вступительное пустословие, он сразу начал с главного.

– Вот, – из-под полы ватника он вынул свернутый носовой платок, развернул его, в нем оказалась куриная голова. Ее он понес к учителю Ингару. – Это голова чьей курицы? Узнаешь?

– Я бы ее не узнал, если бы прошлой ночью не украли курицу моей матери, – спокойно ответил учитель Ингар, как будто его нисколько не трогало произошедшее с курицей его матери.

– А знаешь ли ты, где я ее нашел, дорогие тов... – запнувшись, Бетих взглянул в сторону Джебеса и добавил: – Уважаемые сельчане.

– И где же? – насмешливо спросил учитель Ингар. По виду учителя мне показалось, что тронули его незажившую рану.

В зале опять повисла тишина ожидания: где и при каких обстоятельствах Бетих нашел куриную голову?

– Эту голову, учитель, я нашел в развалинах рядом с домом твоей матери, – Бетих не назвал имени, хотя все село говорило: «Развалины Ясаба».

– Как у тебя хватило совести ходить туда, чертов сын? – опять пророкотал старый канатоходец Джебес. – Ты не постыдился тех развалин? Носишься с куриной головой! Не сам ли ты отрубил ее? Сгубил человека и теперь ходишь на развалины его дома, ишачий сын?

Хотя все сидели, точно в оцепенении, парторг вновь постучал стаканом о графин. Машинально ли у него это вышло, или он опасался, что слова Джебеса вызовут нежелательную реакцию людей. Но они едва ли услышали стук стакана о графин.

Бетих еще раз взглянул на председателя сельсовета, тот опять кивнул ему головой.

Почувствовал ли он поддержку или его озлобили слова старого канатоходца, держа в руке куриную голову, Бетих разъярился:

– Следи за тем, что говоришь, Джебес! Просто так мужчина никогда не убивает другого! Что было, то про-

шло. Я за свое ответил. Ты думаешь, мало отсидеть десять лет?

– Да! – Джебес встал. – Я думаю, что этого очень мало! Тебя вообще не стоило оттуда выпускать. А когда выпустили, с каким лицом ты вернулся в село? И с каким лицом ты ходишь к дому, который ты разрушил? Ты сначала ответь на мои вопросы. Кинжал, если хочешь знать, и у меня имеется.

Парторг постучал.

Встал председатель сельсовета.

– Товарищи! Мы отошли от нашего разговора! Мы собрались с другой целью. Дайте сказать Бетиху, прошу вас.

– Пусть говорит, ему никто рот не закрывает, – сказал кто-то.

– Хватит и того, что Бетих сказал! – неожиданно встал дядя Балак. – Теперь послушайте меня, дорогие мои односельчане. Тут получается по пословице: кто вышел из сарая, тот позорит сидящего на киме. Я расскажу, как все было!

– Ты вор, ты не можешь говорить! – крикнул Бетих. – Прошлой ночью я поймал тебя с сыном и Антера!

– Вор – ты, и грабитель, и разбойник! – еще громче крикнул дядя Балак. – Сельчане! По предложению председателя сельсовета прошлой ночью я вместе с тремя школьниками обходил улицы села. Из тех моих товарищей двое вот, стоят у стены, – он указал на нас с Айсамом. Потом он направил палец на Сардара. – А третьим был Сардар, сын председателя сельсовета. Почему-то сегодня он держится отдельно.

– Сардара не было с вами! Вы были втроем! – крикнул Бетих.

– Не мешай, дай мне сказать! Я коммунист! Ты не из тех, кто может остановить меня!

– Я и тебе не позволю остановить меня! Я видел, как вы вышли из тех развалин. И вас было трое. Я вас и задержал.

– Да кто ты такой, чтобы задерживать меня, нас?! Кто тебе поручил ловить нас?

– Я сам по себе... Пусть я в селе считаюсь, как говорят русские, белой вороной. Поэтому, зная, что и в воровстве будут подозревать меня, я несколько ночей следил за тем, что делается на наших улицах. А вчера я напал на вас. После вас я поднялся к тем развалинам, чтобы узнать, чем вы там занимались. Там я и нашел эту голову... – Он насмешливо спросил: – Но где же сама курица? Где? – Не дождавшись ответа, он согнал с лица улыбку. – А теперь скажите мне: вчера вы были на тех развалинах? – он поочередно ткнул пальцем в дядю Бетиха, потом в меня и в Айсама.

– Да, вчера мы были там, – спокойно ответил дядя Бетих. – Оттуда, с высоты, просматривается половина села, вот почему мы некоторое время там оставались. Мы были вчетвером и видели, как ты шатался по улицам.

– Четвертого с вами не было, – Бетих затряс головой.

– Уважаемые наши руководители! – с видом, уставшим от пустых пререканий, дядя Балак посмотрел на сидевших на сцене. – Вы поверите мне, коммунисту, или этому человеку? Председатель сельсовета, хоть ты скажи! Вчера с нами был и твой сын Сардар. Скажи же, что ты посылал его вместе с нами.

В зале заволновались.

Парторг постучал стаканом о графин. Теперь это меня рассмешило, напомнило поединок боксеров: походило на удары гонга по окончании раунда. И тут случилось неожиданное не только для дяди Балака и меня с Айсамом, но и для всех собравшихся в клубе односельчан.

– Моего сына Сардара с вами не было, Балак, – сказал председатель сельсовета тоном, что в его словах невозможно было усомниться.

– Ты не посылал его вместе с нами? – дядя Балак приложил правую руку к груди, потом указал на меня с Айсамом.

– Посылал... – выдавил из себя председатель сельсовета. – Но потом он вернулся... Он не захотел до конца оставаться с вами.

– Как это не захотел? Ведь он был с нами! Вот, спросите у ребят, – вновь указал на нас дядя Балак, видимо, он почувствовал, как земля уходит из-под ног. Глаза у него взволнованно забегали. – Где Сардар? Он был здесь. Пусть он сам скажет.

– Сардар находился вместе с нами! – закричал с места Айсам. – Но он сбежал, когда увидел Бетиха.

– Его не было с вами! Я его не видел! – громко сказал Бетих.

Тут из-за спин скопившихся у дверей людей раздался голос самого Сардара. Видимо, его толкали, заставляя говорить.

– Да, сначала я был с вами, но потом ушел. И дядю Бетиха я не видел. – Повернувшись к нам с Айсамом, он добавил: – А потом что с вами было, в то меня не вмешивайте. Я ничего не знаю и знать не хочу.

Сардар не осознавал, что идет на подлость. И Бетих для него стал «дядей»... Мы с Айсамом, хотя и очень злились, но нашли в себе силы сдержаться. Внешне успокоившимся выглядел и дядя Балак. Наверное, он догадался, что все происходящее кем-то спланировано. Уже не обращая внимания ни на Сардара, ни на его слова, а обращаясь к его отцу, не теряя самообладания, он сказал:

– Когда твой сын сбежал от нас, перевалило за полночь. И ты не заметил, когда он пришел домой?

– Вчера после обеда я был в поездке. Приехал сегодня утром... И сына я увидел только сегодня... Бетиха тоже...

– Товарищ председатель, я коммунист. Ты веришь мне или этой белой вороне, как он сам говорит о себе? Слово мужчины!

Ему ответил до сих пор молчавший председатель колхоза:

– Мы знаем, какой ты коммунист! Коммунист, который тайно хранит книги Сталина!

Дядя Балак не успел ответить, раздался гром аплодисментов. Я не понял, аплодисменты относились к председателю колхоза, подавшего случайную реплику, или к дяде Балаку, тайно хранившему книги Сталина? Или к самому Сталину? Это были не те, прежние, аплодисменты, прозвучавшие как бы в шутку над происходящим.

Но председатель колхоза, как можно было предположить по его виду, решил, что они прозвучали в его честь. Он важно сидел в президиуме, потом, как будто до сих пор ему что-то мешало, налил из графина воду в стакан и выпил. Следом налил еще и опять выпил. Может быть, председатель колхоза полагал, что аплодисментами в свой адрес он заработал эти два стакана воды, с таким удовольствием он их выпил А может быть, он просто опасался того, что если бы он потянулся к воде раньше, люди могли бы заподозрить другое. Вот и воспользовался, причем артистически, случаем, выпавшим из-за заслуженных им аплодисментов... Вдобавок ко всему, и председатель сельсовета, и парторг, улыбаясь, пожали ему руку.

Однако его слова ничего не стоили! В селе и так знали, что дядя Балак хранит в сундуке сочинения ниспровергнутого вождя. Скорее всего, аплодисменты относились к незаурядному поступку дяди Балака, осмелившегося ослушаться указаний партии. А также к его излюбленному: «Слово мужчины!»

Дядя Балак, конечно, все эти тонкости понимал и, сохраняя спокойствие, сказал:

– Сталина нельзя убрать из истории. Не получится! Не забудем, что он похоронен в Москве у Кремлёвской стены, а не выброшен куда-нибудь в овраг или в ущелье. То же самое и с его книгами: кому они не нужны, тот их сожжет, а кому нужны, тот сбережет... Оставим это. Эй, вы! – обратился дядя Балак к тем троим,

сидевшим на сцене. – Теперь отвечайте: сколько раз вы приходили и тайком брали у меня книги Сталина? Признавайтесь, если вы такие смелые! Вы их использовали в своих выступлениях на разных собраниях. Вы думаете, что я не знаю, что слова Сталина вы выдавали за свои? Вы думали, что его книги никто уже не читает и вам сойдет с рук. Вам, кому Сталин оказался больше не нужен, почему понадобились его слова? Ответьте же! Слово мужчины!

И вновь зал загрохотал – хохотом. И тут выделялся трубный голос старого канатоходца Джебеса. Не удержался от смеха даже Бетих.

Парторг взял в одну руку стакан, в другой графин, но стучать ими не стал, понял: таким образом грохочущий зал не утихомиришь. Он налил воду в стакан и выпил. Потом он встал. Оказавшись на ногах, видимо, почувствовал, что все равно недостаточно, в желудке остается место, он влил в себя еще один стакан воды. Следом за этим он нахмурился и обратился к дяде Балаку:

– Ты не пытайся нас очернить. За это отвечают. Положишь партбилет на стол. – Он тяжело ударил ладонью по столу. – У меня нет ни желания, ни времени читать книги твоего Сталина. У этих товарищей тоже, указал на сидевших рядом. – И тут не один ты коммунист. Если ты коммунист, прячущий у себя книги Сталина, то мы коммунисты, открыто хранящие у себя дома книги Маркса, Энгельса, Ленина, Брежнева. Их святые слова мы храним в наших сердцах!.. Ты, товарищ Кумбаев Балак, вспомни о том, по какому поводу мы сегодня собрались. И как настоящий коммунист, отвечай за содеянное, за пример, который подаешь молодым ребятам.

В зале заволновались, заговорили шепотом.

– Ты тоже считаешь меня за вора? – спросил его дядя Балак.

– Есть свидетель, который видел тебя.

– Вот тот, сидящий рядом с тобой, сам послал меня ловить вора.

– Он тебя послал, но ты не показал себя достойным оказанного тебе доверия, – парторг говорил очень строго.

– Но как вы можете верить этому Бетиху? Что он вам доказал?

– Односельчане! – Бетих встал и вновь выступил вперед. – Я клянусь, но не книгами Ленина и Сталина! Я клянусь вот этим самым местом, где мы сейчас находимся! Вы знаете, здесь находилась мечеть. Я видел, как из тех развалин (он по-прежнему не произносил имени Ясаба) вышли Балак и эти двое юношей. А после того, как я их задержал и у нас состоялся разговор, я и сам пошел на те развалины. И там я нашел эту куриную голову.

– Кто знает, не ты ли сам отнес ее туда? – сказал дядя Балак.

Бетих просто отмахнулся от него.

Видя, что разговорам да спорам нет конца, учитель Ингар двинулся со своего места, преодолел лестницу в три ступени, поднялся на сцену и сказал:

– Уважаемые односельчане, прошу выслушать меня! Мы хорошо знаем и Балака, и тех ребят, которые были с ним. Не может быть, чтобы они оказались ворами. Я твердо уверен: так же думает и большинство из вас. Прошлой ночью украли курицу моей матери. И зарезали ее в развалинах дома Ясаба. Сегодня утром и я видел там следы крови и перья. Но если бы я даже увидел, что два этих моих ученика, – он указал на меня и Айсама, – режут ту курицу, и тогда бы я не поверил увиденному. Они не такие ребята! Я знаю их с детства. И уже много лет я даю им уроки. Чистые и совестливые ребята, которые хорошо учатся! Они заслуживают всяческих похвал! До сих пор я их никогда не хвалил, но сегодня похвалю. И наш брат Балак правильный человек, настоящий! Никто не видел, чтобы он совершил непотребное. Нельзя допустить, чтобы обвиняли невиновных!

– Они твои ученики, да? И ты учишь их пить, потом поёшь им частушки, – председателю сельсовета не понравилось выступление учителя Ингара. – И с какой стати мы должны верить тебе?

Я думал, что учитель Ингар выйдет из себя, но нет, он сдержанно бросил:

– Твой сын тоже мой ученик... – и спустился со сцены.

Председатель сельсовета не успел ответить на его реплику, так как тут произошло нечто до того неожиданное, что люди оцепенели.

– Я знаю, кто вор! – это произнес Шуай.

Никто не видел, как он вошел в клуб, наверное, не все поверили своим глазам: никто не думал увидеть его здесь.

В зале настала такая тишина, что стало ясно слышно, как в среднем из больших, узких и высоких, окон клуба жужжит и потерянно бьется о стекло пчела. Она рвалась в вольный мир, где туман исчез и светило солнце, но непонятная невидимая преграда из стекла не пускала ее.

Жужжание пчелы и звуки ее ударов о стекло напоминали, что это здание бывшей мечети и построено оно так, чтобы слышно было каждое произнесенное слово, даже каждая мысль, пронесшаяся в голове, и желание, пробудившееся в сердце... Люди как будто дожидались, что парторг постучит граненым стаканом о графин. Но он не стучал.

Сельчане знали, почему Шуай не ходит в клуб, потому их так удивило его появление здесь. Я же об этом узнал только теперь и с его слов.

– Люди, вы знаете, что я сюда не хожу, – сказал Шуай. – Место, где стоит это здание, священное. Прежде здесь был возведен храм в честь царя Вече его последователями еще во времена государства Алпан. Храм сохранялся до прихода в наши горы арабов. Но носители новой религии сожгли книгохранилище, сам храм

разрушили до основания и на его фундаменте возвели мечеть. Та мечеть обвалилась от ветхости, и ее отстроили заново. Потом из мечети сделали клуб. А перед тем, как-то ночью вынесли из мечети все книги, свезли на санях и бросили в Большую реку. Все видели, что произошло на следующий день. Многие из сидящих здесь могут вспомнить, как на Ледовой горе грохотало, сошли ледники, произошли обвалы, наша река разлилась громадным селевым потоком. Мои предки говорили, что подобное случилось и тогда, когда был разрушен первоначальный христианский храм... Надо понимать, что настанет время, и книги, которые сегодня дают читать молодому поколению, тоже сожгут, спрячут или выбросят...

Парторг постучал граненым стаканом о графин.

– Эти старые разговоры здесь не нужны, – сказал председатель сельсовета, но не очень строго, точно остерегаясь Шуая. – Мы люди нового времени. Говори по существу, если есть что сказать.

– Пусть говорит! Пусть говорит! – раздалось с разных мест.

Шуай, ничего не ответив тем, кто его прервал, продолжал:

– Невозможно быть счастливым, забирая чужое счастье. Отняв чужой дом, не обретешь родной, потому что в душе ты всегда будешь знать: ты отнял у другого... И какими бы ты себя ни успокаивал доводами, все они окажутся ложными. Не будет тебе оправдания! Здесь не ваше место. Потому не будет благодати в ваших делах. Вы поступаете так же неправедно, как поступали и до вас. Вы должны были собраться там, где ваше место, – это он сказал, обращаясь к тем, кто сидел на сцене. – Только на своем месте каждый остается самим собой. Народ только на своей земле остается народом. Сохраняя свою историю, соблюдая свои традиции, дорожа своими духовными устоями. А когда разрушают храмы и строят другие, сегодня преклоняются одному богу, а

завтра другому, народ слабеет, угасает духовно, он перестает быть самим собой... Вот почему сегодня вы потеряли себя. Вам все равно, кого обвинять, для вас все легко... Свыше снизошло на последователей Вече, и в свое время они построили здесь громадный храм, первый на нашей земле. Если бы вы сохранили в сердце хотя бы намек на тот храм, вы не дошли бы до этого дня. Но тот храм остался в моем сердце... Потому Всевышний указал мне и на вора, которого вы ищете. Я видел его своими глазами. И я клянусь этим священным местом, что говорю правду. Вор вот он, – Шуай рукой показал на Сардара.

Зал взволнованно загудел. Парторг постучал по столу. Отец Сардара знаком показал парторгу, чтобы налил ему воду. Тот налил и подал ему стакан. Председатель с жадностью выпил.

Люди, успокаиваясь, ждали, что же он скажет.

Председатель сельсовета заговорил, не владея собой:

– Он юродивый! Безумец! Он не в ладах с собственной головой! Его не надо слушать! Пропадает в старом склепе, не участвует в жизни села, ни с кем не имеет дела – и вы ему поверите, товарищи? Он сын своего отца, а тот, враг народа, как и где закончил свою жизнь, вы знаете.

– Ты не достоин говорить о моем отце. Он исполнил свой долг перед Богом. И он никому не остался должен. А ты отвечай за своего сына, – сдержанно сказал Шуай.

Председатель сельсовета порывался что-то еще сказать, но его остановил трубный голос старого канатоходца:

– Народ хочет слушать его, пусть он говорит! Не тебя же всегда слушать. Сегодня он со всеми. Когда мы его слышали? Сегодня пусть говорит.

– Пусть говорит! Говори, Шуай! – раздались крики.

– Вы знаете, люди, что я хожу в старый склеп. Возможно, вы слышали, как он появился. Там древнее кладбище. Чистых людей, последователей Вачe, потомков тех, самых первых, старших сыновей, которые были посвящены Вачe, когда он появился на Одиноком лугу. В народе их называют сынами Вачe. А в том склепе захоронен мой отец. Там я молюсь за тех, кто покоится на старом кладбище... Вы не знаете прошлого, и не хотите знать. Может, кто и знает, но не осмеливается открыто говорить. Если он заговорит, его примут за юродивого... Как и меня. Ну, пусть принимают... Так вот, прошлой ночью я вышел из склепа, это, как вы знаете, рядом с улицей Даркал. Прошелся к развалинам Ясаба. Помянуть его, помолиться-поплакать за погасший в том доме очаг. Ясаб для меня не был чужим, он тоже из потомков «сынов Вачe». Он очень обрадовался, когда я как-то об этом сказал ему. На том кладбище лежат кости и его предков. В склепе каждый раз мне точно кто-то говорит: «Иди, навести дом Ясаба». Так было и вчера. Подходя к развалинам, я услышал пронзительные куриные крики. Но посреди ночи куры не должны кричать... Вчера, вы знаете, было полнолуние, все вокруг хорошо видно. И что я вижу? Этот юноша, – он взглянул в сторону Сардара, – зарезал курицу. Потом, бросив там куриную голову, он с курицей выпрыгнул в окно и убежал вниз по улице. Я ничего не успел сказать, да и поздно было что-то исправить.

– В то время мой сын спал дома! – плохо владея собой, крикнул председатель сельсовета. Видимо, он чувствовал, что Шуай говорит правду.

– А разве ты вчера был дома? – Шуай задал ему неожиданный вопрос.

– Где же я еще мог быть ночью? – деланно улыбнулся председатель сельсовета. Потом, вспомнив, что до этого говорил, что вчера был в поездке, добавил: – Правда, я очень поздно вернулся домой.

– Ты был в доме твоего друга! У председателя колхоза. Вы, трое друзей, вчера там засиделись. И сегодня на работу ты пришел оттуда... Когда Бетих заявился к тебе.

Поднялся шум.

– Кто знает, не принес ли сын краденую курицу отцу? – хохотнул Джебес. Он встал. – Пойдемте, люди! У нас руководители села сами воры, пьяницы, картежники, обманщики. Чего вы от них хотите? Справедливости? Не дождетесь! Уходим! Идите себе по домам.

Народ стал расходиться.

Те, на сцене, что-то говорили, размахивали руками, но их никто не слушал. Парторг стучал граненым стаканом о графин – тоже бесполезно.

Сардара не было видно, когда поднялся шум, он исчез. Учитель Ингар, Айсам и я, обескураженные, продолжали стоять у стены. Не знаю, о чем думал Айсам, а у меня, почему-то пропала охота найти Сардара и как следует дать ему по роже. К нам подошел и дядя Балак. Он тоже как будто угас, видимо, и ему больше нечего было сказать. Только моя бабушка выглядела бодрой, помолодевшей.

– Пойдемте, зайдите к нам, парни! – пригласила она. – Для вас я не пожалею, зарежу петуха. Отметим торжество справедливости.

Дядя Балак, учитель Ингар молчали. Они должны были хотя бы отшутиться, но они молчали. Они ждали Шуая.

Что удивительно, присутствия Шуая уже никто не замечал. Сказанному им поверили без всякого сомнения, а теперь точно перестали его видеть. Может быть, его принимали не за живого человека, одного из всех нас, а за некий дух, которого чувствуют сердцем...

А Шуаю, казалось, было все равно, обращают на него внимание или нет. Он подошел к окну и распахнул его. Пчела, бесполезно, но неутомимо бьющаяся о стекло,

пулей вылетела наружу. В клуб проник прохладный свежий воздух.

«Для чего он открыл окно? – подумал я. – Чтобы освободить пчелу? Или освежить здесь воздух?.. – Одно доброе дело тянет за собой другое... И добро получается многослойным...»

После этих событий произошло еще нечто удивительное: у моего друга Айсама в кудрях поседела одна прядь. Седая прядь делала его старше, умнее, красивее...

Глава 12

Для меня явилось новостью рассказанное Ариной Федоровной о святилище на Горе. Она открыла для меня важную страницу в истории нашего народа.

В детстве, конечно, я слышал рассказы о том, что на Горе Алпан, недалеко от Ямы белой глины, находится обитель Шуая, что он называет его Домом Вече, что никто не знает туда дороги, если же кто захочет этот Дом найти, то тот не вернется обратно или сойдет с ума. Я помнил и рассказ бабушки о Чайгуне, отце Шуая (он будет еще впереди).

Еще говорили, что Муса, сельский дурачок, как-то оказался в том доме на Горе. (Считается, что юродивых, дурачков тянет к священным местам.) Муса дружил со всей детворой нашего села. Дети не испытывали к нему чувства страха, как, скажем, к Шуаю. К слову, играют дети на Зеленом току, и мяч улетел слишком далеко или скатился в овраг, что рядом, или на чью-нибудь крышу. Дети посылали за ним Мусу, и он покорно шел за мячом. Дети получали от этого несказанное удовольствие, ведь приятно иметь послушного слугу. Но при ком-либо из взрослых дети остерегались посылать Мусу за мячом или еще за чем-нибудь. Понимали: поступают нехорошо, за такой поступок последует окрик или даже наказание.

Муса был огромен телом и, дети знали, в той же мере наделен силой. «Сумеешь поднять вот тот камень? Нет, не получится у тебя!» – подзадоривая, мальчишки заставляли его поднимать большие камни. Он сначала осторожно подтягивал камень к животу, потом поднимал и несколько минут удерживал его над головой и не спеша опускал на землю. Еще ребята заставляли его перекатывать громадные валуны с места на место. Сами же при этом подбадривали его смехом и выкриками.

У Мусы были братья и сестры, другие близкие. Им не нравились эти детские затеи, и родственники старались не упускать Мусу из виду. Весной и летом на него возлагали обязанности ходить за скотиной, помогать соседям в уборке сена, в возведении стогов и в прочих работах.

Но как он попал в Дом Вачe на Горе? Об этом ребята его никогда не спрашивали. Может быть, потому, что и тут их удерживал страх пред Шуаем, чье имя старались не упоминать. Мне кажется, дети считали, что он наделен какой-то таинственной силой, которая может их покарать.

Но однажды я услышал ответ дурачка Мусы на вопрос, как он попал в Дом Вачe.

После окончания восьмого класса, во время летних каникул, мать решила взять меня с собой за белой глиной. Это означало, что я уже большой и могу помогать бабушке и матери по уходу за домом.

И вот, с нашей улицы большая группа отправилась на подножие Горы, с лошадьми и ослами, неся с собой лопаты и кирки, доски и палки, мешки и мешочки, свечи и светильники. Я в первый раз поднимался на подножие Горы с южной стороны. Тогда я и увидел впервые Хрустальное озеро и Одинокий луг, до этого я о них еще ничего не знал.

С нами был и дурачок Муса. Его брали с собой все, кто ходил за белой глиной, из-за его физических данных.

Узкий туннель в Яме белой глины изгибами уходил глубоко в землю. Однажды, когда в подземном тупичке случился обвал, Муса своей широкой крепкой спиной удерживал влажный пласт грунта, пока все, кто копал в тупичке глину, не выбрались оттуда и не подставили опоры. Мужчины отбивали кирками комья глины, а тяжелые наполненные белой глиной ведра наверх выносил Муса. А там глиной занимались уже женщины. Они, шлепая сырыми комками глины по плоской доске, придавали ей форму кирпичиков, после чего укладывали в мешки и мешочки.

По пути к Яме белой глины дядя Балак задавал Мусе вопросы, которые сначала казались мне шуточными, да и другие мужчины и женщины над ним безобидно подшучивали. Дядя Балак у него спросил:

– Муса, признавайся, ты и вправду бывал на Горе в Доме, куда ходит Шуай?

– Да, да! Я ходил туда, – ответил довольно Муса. – Меня послала туда Жавагир... Она говорила, что будет там меня ждать...

Жавагир была ясноглазая, жизнерадостная девушка, любила посмеяться и пошутить. Она как-то и скажи дурачку Мусе: «Я выйду только за тебя, и больше ни за кого». После этого Муса стал везде искать и преследовать веселую красавицу. Идет она с полным кувшином с родника, Муса берет у нее кувшин и доносит до ее ворот. Она возвращается с поля с вязанкой травы, он берет у нее вязанку и несет сам.

И так получилось, что Жавагир выдали замуж в другое село. Говорят, Муса пас в поле овец, когда прискакали свадебные вестники. Кто-то, шутя, сообщил ему: «Твою Жавагир отдают замуж». Бедный дурачок, прибежал в село и увидел только вереницу машин, поднимая пыль, удаляющуюся за селом вниз по дороге. В первой машине должна была находиться его Жавагир. Он понял, что ее уже не догнать, ничком упал на

землю и горько заплакал. Потом кричал: «Не уезжай, моя Жавагир, не уезжай! Что ты наделала?»

После этого Муса бесследно исчез. В течение недели сельчане активно искали его, об исчезновении Мусы сообщили и в соседние села, побывали и в том селе, куда увезли Жавагир, но безрезультатно. Но однажды, когда уже никто не думал увидеть его живым, Мусу привел в село Шуай.

– Он находился в Доме Вече, – только и сказал Шуай и ушел с кима.

Но вернемся к разговору между дядей Балаком и Мусой по дороге к Яме белой глины.

– Ты видел там письма, написанные Сталину? – спросил дядя Балак у Мусы, не подумав, что дурачок неграмотен.

Мне показалось, что дядя Балак, хранящий в сундуке книги вождя, позволяет себе паясничать. Однако ответ Мусы заставил меня насторожиться.

– Откуда мне знать, кому они написаны? Стопка каких-то конвертов там была...

О тех конвертах, и кое о чем еще, связанном с Домом Вече и с Шуаем, я узнал от Эдгема Шахшана, когда он, оказавшись в Москве, пришел ко мне в студенческое общежитие в пору моей учебы в Литературном институте (об этом разговор пойдет дальше).

– Тебе надо знать все то, о чем я рассказал и еще больше, если собираешься стать писателем, – сказал тогда, улыбаясь, Эдгем Шахшан. – Вдруг напишешь обо всем этом хорошую книгу. И мое имя, пусть даже и между строк, оставишь в истории...

Действительно, то, о чем он мне рассказал, тайны, которые поведал, открыли мне глаза, осветили сердце, дали мне возможность проникнуть в сокровищницу истории всей моей родной земли. И мне стало стыдно за свое неведение...

У человека нет хуже врага, чем свое собственное невежество. Тогда я подумал: «Если ты стремишься, а

если ты не совсем невежда, то такое стремление у тебя должно быть – внести свой вклад в духовное развитие своего народа, прежде всего тебе важно знать его язык и в нем каждое слово, даже за ненадобностью забытое, его историю, относящуюся к ней каждую мелочь, пусть и не имеющую ценнности в глазах других. И без этих мелочей не обойтись, когда открываешь проржавевшие замки на воротах большой истории. Народ же, лишенный своей истории, впавший в невежество, окажется лишенным светлого будущего. Спуститься в глубины истории, там покопаться и что-то понять, а затем, подобно пчеле, вернуться из дальнего странствия со сладким грузом и с чистым сердцем поделиться найденным – вот счастье, доступное не каждому».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 1

Познакомиться с Эдгемом Шахшаном мне довелось в Москве. Впрочем, я слышал о нем еще в селе, будучи школьником. О том, что сын Тингира, брата знаменитого канатоходца Джебеса, ученый и живет в Баку, можно было услышать и на киме от взрослых, и в школе от учителей.

Тингир, младший брат дяди Джебеса, работал на колхозном «ЗИЛе», и иногда возил в села Лезгистана брата-канатоходца, сопровождающих его двоих зурначей, барабанщика, шута, а также канат, разборные металлические стояки-опоры и прочие принадлежности для представлений.

Тогда я был еще совсем маленьким мальчишкой. Каждое свое летнее турне дядя Джебес начинал с представления в нашем селе.

В моей памяти осталась незабываемая картина, как он, с длинным балансиром в руке, пробегает по канату, словно орел, раскинув руки в стороны, подпрыгивает на нем, и хорошо помню сопровождавшего его шута дядю Шибита. Его маска, с огненно-красными глазами, с длинной бородой и усами, с длинным, как морковка, красным носом, с большим ртом, напоминала дракона из сказки, и от одного его вида бросало меня в дрожь. Маленькие дети очень боялись шута, им казалось, что он сыплет искрами из глаз и изрыгает огонь изо рта. Многие из детей не верили, что это дядя Шибит. К ним относился и я.

Я еще не хожу в школу. На представлении канатоходца сижу вместе с женщинами, на коленях у мамы. Я верю, что рядом с мамой шут меня не обидит. При бабушке я чувствовал бы себя в еще большей безопасности, но как я уже говорил выше, она не посещала веселые представления. Я не думал, что среди многочисленных зрителей шут обратит на нас внимание, однако в своем вспотевшем кулачке сжимал переданный матерью бумажный рубль. Его надо было отдать шуту.

Шут неожиданно появлялся и на крышах домов, и тут, и там, где находились зрители. Чего он только не выделывал: то брал горсть муки из мешочка и сыпал на людей, не разбирая, кто есть кто, то вдруг схватившись за сердце, цепенел на месте и падал перед зрителями.

Я не понял, как он, появившись между женщинами, словно из-под земли вырос передо мной. Моя душа, что называется, ушла в пятки.

– Это дядя Шибит, сынок, не бойся, – сказала мне мать. – Он просто надел на себя маску. Дай ему свою денежку.

Я же не мог шевельнуться от страха, одеревеневшая рука с рублем не слушалась меня. Мне показалось, что протяну я к шуту руку, а он вцепится и съесть ее.

– Давай сюда свой потрепанный рубль, а то получишь от меня горсть муки! – грубым голосом пригрозил мне шут, взяв в руки свой длинный хвост и вертя им передо мной

Мама сама направила мою руку с рублем в сторону шута. Я разжал кулак. Шут двумя пальцами, словно мышь за хвост, взял за уголок рубль и уставился мне в глаза своими глазищами, из, которых, как мне казалось, сыпались искры. Я от страха обхватил маму за шею.

Через какое-то время я почувствовал, что меня гладят по голове. Но явно не мама. Рука была грубой и в ней чувствовалась сила. Это был шут.

– Не бойся, милый, я дядя Шибит с верхней улицы... Кто дает деньги, тех я не трогаю... Ты смелый мальчик!

Эти слова успокоили меня. Я еще раз заставил себя взглянуть на шута, в его глаза через дыры в маске. И теперь я угадал серые смеющиеся глаза дяди Шибита.

– Брат пахливан[1]! – привычно прокричал шут.

– Да, брат мой! – откликнулся с каната дядя Джебес.

– От этого славного парня Антера чистосердечный подарок тебе – целый рубль! Пусть и без изображения Ленина и потрепанный, но наш завмаг Гумет возьмет его. И сдачи не отдаст!

– Молодец, смелый мальчик! – крикнул дядя Джебес, стоя в развилке опоры. – Сыграйте, мастера, быструю мелодию, я станцую ради этого храбреца!

Шут обсыпал мукой веселую группу девушек, одна из которых дернула его за хвост, и, пританцовывая, ушел к площадке с натянутым канатом, где стал кувыркаться, смешить людей.

Музыканты сыграли мелодию «Кавха»[2]. Дядя Джебес, сделав два больших шага, очутился на середине кантата, начал подпрыгивать, закидывая ногу на ногу, то сидя опускаясь на канат, а потом, становясь обратно на ноги, то вообще не касаясь каната ногами...

Иных картин выступлений дяди Джебеса я не помню. То далекое лето стало последним, когда в нашем селе он поднялся на канат. Поводом к прекращению выступлений канатоходца послужило то, что машина его брата Тингира, зимой по пути в село не удержалась на обледенелой дороге и упала в теснину Большой реки. Погибли и водитель, и пассажиры. Хотя я был еще мал, но запомнил плач и причитания женщин, траур в селе, мужчин, которые казались мне неожиданно состарившимися из-за оставленных бород.

С тех пор дядя Джебес больше не поднимался на канат.

---

[1] *Пахливан* – канатоходец.

[2] *Кавха* – староста.

Жена его брата Тингира была из города Кусары, что в Южном Лезгистане. После гибели мужа она, еще молодая женщина, вместе со своим единственным ребенком уехала на родину отцов. Я слышал, что до несчастного случая они успели купить жилье в Баку, где собирались поселиться. Это подтвердил мне и Эдгем Шахшан, когда мы познакомились в Москве.

Итак, об Эдгеме Шахшане, сыне Тингира, говорили, что он стал ученым и живет в Баку. Это были не только слухи, сельчане гордились им, уважали его мать, которая, оставшись вдовой в молодости, больше не вышла замуж, посвятила свою жизнь воспитанию сына, одолела все трудности и вывела его в люди.

Всем этим я до знакомства с Эдгемом Шахшаном, в силу своей молодости, не особенно интересовался.

Однако, прежде чем рассказать о знакомстве с Эдгемом Шахшаном, мне придется остановиться и на другом знакомстве, состоявшемся в том же году.

Напротив общежития Литературного института, на улице Добролюбова, находилось еще одно общежитие. Оно относилось к какому- то заводу и там проживали рабочие, приехавшие в столицу из разных уголков страны.

Как-то вечером, направляясь в булочную, из одного окна этого общежития до меня донесся напев одинокой зурны. Я остановился и стал слушать. Зурнач исполнял лезгинскую народную мелодию «Рипе́ кюл»[1]. Я почувствовал, как по всему моему телу прошла дрожь. Мое тогдашнее состояние я могу сравнить разве что с тем, что я испытал при знакомстве с Андреем и с его матерью.

Вдали от родных мест, в огромной столице, которой нет дела до тебя и твоих забот, твоих нужд и лишений, найти родную душу (а в то, что так и окажется, я почему-то поверил сразу) для меня было большой радо-

[1] *Рипе кюл* – лезгинская мера зерна, равная 28 кг.

стью. Я почувствовал, что мелодию, льющуюся в открытое окно, играет человек, который также ищет родную душу. Он, еще не знакомый, уже стал для меня близким и родным.

Я забыл, что собирался купить хлеб, так как душа моя нашла свою пищу. Когда голодает душа, усиливается и голод желудка, а если имеется пища для души, то и голод желудка не так сильно дает о себе знать – такие рассуждения я слышал в селе. Упиваясь под окном лезгинской мелодией, которую так долго не приходилось слушать, я понял, что томился душевным голодом.

Я решительно вошел в общежитие. Вахтерша, пожилая женщина, полная, с седой головой, с улыбкой в серых глазах, с добрым лицом, ответив на мое приветствие, спросила:

– К кому идете?

– К соотечественнику, – ответил я.

– К какому соотечественнику? Как его имя, фамилия?

– Он зурнач, – сказал я. (Как потом выяснилось, в общежитии его имя и фамилию и даже национальность заменяло слово «зурнач».)

– Хороший парень зурнач, – сказала вахтерша. – Здесь все, возвращаясь с работы, пьют и ходят по бабам. Он же приходит и играет на зурне.

Я не удержался от шутки:

– В нашем краю «играть на зурне» может означать и «предаваться пустословию».

Женщина верно поняла меня:

– Нет, у этого «говорит» зурна, а сам не очень-то и разговорчив... Если с ночевкой, оставьте паспорт.

– Я не с ночевкой, живу в общежитии по соседству с вашим, – я показал ей свой студенческий билет. – Хотел только заглянуть.

– Значит, из поэтов?

– Куда уж там! Из тех, кто желает стать поэтом.

– Скромничаете? Привычка не из худших... – она, задумавшись, помолчала, потом четко, с чувством про-

декламировала: «И мне нравится не гитара, // А дикарский напев зурны...»

– Ого, не из поэтов ли и вы? – в восхищении вырвалось у меня.

– Нет, я не из поэтов. А это строки Гумилева. Знаете их?

– Нет, – виновато признался я.

– Эти стихи теперь не издают. Что Гумилев под запретом, вы уж должны знать.

– Да, знаю.

– Я вспомнила эти строки в связи с нашим зурначом. Хорошо он играет! Настоящий мастер!.. Иди, иди, сынок. Тут, как говорят в вашем краю, я сама «заиграла на зурне». Вы, горцы, достойны всяческих похвал: вот, младшие навещают старших...

– Спасибо вам, – поблагодарил я. – Большое спасибо за строки Гумилева.

«Зурнач, значит, старше меня, – подумал я. – Да и играет он в духе старых мастеров. Точно зурнач, который сопровождал канатоходца дядю Джебеса».

Звуки зурны разносились по всему длинному коридору. «Проживающие здесь, – подумалось мне, – пьют и ходят по женщинам не потому ли, что убегают от этой зурны?»

Я постучал в дверь.

Зурна продолжала звучать. Я постучал сильнее. Звук зурны оборвался.

Дверь распахнулась. Передо мной возник молодой мужчина, высокий, атлетического телосложения, с зурной в левой руке. Черные, острые глаза, черные усы, коротко остриженные волосы, на висках начинает пробиваться седина.

«Такому никто не может запретить играть на зурне, – весело решил я. – С такими не свяжешься, от него только бежать...»

– Вам кого? – не дождавшись моего приветствия, по-русски заговорил он.

– Здравствуй! – сказал я. – Я к тебе.

Услышав лезгинскую речь, лицо у него посветлело.

– Заходи! Заходи, дорогой брат! Твой приход – что солнца восход! – Он был искренне рад нежданному гостью...

Вот так мы познакомились с зурначом Песеном. Здесь, в рабочем общежитии, его так и звали Зурначом, а порой, видимо, ради разнообразия, и Усачом-Зурначом. И вахтерша, конечно, легко пропустила меня, потому что я, неожиданно для самого себя, назвал его по прозвищу, прозвучавшему неким паролем.

Песен был старше меня лет на десять. Он вырос в детдоме, но память его сохранила когда-то услышанное, что родом он из села Тагар.

Ему было пять лет, когда его родителей в горах убило молнией во время грозы. Он не помнил, кто отдал его в детдом. До самого конца его пребывания там, никто к нему не приходил, не интересовался его судьбой. И самого его не тянуло поехать в родное село, найти кого-нибудь из родственников...

Он только помнил, что отца его звали Уткемом и он был зурначом. Помнил он и несколько мелодий, исполняемых отцом, в том числе и «Рипе кюл». В детдоме он, бывало, уединяясь, насвистывал отцовские мелодии.

Когда ему исполнилось восемнадцать лет и его призвали в армию, Песен узнал нечто важное для себя. Директор детдома, провожая его, отдал ему зурну:

– Нам ее оставил тот человек, который привез тебя сюда. По его словам, на этой зурне играли и твой дедушка, и твой отец, ее мелодии дарили людям радость на многих свадьбах и торжествах. Еще тот человек нам передал: твой отец мечтал, чтобы ты тоже стал зурначом, мастером, способным воодушевлять людей. Если бы ты получил зурну раньше, не сумел бы ее сохранить. Теперь же ты вырос, сынок. И сумеешь оценить этот дар. Береги ее, она прибавит тебе сил. А играть на ней, уверен, ты сможешь. Я не раз слышал, как ты насвистываешь старинные мелодии... Ну, в добрый путь! Будь мужчиной!

Служить в армии Песену довелось в Армении. Там судьба уготовила ему встречу с великовозрастным прапорщиком армянином Ашотом. Когда призывники, прибывшие в часть, облачались в новую армейскую форму и сдавали все, что было у них, Ашот и удивился, и обрадовался зурне Песена.

– Неужели у нас появился зурнач?! – воскликнул прапорщик. Он положил зурну Песена рядом со своей в маленький сейф в каптерке. – Смотри, здесь и товарищ твоему инструменту, и будет он в большей сохранности.

Вот так Песен попал под покровительство Ашота, он начал учить его тонким навыкам игры на древнем инструменте. Прапорщик, человек большого сердца, оценив способности Песена, в праздничные концерты не раз выводил его вместе с собой на сцену армейского клуба. Зурна стала для Песена в незаменимой принадлежностью, ублажающей душу, умиротворяющей ее в горькие минуты. На концертах один из них исполнял армянские, другой – лезгинские мелодии, от боевых маршей переходили на огненные плясовые наигрыши, а то покоряли слушателей печалью древних задумчивых напевов. К ним относился и «Рипе кюл»...

Когда мы познакомились ближе, а наши отношения обрели братский характер, в нашем общежитии Песен стал любимцем будущих поэтов и писателей, критиков и переводчиков, и произошло это после того, как и я однажды вывел его вместе с собой на сцену.

Говоря начистоту, сам я не стремился на сцену, в первую очередь я желал, чтобы преподаватели института, люди весьма почитаемые, и студенты из разных уголков мира услышали наши мелодии, в их сердца вошло отстоянное в нашей духовной культуре веками, то, что не передашь словами. Такая возможность выпала на 30 декабря, в день образования СССР.

И вот почему еще я оказался на сцене. Мои сокурсники знали, что я люблю играть на барабане. Барабан

же оказался в красном уголке общежития, а так как на нем никто не играл, мне разрешили забрать его к себе в комнату.

Мои друзья знали, что в досужие минуты меня тянуло отбивать ритмы на барабане. Я им рассказывал, как в детстве, мастеря барабаны, портил кастрюли, вырезая у них дно, и кромсал бурдюки. До того я любил мальчишкой бить в барабан! Когда на свадьбах дядя Балак играл на барабане, бывало, танец привлекал меня мало, я не мог отвести глаз от палочек в его руках, своими закругленными концами отплясывающие на туго натянутой коже.

Самым большим моим желанием было иметь настоящий барабан. Как у дяди Балака. Но я стеснялся говорить об этом бабушке или маме, потому что они повторяли: «Барабанщик – это не профессия». Почему они так считали, я не понимал.

Однако желание иметь барабан не покидало меня.

Помню, как я, скрываясь от посторонних глаз в дальнем углу нашего сада, сначала вырезал дно в алюминиевой кастрюле, что, орудуя острым резаком и молотком, удавалось легко. Потом я брал бурдюк, висевший под потолком в «холодной комнате», нес его туда же, под крону деревьев, и отрезал от него два круглых куска. (Своими наблюдениями я заранее установил, что на корпус барабана кожа натягивается как сверху, так и снизу.) Раздобыть веревку не составило труда: бабушка пряла на прялке и дома во множестве хранились мотки пряжи, они хорошо свивались в нужные мне веревки... Ничего путного у меня не получалось: мой инструмент не «грохотал», как настоящий барабан, а издавал хлюпающие звуки, как при ударах по дырявому резиновому мячу.

Смастерить барабан я пытался несколько раз, ни одно мое изделие не зазвучало должным образом, однако громко дали о себе знать мои усилия.

Как-то бабушке понадобилась алюминевая кастрюля, но ее нигде не оказалось, она поискала другую,

но и та тоже пропала. «Не попросили ли соседки, подумала она, – отдала и забыла?» Пошла спрашивать, нет, никто не брал. То же самое повторилось и с бурдюками.

Наконец бабушка, ищущая кастрюли с бурдюками, наткнулась на мой барабан. В нижнем этаже нашего дома одну комнату занимали инвентарь и приспособления для работы в саду и огороде, там же были не часто используемая домашняя утварь и непригодные вещи. А в углу комнаты находилась глубокая яма, где на зиму хранили картофель. Там и нашли один из моих барабанов.

С барабаном в одной руке, бабушка только покачала головой, по лицу было не понять: сердится она или ее разбирает смех, возможно, она сумела не показать и то, и другое чувство.

Как выяснилось, об устройстве барабана бабушка знала больше, чем я, который так хотел стать барабанщиком.

– Сынок, – сказала она, – из металлической кастрюли и овчины барабан не делают. Для него требуется деревянный корпус и шкура козла или осла. У тебя нет ни того, ни другого... И с чего вдруг тебя потянуло стать барабанщиком? В нашем роду их не было.

– Так и потянуло, бабушка, – стесняясь, признался я и все ей рассказал.

– Сынок, барабанщик – это не профессия, – услышал я опять. – Если бы ты прочитал какую-нибудь книгу, я бы тебе сказала: молодец! Если бы ты пошел и полил капустные грядки, опять бы я тебя похвалила. Теперь же мне остается только сказать: браво, барабанщик!

Едва ли бабушка знала, что последние ее слова, сдобренные насмешкой, так глубоко вонзятся мне в сердце...

– Но почему барабанщик – не профессия? – забыв про свою вину, я все же решился заступиться за барабанщиков.

– Дитя мое, барабанщиков много, я их знаю, они себя не утруждают. Это не профессия, что не утруждает

человека, ни тело его, ни ум, ни душу, а так, лишь способ добывать себе легкий хлеб.

– А зурнач – профессия? – я заметил, как у бабушки удивленно округлились глаза, показалось, что разгладились даже морщины на лице. – Нет, нет, я не собираюсь стать и зурначом, просто так спрашиваю.

– Да, это профессия! Зурнач в каждую мелодию вкладывает свою душу. И думы, и дыхание, и жизненная сила у него уходит в мелодию. Большим должно быть сердце, которое хранит столько напевов. Таких мало, сынок. Если бы не такие сердца, не дошли бы до нас красивые древние мелодии... Нет, зурнач заслуживает свой хлеб...

Хотя любовь моя к барабану и не ослабла, бурдюки и кастрюли я больше не портил. А чтобы уменьшить мою тягу к барабану, мать купила мне гармонь. Но как бы я ни старался, играть на гармони я не научился. И уезжая в Москву на учебу, я подарил ее соседскому мальчишке. А тот впоследствии вырос в замечательного гармониста, чему я душевно рад...

Итак, институтские друзья, знающие про мое увлечение, постарались, чтобы меня включили в список участников праздничного концерта. Организатору этого многонационального концерта Магдалине Саркисовне (она вела у нас занятия по русскому языку) друзья сказали, что на барабане я играю лучше, чем говорю на русском языке. Я же не сумел убедить ее в том, что они пошутили.

Но я знал: без зурны барабан не произведет должного эффекта, поэтому попросил Песена, чтобы он тоже вышел на сцену вместе со мной. И Песен согласился.

– Разве нам не надо репетировать? – спросил я, беспокоясь, хотя и не осознавая всю ответственность, которую взял на себя.

– Мне репетиции не нужны, – ответил Песен. – Тебе тоже. Какую бы мелодию я ни заиграл, ты меня только поддерживай.

– А так получится?

– Парень, мы не собираемся танцевать или петь песни. Не бойся! Мелодии у нас сами так и зазвучат.

– Тебе легко говорить... Ты же выступал на сцене.

– Ну, ты тоже немало попортил кастрюль да бурдюков у бабушки, – рассмеялся Песен. – Мало ли барабанил в общежитии для друзей? И у тебя довольно опыта.

На концерте, перед нашим выходом, у меня начали дрожать ноги.

– Вперед! – приказал мне Песен, когда объявили наш номер. – Марш на сцену!

На сцену для меня поставили стул: надо было сидеть и держать барабан между коленями, которые продолжали предательски дрожать.

– Колени дрожат, брат, – в отчаянии прошептал я. – Как барабан удержать?..

– Считай, что в зале никого нет. Представь себе, что сидишь на холме и играешь. Играешь нашим долинам и косогорам, лугам и пастбищам, горным источникам, нашей Срединной реке. Скажи себе: «За моей спиной наша священная Гора, мне нельзя показать слабость...»

Быстро проговорив все это, Песен вытолкнул меня на сцену.

Я чуть ли не бегом пустился к стулу, сел, постарался сильнее, чтобы унять дрожь, стиснуть коленями барабан. Руки мои изо всех сил сжимали палочки. И весь я сжался и замер, наверное, представляя собой смешное изваяние бедного барабанщика.

В зале пронесся шепот, тут и там раздались смешки. Видимо, студенты узнали заброшенный за ненадобностью барабан из красного уголка и вдруг с ним вышли на сцену, как тут было не посмеяться. Мои друзья, которые раззвонили обо мне как о барабанщике, сидели в первом ряду. Они весело подбадривали меня, выставляя вверх большой палец сжатой в кулак правой ладони, а мне казалось, что надо мной смеются. Как тут представлять себя сидящим на холме где-то у нашей Горы?..

– Мы исполним для вас старинные лезгинские мелодии, – заговорил Песен. – Они исполняются только на зурне. Если даже попробовать и другими музыкальными инструментами, то, они прозвучат не так, из них что-то уйдет. Возможно, эти мелодии звучали и тысячу лет назад. И каждая из них наделена своим смыслом. Одна говорит о мирном труде, другая поднимает дух защитников родной земли, третья призывает к дружбе и братству... – Песен, обычно не очень разговорчивый, продолжал говорить при неожиданно наступившей в зале тишине. – У нас, лезгин, есть священная Гора – Алпан. Как и все остальные горы в мире, Алпан красив и горделив. С его образом в сердце, с постоянным желанием увидеть его, мы дарим вам наши напевы, дорогие друзья, представители разных народов. Будем рады, если, послушав нас, вы тоже захотите побывать в наших горах. Видимо, о священной Горе он сказал и для меня: ноги у меня уже не дрожали, исчезла скованность в руках и во всем теле, я почувствовал себя легко и свободно, точно на зеленом косогоре.

Песен поднес мундштук зурны к губам...

Он начал с мотива «Сегерар[1]», который возвещает о начале свадьбы или празднества, созывает людей при возведении нового дома или моста, при строительстве дороги. В селах мастера исполняли его, поднявшись на крышу или с какого-либо другого высокого места.

Потом один за другим последовали мелодии, то стремительные, как горный поток, то сдержанно-величавые, то окрашенные печалью, от которой щемит сердце... А зал слушал в глубоком молчании. Я видел, как, повлажнев, заблестели глаза у моих друзей, точно боящихся шевельнуться.

Магдалина Саркисовна, наш преподаватель русского языка, женщина, повидавшая много, в годах, когда уже трудно утешить сердце, но еще не поблекшей красоты, знающая культурную жизнь столицы и умеющая

[1] *«Сегерар»* – зори.

по-своему ее оценивать, выглядела такой восторженной, что, казалось, источала свою радость во все стороны. Она, снимая очки, подносила белый носовой платок то к одному, то к другому глазу, что-то оживленно говорила другим преподавателям, сидевшим рядом. Улыбка не сходила с ее лица.

Меня радовало, что не подвел ее, организатора праздничного концерта. В каком-то блаженном состоянии я бил палочками по гремящей мембране, а мои руки, точно перестав принадлежать мне, соединились в единое целое с барабаном. Чтобы выводить ритмы в созвучии с напевом зурны, мои руки не нуждались ни в моем уме, ни в моих чувствах, ни в моей памяти, их как будто сама мелодия наделила умением, они словно обрели свою память, свои чувства, свой ум.

Когда Песен перешел на быструю мелодию, прославившуюся в мире как лезгинка, я догадался, что она последняя в нашей программе. То же поняли и в зале: там все встали и начали бурно хлопать.

Мои друзья, сидевшие в первом ряду, большей частью они были кавказцами, не выдержали (понимали, что не имеют права слушать лезгинку сидя, она ведь их объединяла и окрыляла), выходя на узкое свободное пространство между первым рядом сидений и сценой, стали танцевать, на что зал ответил одобрительным гулом и восклицаниями. Нам с Песеном громко хлопали, как никому другому на этом концерте. «Так не аплодируют даже нашим вождям», – пронеслось у меня в голове. Нам пришлось несколько раз возвращаться на сцену и благодарить зрителей.

Конечно же, виновником нашего успеха был Песен. Если бы не его зурна и мелодии, что бы значил я с заброшенным в красном углу никому не нужным барабаном? Однако же я подумал, что не зря мальчишкой в далеком родном селе портил кастрюли и бурдюки бабушки. Пожалуй, будь бабушка с матерью на этом концерте, они бы согласились с моей мыслью...

Глава 2

Итак, родом Песена был из села Тагар. Это сегодня также наводит меня на мысль о Шуае: название этого села связано с нашей Горой, с Ямой белой глины, с Домом Вече. На эту связь мне указал Эдгем Шахшан.

Я же собирался рассказывать о нем, поэтому возвращаюсь к своему рассказу...

День нашего с Песеном участия в концерте завершился не одним только этим выступлением.

Зрители расходились. Мы с Песеном, с зурной и барабаном в руках, вышли в вестибюль.

– Поднимемся ко мне, выпьем чаю, потом пойдешь к себе, – предложил я другу.

– И чаю, и кое-чего другого завтра выпьем... Приду к тебе встречать Новый год. А сегодня пойду. Надо прийти в себя... Того же и тебе советую.

– Жаль, если так скоро разойдутся зурна с барабаном, – я не сразу поверил своим ушам, услышав родную речь там, где не было лезгин, кроме меня и Песена.

Я заметил, что то же самое почувствовал и Песен.

Перед нами возникли два незнакомца, молодые мужчина и женщина, с сияющими от улыбки лицами.

Они удивительно подходили друг другу. Белолицые, высокие и стройные, с большими серыми глазами, очень похожие, однако какие-то неуловимые признаки, что-то в их поведении говорило, что они не брат и сестра. Оба держали, перекинув через руку, аккуратно сложенные пальто. Ясно, они тоже вышли из нашего маленького зала, где состоялся концерт. Но они не жили в общежитии, иначе они спустились бы вниз, оставив верхнюю одежду у себя. Если бы не их обращение к нам на родном языке, мы могли бы и не угадать в них лезгин. В то же время голос мужчины (к нам обратился он) мне показался знакомым. И что-то родное прозвучало в его голосе. Меня осенило: и своим обликом, и голосом он напоминал дядю Джебеса. У меня вырвалось:

– Ты, брат, случайно не Эдгем Шахшан?

– Ого, угадал! Как ты меня узнал? – его глаза радостно заблестели.

Женщина мило засмеялась, показав красивые белые зубы.

– У тебя голос как у канатоходца дяди Джебеса. И усами вы похожи. Только у него седые, а у тебя черные.

– Смотри-ка, как наблюдателен, – сказала женщина своим милым голосом.

– Не велико умение, – сказал я. – Кто знает дядю Джебеса, тот сразу заметит сходство... Поднимемся ко мне. И познакомимся поближе.

Женщина, конечно же, оказалась женой Эдгема Шахшана и звали ее Диляса.

– Мы пришли сюда потому, что услышали лезгинские мелодии, исполняемые на зурне, – пояснил Эдгем, когда мы оказались в моей комнатушке на четвертом этаже. – Мы остановились в гостинице по соседству с вами.

В левом крыле здания нашего общежития находилась гостиница для писателей. Меня удивило, что ученый остановился в гостинице писателей. Заметив это, Диляса добавила:

– Зная, что в других гостиницах свободных мест не найти, сюда нас устроили друзья... И так удачно получилось: иначе мы не услышали бы такие прекрасные старинные мелодии.

– Дорогих гостей нельзя кормить одними мелодиями, – пошутил я. – вы немного посидите, а мы с братом Песеном сбегаем в гастроном тут рядом. Полистайте что-нибудь из книг, – я указал на стопку книг на столе.

Когда мы вернулись из магазина, моя комната оказалась переполненной, а стол, выдвинутый на середину, накрытым. Друзья, убедившие меня с пионерским барабаном выйти на сцену, теперь собрались меня поздравлять. Они позаботились и об угощении. Мои друзья, представители разных народов великой стра-

ны, уже успели познакомиться с Эдгемом и Дилясой, и между ними шла оживленная беседа. Студенты, оценив глубину знаний молодых ученых, задавали вопросы и с удовольствием слушали ответы, большей частью очень занимательные.

Нам с Песеном оставалось только выложить свои покупки и кое-как втиснуться между тесно сидевшими друзьями.

В тот затянувшийся вечер, после ухода друзей, от Эдгема Шахшана я впервые услышал много интересного из истории своего народа.

Узнав, что Песен из села Тагар, лукаво улыбаясь и едва ли надеясь получить ответ, Эдгем спросил:

– Что означает на нашем языке слово «тагар»?

– Название села, – только и нашел сказать Песен.

– Ну да, – согласился я, дожидаясь объяснения Эдгема. – А еще это слово может означать «суму», «мешочек».

– Так и есть: «сума», «мешок». Но что за мешок?

Нам с Песеном оставалось лишь пожать плечами.

– Это сума, или мешок, сшитый из цельного куска шкуры. С такой сумой ходил странствующий аскет, дервиш, отрекшийся от мирских радостей. В старину так получилось, что эти нищие странники, поднимаясь на нашу Гору Алпан (как еще говорят в окрестных селах, на Гору постигших мир), располагались там на альпийском лугу, откуда открывался вид на бренный мир, оставленный ими внизу... Это место полюбилось странникам, они там обосновались и со временем возникло село. А соседи дали ему название по кожаным сумам его первых обитателей и тех, кто к ним присоединился впоследствии. Для других они были людьми, обладающими тайными познаниями и живущими неведомой духовной жизнью... Проходили века, представители разных духовных учений распространяли на нашей земле свое влияние, для чего они выбирали Гору Алпан. Каждый раз под влиянием нового учения менялся и

духовный облик обитателей Тагара, однако и название, и дела их оставались прежними. Тагарцы становились и последователями Заратустры, и христианскими монахами, и мусульманскими суфиями... А самыми первыми обитателями Тагара стали «сыны Вače» – старшие сыновья, которых их отцы приводили к отрекшемуся от трона царю Вače, когда он появился здесь...

Для меня удивительным было и то, что Эдгем рассказал о Шуае, о Доме Вače и о самом царе Вače.

– Надо искать, узнавать, писать, если ты собираешься стать писателем, – видя, с какой жадностью я вслушиваюсь в его слова, сказал Эдгем. – Ты знаком с Шуаем? – спросил он, точно подозревая, что я из тех, кто ни во что его не ставит.

– Я знаю его, – ответил я.

– К нему надо относиться с должным почитанием. Он один заменит тебе целую книгу, другие и не понадобятся.

Когда я поведал о том, что знаю о Шуае от бабушки, про Арину Федоровну, ее рассказ о Доме Вače, увиденный ею своими глазами, Эдгем Шахшан сказал:

– Ты на верном пути. Мысленно ты уже приступил к книге. Так продолжай!

– Тебе приходилось бывать в святилище Вače? – спросил я, впрочем, не сомневаясь в его ответе.

– Я бывал везде, где сохранились хоть какие-то памятники Кавказской Албании, и даже там, где они были когда-то в прошлом. И тебе надо так делать! А вот Диляса моя опора и помощница в моих поездках... – С загоревшими огоньками в глазах он спросил: – Ты хотя бы поднимался на нашу Гору Алпан?

Видимо, он привык ставить вопросы как перед собой, так и перед другими.

– Я ходил на мусульманские святилища на Горе...

– Ты обязан побыть там и на более древнем памятнике. Чем глубже ты будешь спускаться по лестнице истории, тем выше вознесет тебя лестница в будущее.

Ты обогатишься духовно, будешь чист перед своей совестью... Когда на нашей земле закрепился ислам, новые вероучителя подвергли гонениям старую религию, разрушили ее святыни или запретили их посещение... Но теперь ты больше знаешь о древнем святилище на Горе. Я уверен, ты захочешь увидеть, узнать о нем больше...

Я был очень рад тому, что у меня такой односельчанин! И Песена его рассказы не оставили равнодушным.

Желая хоть чем-то похвалиться в знании родного края, я сказал:

– Я ходил и к Яме белой глины!

И тут же, спохватившись, понял, что ударился в ребячество.

Но Диляса одобрительно заметила:

– Это тоже важно для тебя, для книги, которую ты напишешь. То место также связано с историей царя Вače.

Упоминания моих дорогих гостей о моей еще не написанной книге приводили меня в смущение. «Сами оба историки и пишут о прошлом, о народной культуре, – подумал я, – зачем им надо, чтобы о том же писал и я?» Их я понял позже, много лет спустя, когда переломился ход жизни, всех нас затянуло в водоворот больших событий, радостных и не очень: историк смотрит на жизнь своими глазами, а писатель – своими, и каждый из них находит свое. И чем больше глаз будут вглядываться во время и в события, тем ближе к истине мы окажемся.

А Эдгем с Дилясой это хорошо понимали. Кроме того, у научной книги узкий круг читателей, написанная же писателем – доходит до многих, так как он пишет живым, понятным всему народу языком, трогающим сердце, заставляющим работать ум. Важно, чтобы тех, кто говорит с народом о его истории понятным языком и напоминает ему о своих корнях, было много.

В тот вечер я еще не дошел до таких мыслей, просто не дозрел до этого. Но на правах хозяина, подняв бокал с вином, я сказал тост за дорогих гостей:

– За сестру Дилясу и брата Эдгема, пробуждающих наши сердца, освещающих их светом забытой нами истории, прошу опустошить эти бокалы. (Хотя пили мы из обычных стаканов.) Ваше здоровье!

Песен все время недопивал из своего стакана, что ясно говорило о том, что он не студент Литературного института. О родном селе он слушал, печально задумавшись, видимо, вспомнил свое детство. А может, когда разбирались со смыслом слова «Тагар», он представил себя человеком, оторванным от родных мест, с оборванными корнями, перекати-полем?.. Или же, неожиданно в его душе открылись некие животворные источники? Но без сомнения, в нем происходили какие-то перемены. Ни у кого не спрашивая, он взял зурну, направил ее в потолок и заиграл. Мотив не был похож на другие быстрые лезгинские мелодии, легкий и мелодичный, он лился спокойно, молитвенно умиротворяя. Он как будто поднимался над всеми мирскими треволнениями, прошедшими и нынешними, людской суетой, нес в себе силу духа и чистоту, и достоинство победившего их человека или народа и в то же время был окрашен тоской по чему-то дорогому и утерянному. Эту мелодию я слышал впервые. Не мог вспомнить, чтобы ее исполняли в селе на свадьбах зурначи, игравшие вместе с дядей Балаком. Однажды услышанную, я бы ее не забыл. Я даже решил, что этот напев, родившись в душе Песена, звучит впервые.

Эдгем с Дилясой, два прекрасных человека, не скрывали своих слез, слушая этот мотив. И со мной творилось нечто необъяснимое...

Песен оборвал мелодию. Сначала мне показалось, что он это сделал из-за слез на глазах гостей. Но потом понял, что тут причина иная: бурный поток чувств, взволновавший душу Песена, заставил его остановиться. По его молчанию и отстраненному виду казалось, что он еще в мире грез, куда его унесла собственная мелодия, видимо, всё еще звучавшая в его душе. И он продолжал внимательно слушать ее...

На звук зурны в комнату опять набились студенты.

Светлую печаль, которой мы все были охвачены, развеяли слова Эдгема Шахшана.

– «Одинокий луг», – сказал он. – Так называется эта мелодия. Еще ее считают мелодией царя Вače...

В ту ночь мы не спали. Не могли спать... На следующий день Эдгем с Дилясой должны были уехать в Ленинград встречать Новый год, а мы никак не могли наговориться.

В ту ночь я почувствовал величие исторической науки. Я понял, что без нее нет пути в будущее, незнание истории приводит к новым и новым ошибкам, потому что жизнь возводится на крепкой исторической основе. И чем чаще мы будем оглядываться назад, тем яснее станем видеть грядущее.

В ту ночь в сердце моем пробудились большие желания.

И я никогда не забывал его рассказ про «Одинокий луг», позволивший мне лучше понять Шуая...

В дальнейшем у нас с Эдгем Шахшаном и Дилясой были еще две встречи, к сожалению, мимолетные, в спешке, а посидеть, как в тот первый раз, в студенческом общежитии, и предаться неспешной беседе, обогащающей ум и сердце, нам больше не привелось.

Но теперь, спустя много времени, одно я могу сказать уверенно: Эдгем с Дилясой стали для меня как бы двустворчатой дверью, которая распахнулась и привела меня в историю лезгин.

Их судьба добавила в эту историюновую, печальную страницу.

Глава 3

У нас в селе много говорили о Чайгуне, отце Шуая.

Рассказывали, что он, будучи почтальоном, относил письма сельчан, адресованные Сталину, не на почту, а в Дом Вече. В тех письмах просили сообщить о судьбах родственников, репрессированных в тридцатые годы. Хотя и шла война, родственники заключенных в тюрьмы и лагеря продолжали писать Сталину, надеясь теперь лишь на одно: мудрый и справедливый вождь на сей раз поймет, что эта священная война дает узникам шанс с оружием в руках доказать свою преданность Родине и сопричастность к народу. Чайгун, не распечатавший эти письма, но умеющий читать души и сердца людей, отчаявшихся ждать, чувствовал единый лейтмотив каждого такого письма: «Чем гнить в лагере, лучше погибнуть на войне», в чем они видели единственное спасение имени и чести этих несправедливо отверженных людей и их родственников.

Но Чайгун думал иначе: мольбы людей из далекого села, всеми забытого в горах, быстрее дойдут до Всевышнего, чем до Сталина. Оставляя письма в Доме Вече, он там молился за тех, о ком говорилось в письмах. Он не верил, что Сталин прочтет и поймет эти письма.

И дядя Балак, не видевший своего отца, будучи еще ребенком, едва научившись писать, видя, как без отца приходится трудно ему и маме, тоже написал письмо Сталину. И это письмо, говорят, Чайгун отнес в Дом Вече.

И Чайгуна судьба не пощадила. В самый разгар войны его расстреляли как «врага народа» и «предателя», хотя в селе никто его таким не считал и не считает...

Прошло какое-то время после того, как на собрании в клубе Шуай заступился за меня, Айсама и дядю Балака, убедив сельчан в нашей невиновности, мои бабушка и мама успокоились. Со мной они говорили, как обычно, не выражая недовольства.

Однажды в туманный день, когда выходить на улицу была неохота, мама пошла в соседнее село навестить мою тетушку, свою старшую сестру. Бабушка заговорила со мной, желая отвлечь меня от книги, считая, что от усиленного чтения у меня испортятся глаза (а у самой глаза плохо видели, хотя и не читала книг):

– Ты знаешь что, дитя мое?

– Не знаю, – ответил я, шутя, радуясь, что она заговорила доверительно.

– Я знаю, что ты не знаешь, дай же мне сказать. Не пойму, чему вас учат в школе, но тебя Всевышний бережет, да буду я жертвой Ему... Он и Шуая послал выручить тебя.

– Хорошо, бабушка, пусть будет по-твоему, – отозвался я, не отрывая глаз от книги. И, шутя, добавил: – Но я не пойму, почему Он, кому ты готова принести себя в жертву, дважды посылал Шуая мне на выручку: в первый раз, когда в первый же день я сбежал из школы, и во второй раз, когда я заканчивал учебу и меня чуть было не исключили из школы.

– Довольно шуток, мальчишка! Мужчина и в шутках должен знать меру, знай же, иначе они надоедают. – Я видел, что бабушка настроена серьезно и хочет о чем-то сказать. – И кончай сегодня читать. Сколько можно портить себе глаза? Читай завтра при дневном свете.

– Эта книга, которую нельзя отложить, бабушка! Хочешь, я буду читать и пересказывать тебе по-лезгински?

Но бабушка была не из тех, кого легко убедить.

– Хватит, дитя мое, не такой уж ты большой стал, чтобы не слушаться старших... Что в них, в твоих книгах? Сказки. Их я могу рассказать тебе и днем, и ночью. Но теперь я хочу рассказать тебе о другом. О чем не пишут в книгах, о том, чего пока не увидишь своими глазами, не поверишь.

– О чем же это, бабушка? – меня разобрало любопытство, и я положил книгу на подоконник.

– Это опять же связано с Шуаем, дитя мое. Я говорю о его отце. Ты теперь уже не ребенок, тебе надо кое о чем знать. Это жизнь, кто знает, как завтра все повернется. Но не рассказывай об этом, кому попало, но помни.

– Хорошо, бабушка, я тебя слушаю.

Бабушка глубоко вздохнула, помолчав, начала рассказывать.

– Отец Шуая был невысоким, худощавым мужчиной. Его звали Чайгун. Отличался он уравновешенным характером, был добр и наивен. При встрече всегда расспрашивал человека о житье-бытье, мог дать нужный совет, если надо, успокоить-утешить. Сын не пошел в отца, после случая, о котором я собираюсь рассказать, Шуай стал сторониться людей, замкнулся в себе...Чайгун трудился как все, чтобы заработать себе кусок хлеба. А еще его семья продавала белую глину, «долю Ваче», которую сельчане отдавали им. Этот обычай, таким образом выражать уважение их роду, у нас существовал издревле. Было так и в советское время, сельчане исподволь придерживались его. И невестки, которых к нам приводили из других сел, расположенных у подножия Горы, приносили старухе Лизе кирпичики белой глины. А у них глину покупали (правда, редко: денги-то у людей не особенно водились) или обменивали на продукты питания.

Еще перед великой войной в нашем селе были арестованы верующие, владеющие арабской грамотой, так никто и не узнал, куда их сослали. Никто из них не вернулся, сгинули люди без следа. Но Чайгуна, который придерживался христианской веры, ходил молиться на старое, исчезающее христианское кладбище, почему-то не тронули. В Гору иногда он шел с маленьким сыном Шуаем. Говорят, чабаны видели, Чайгуна вместе с женой на Хрустальном озере, что рядом с Одиноким лугом, когда они выкупали ребенка в ледяной воде. Вот так отец и своего сына сделал христианином. Но

Чайгун никому ничего не говорил о своей вере, ни на кого не был похож, имел привычки юродивого, каким, видимо, представлялся и представителям власти... Старуха Лизе склонна была считать, что Христос сохранил от ссылки и гибели мужа... Но почему-то, когда власти все же добрались до него, Христос не пришел ему на помощь. Старуха Лизе не любила, когда вопрос ставили таким образом. Она говорила, что Христос помог Чайгуну победить саму смерть. Только Всевышний знает, кто прав и в чем заключается правда...

– Но что там случилось, бабушка? – не выдержав, перебил я ее.

– Наберись терпения, дитя мое, дойдем и до этого. Не прерывай меня, а то я потеряю нить рассказа, могу что-то упустить... Когда началась великая война, вначале Чайгуна не беспокоили. Все крепкие мужчины ушли на фронт, многие – добровольно. По Чайгуну не было видно, чтобы он собирался отправиться на войну вслед за другими. И люди не ставили это ему в упрек, понимали: какой из него воин? Старики, оставшиеся в селе, решили, что он будет почтальоном, так как прежний почтальон ушел на фронт. Старики понимали, что с войны больше будут приходить черные вести, чем добрых. И не каждому дано в таких случаях должным образом донести ее до родных... А Чайгун по своему характеру подходил для такой работы. Он мог найти и нужные слова утешения: «Великая война идет. Тысячи и тысячи сражаются. Сколько там людей, с одинаковыми именами и фамилиями. Может выйти и ошибка... Может, погиб совсем другой человек, носящий имя вашего сына... Неисповедимы пути Всевышнего, мы ничего не знаем, надо терпеть. Надо терпеть и не терять надежды. Я за всех буду молиться на Горе...»

Чайгун был почтальоном три года. Потом, уж не знаю, как это вышло, его тоже забрали на войну. Вместе с теми еще несовершеннолетними, которых призвали, в документах добавив им возраст. Передавали сло-

ва Сталина о том, что выселят народы Дагестана, если оттуда не призовут в армию еще столько же мужчин, сколько уже были на фронте. У нас, четырех сестер, был единственный младший брат, которому исполнилось шестнадцать лет. И ему в сельсовете в документах приписали два года.

Вспомнив о брате, бабушка уголком черного платка вытерла слезы, навернувшиеся на глазах в которых накопилось по слезинке из тех, вконец выплаканных. После того, как в семье получили похоронку на брата, она не сменила траурного одеяния, не пошла ни на одну свадьбу или праздничное торжество... Помолчав, она продолжила:

– По соседству с нами жила одна старуха по имени Пеки, давно уже покойная. Не сдержанная на язык была женщина. У нее не было ни сыновей, ни братьев, которые пошли бы воевать, а муж ее умер еще до войны. У старухи были две дочери, засидевшиеся в старых девах. Словом, эта Пеки едва ли могла понять тех, у кого сыновья и братья находились на войне. Ну да упокоит ее душу Всевышний...

Была осень. Как-то у родника я столкнулась со старухой Пеки. Рядом никого не было.

– Вуа, женщина, не помереть тебе, – обратилась она ко мне как к ровне, хотя сама была намного старше, – знаешь, что я сегодня увидела?

– Что увидела, старшая сестрица? – стараясь быть сдержанной, спросила я?

– Штаны Чайгуна!

Я и удивилась ее словам, и непонятная тревога охватила мое сердце.

– О чем ты говоришь, старшая сестрица? Какие еще штаны?

– У Чайгуна одни штаны, которые все знают, из серого сукна.

– Может, тебе только показалось? Чайгун ведь на войне!

– Может. Но его штаны сушатся после стирки во дворе у Лизе.

Какие только мысли не пронеслись у меня в голове... Когда Чайгун уходил, на нем были его серые штаны. Да еще заплатками на коленях. Если бы его, скажем, раненного, отпустили домой, об этом знало бы все село... Тут что-то было не так. Да и кто возвращался с войны после трех месяцев?..

– Одна просьба к тебе, старшая сестрица, – сказала я Пеки. – Никому не говори о тех штанах... Может, и вправду они Чайгуна. В армии ведь им дают другую одежду, а что было на себе, он отправил домой для сына. Ничего тут нет странного, но ты все равно помалкивай. Так будет лучше.

Пеки удивленно посмотрела на меня. Она не задумывалась над тем, что ее язык может накликать беду на чужую семью, не знала той тревоги, в которой жили другие женщины, до нее, недалекой женщины, многое просто не доходило.

– Тебе показалось! Понимаешь? Молчи об этом, иначе заявятся к тебе люди в погонах, беды не оберешься... – на всякий случай, припугнул я ее, забирая свой полный кувшин.

– Ты хочешь сказать, что меня схватят из-за штанов Чайгуна?

– Да, милая сестрица, да. Придут к тебе, будут спрашивать: где штаны? А окажется, что штаны вовсе и не Чайгуна. Или самих штанов не будет. Тогда арестуют и увезут тебя, решив, что ты что-то знаешь. Смотри, кого они увозят, не возвращаются!..

От страха у Пеки округлились глаза.

– Никаких штанов я не видела! – воскликнула она.

– Кто не распускает язык, тот сохраняет себе жизнь! – добавила я и пошла домой.

Я поспешила домой к Лизе, оставив кувшин у себя во дворе. Еще издали я увидела штаны Чайгуна, висевшие на веревке. Я сняла их, собрала и позвала Лизе. И

тут увидела, что на дверь накинута щеколда, заткнутая палочкой.

Лизе, наверное, пошла в школу, где работала уборщицей. А Шуай мог быть где угодно. Хотя он и помогал матери по дому, но летом, пока погода позволяла, часто ходил на Гору. И в Дом Вече он едва ли пошел, так как было уже холодно. Когда я узнала, что в тот день он в свою очередь пас сельских телят...

Скрывая штаны Чайгуна под платком, я вернулась домой. А вечером, когда стемнело, отнесла их обратно: бросила в сумку на донышко несколько картофелин, а сверху уложила штаны.

Я знала: у Чайгуна не было других штанов, только одни. В них он пошел и на войну. А если штаны оказались дома, значит, их кто-то принес. Возможно, рассуждала я, получив военную форму, свою одежду он с кем-то отослал домой. Или же приехал сам Чайгун, но тайком. Может быть, он не хотел ехать на фронт и сбежал. Передавали, как будто он говорил: «Убивать людей не мое дело, этого мне не позволяет моя вера». До кого бы дошли его слова? Тогда у всех была одна вера: уничтожить врага... Если Чайгун дезертировал, вывешенные во дворе штаны могли его выдать. И его бы не пощадили. Я не хотела, чтобы наивная Лизе так глупо подставила своего мужа, надо было объяснить ей...

В селе у нас тогда еще не было электричества, на улицах было темно, хоть глаз выколи. Ночную тишину нарушал только шум Большой реки, доносящийся снизу.

Приближаясь к дому Лизе, я увидела, что у них на окне стоит зажженная лампа. В то окно я и постучала.

– Кто там? – раздался тревожный голос Лизе, она подошла к окну.

– Это я! – она узнала меня по голосу. Лизе всегда чувствовала мое расположение к себе. До войны я помогала им, чем могла, и подаяние носила. Но потом всем стало трудно, не хватало еды, все силы были направлены на помощь фронту.

Лизе вышла.

– Заходи домой, милая сестрица, – пригласила она. – Что-то случилось? – Она не могла совладать собой, и я все больше убеждалась, что Чайгун сбежал с фронта и вернулся домой...

– Не бойся, – попыталась я ее успокоить, – я желаю тебе только добра... Зачем ты вывесила их напоказ всем? – я протянула ей штаны мужа.

– Вуа, чтобы пропасть мне! – она постучала себя по голове. – Как все глупо вышло. А я все думала: кто унес штаны?.. Опозорилась перед мужем...

– Сбежал и вернулся?

– Да, милая сестрица. Это так, – прошептала она. – Что мне скрывать от тебя.

– О штанах я узнала от Пеки. А ты знаешь, что у нее за язык. И соглядатаи в селе найдутся... Как ты можешь быть такой наивной? Неужели тебе ничего не сказали ни муж, ни сын?

– Шуай не видел, что я постирала штаны, он с раннего утра пас телят. И Чайгун ничего не сказал...

Не успела я передать свою сумку Лизе, чтобы она высыпала картофель, как во двор ворвались пятеро или шестеро вооруженных мужчин в военной форме. Одного из них я узнала, это был районный военком Велихан, дедушка Сардара, который учится с тобой... Он еще до войны немало наших мужчин отправил туда, откуда не возвращаются. А Абди, отец Балака, был молодым человеком, только женившимся. Его осудили из-за нескольких колосков, которые он подобрал на колхозном поле, с которого уже свезли снопы. До сих пор никто не знает, где он, что с ним. Из села его увез тот самый Велихан. Да не будет ему покоя и на том свете!..

– Ты что тут делаешь? – свирепо взглянул он на меня.

Я показала свою сумку:

– Принесла картофель сестрице Лизе.

– Кормишь предателя, дезертира, труса? – взревел он.

– Какого предателя? Я не видела тут никакого предателя.

Уже не слушая меня, Велихан поднял пистолет, указывая дулом на дверь, крикнул Лизе:

– Где он?

– Дорогой Велихан, умоляю тебя: позволь мне отдать ему штаны, он сидит в тряпье. Пусть хоть штаны наденет бедняга.

Слова несчастной женщины вызвали смех у мужчин.

– Штаны ему уже не понадобятся, – сказал Велихан.

В это время из дома вышел Шуай.

– Мама, что тут происходит? Кто это? – спросил он.

– Принеси лампу, сынок, – не отвечая на вопросы, сказала ему мать.

Шуай, наверное, все понял, он молча ушел и вернулся с лампой.

Лизе, вытянув вперед руку с лампой, прошла в общую, а оттуда в холодную комнату, где хранились продовольственные запасы. Посредине комнаты находилась яма для картофеля. Сверху яма была накрыта досками и, для маскировки, в беспорядке уставлена кое-какой утварью. Немного картофеля, который имелся, Лизе сложила просто в углу комнаты.

– Убери доски с ямы, милый, – обратилась она к сыну.

Шуай открыл яму.

– Чайгун, прости меня, сама не зная, я выдала тебя, муж. Все из-за штанов... Я приблизила твой срок. Прости, мой муж.

Держа лампу, она опустилась на колени у края ямы.

Прикрытый каким-то рваньем, в накинутой на плечи старой овчиной шубе, Чайгун встал на ноги. Казалось, лицо его охвачено сиянием.

– Тут нет твоей вины, жена, – заговорил он. – Я сказал тебе, чтобы ты постирала и повесила сушить штаны, зная, что потом произойдет. У меня оставалась

единственная дорога, жена и сын. Ничего другого мне не оставалось. Это вы простите меня. Для меня лучше так, чем брать грех на душу. Вы меня поймете...

– Заканчивайте вашу болтовню! – приказал Велихан.

Все замолчали.

– Чайгун, – властным тоном заговорил он, – ты предатель и трус, дезертировавший с фронта. Именем советской власти ты приговорен к расстрелу.

Военком нажал на курок пистолета, вслед за ним и остальные выпустили пули в того, кто стоял в картофельной яме...

Бабушка замолчала. Услышанное потрясло меня.

– А как же Шуай? Он стоял и смотрел, когда расстреливали его отца? – это не укладывалось в моей голове. – Разве он никак не мог помещать Велихану?

– Шуай понял отца... возможно, у Чайгуна был разговор с сыном... Как выяснилось, почти все лето Чайгун скрывался на Горе в Доме Вече. А Шуай его тайком навещал, носил съестное... Как бы то ни было, Чайгун не изменил своей вере. Он не решился пролить людскую кровь. В их вере сказано о любви к врагу, о прощении.

– Лучше бы он погиб на фронте от немецкой пули. Не стал бы предателем... – нет, в моей голове это не укладывалось.

– Так я сказала и Лизе. Знаешь, что она мне ответила? «Чайгун не хотел умереть на чужой стороне. Он хотел лежать в могиле не где-то далеко от родины, в незнакомом поле, а здесь, у Горы, на старом христианском кладбище. Всевышний исполнил его желание...» Но какой же он предатель, сынок? Он не предавал ни родину, ни народ... По-моему, он не думал, что его расстреляют, надеялся, что его простят, только арестуют... Как бы то ни было, он о себе сам дал знать и тем самым отдал себя на суд Всевышнего... Так ему было написано на роду, дитя мое... По словам Лизе, и в село он приехал открыто. На станции в Белиджи он сел в эшелон вместе

с другими мобилизованными. И так случилось, что в толчее он забыл свой вещмешок на вокзале, о чем сразу сообщил старшему. Тот сказал, чтобы он быстренько сбегал и забрал его. А пока Чайгун ходил за вещмешком, эшелон уже тронулся. Он побежал следом, но не догнал... Вот так, отстав от остальных, из Белиджи он вернулся домой. Ночью в пути его никто не видел. Зная, что власти не простят это мужу, Лизе посоветовала ему скрыться на Горе в Доме Вече. Лизе говорила, что он не хотел этого, но она сумела настоять... Он не считал себя предателем, он думал, что здесь, в тылу, принесет больше пользы, надеялся, что его поймут и простят... Но время, дитя мое, было иное...

– Где и кто похоронил Чайгуна?

– Хоронили его всем селом, пришли женщины и дети, старики. Все, не считая руководителей колхоза и других начальников... Нет, никто не считал его предателем, люди этому не поверили... Похоронен он в склепе за Улицей при воротах, который на старом христианском кладбище построил Шуай. Правда, теперь почти не заметно, что там было кладбище, только склеп и остался... Говорят, что на этом кладбище похоронены и предки Шуая, пришедшие сюда вместе с царем Вече, и те, кто потом присматривал за Домом Вече. Многие соратники и последователи Вече, как говорят, похоронены у подножия Горы, и там, где Одинокий луг. Но о них уже никто не помнит, может быть, разве только Шуай...

А похоронили Чайгуна на следующий день по христианскому обычаю. Сельчане разделили горе Лизе и Шуая. Молитвы над могилой прочел сам Шуай. Потом он несколько дней носил на кладбище скальные камни. Возвел склеп, зажег там свечу.

Пришла на могилу и Пеки. «Милая сестрица, – обратилась она ко мне, – не смотри на меня с укором. Клянусь Всевышним, о штанах Чайгуна я никому не рассказывала, кроме тебя». – «Я ни в чем не виню тебя, сестрица, – успокоила я ее. – Не только твои глаза виде-

ли те штаны». – «Предал Велихан, проклятый! – зашептала она мне на ухо. – У кого еще глаза острее ножа и каменное сердце в груди? Подосланные им люди следили за Шуаем, когда он ходил на Гору, только они не решились подойти к Дому Вače». Видимо, Велихан и его люди узнали, где скрывается Чайгун, и ждали, пока похолодает и он вернется к себе домой.

– Но чего они испугались? – не понял я.

– На высокогорье посторонним людям приходится нелегко, зачем подвергать опасности себя и своих лошадей? А кроме того, у нас издавна бытует мнение: кто выстрелит на Горе, нехорошо обойдется даже с недругом, тот кончит плохо. И не только ему, он на весь народ накличет беду. Велихан и его люди, конечно, знали про это поверье...

Вот еще о чем скажу тебе, дитя мое. С того дня, как убили его отца, Шуай перестал ходить в школу. В серых штанах своего отца, совсем потерянный, он околачивался на сельских улицах. То ходил и засиживался в могильном склепе отца, то поднимался в Дом Вače. С того времени многие стали называть его и Домом Шуая. Ни с кем из сельчан Шуай не общался, разве что не сторонился одного канатоходца Джебеса. Говорят, что его предки, как и предки Шуая, тоже пришли сюда вместе с царем Вače. Потом после окончания войны, когда у Лизе поселилась русская учительница, Шуай как будто изменился, словно его душа успокоилась. Он принял девушку как сестру... Последние два года Шуай также сблизился с Эдгемом, племянником Джебеса, который стал ученым. Люди видели, что они несколько раз вместе ходили в Дом Вače.

Вот какие у нас творились дела, дитя мое. Что-то ты поймешь сейчас, до чего-то дойдешь позже, а в чем-то так и не разберешься. Это относится и к судьбам семьи Чайгуна. Знай же о них, вдруг извлечешь какой-то урок для себя. Одно то, что пишут в ваших книжках, а другое то, что надо вырезать у себя на сердце... Я знаю и до-

вольна тем, что ты и мальчишкой, в отличие от других детей, не обижал Шуая. Теперь же, когда произошла эта история с кражей кур, Всевышний послал его тебе на выручку. Видишь, как бывает в жизни? Такие события и надо хранить в своем сердце.

Я вновь хотел пошутить над тем, как некогда Шуай не дал мне сбежать из школы, но решил, что это будет лишним.

Глава 4

После нашего состоявшегося в Москве знакомства Эдгем написал мне письмо из села. В письме сообщалось о том, что скончалась старуха Лизе, и он приехал выразить соболезнование Шуаю, что он рассказал ему и обо мне, о моем желании глубже узнать историю родного края. «Шуай расположен к тебе, – писал Эдгем. – Он рад тому, что ты выбрал себе профессию писателя, готов, если ты захочешь, о многом рассказать тебе. Когда приедешь в село на летние каникулы, повидайся с ним. Он передал мне немало рукописей из Дома Вече. Я еще не успел тщательно разобраться в них, но для меня уже ясно, что они очень ценны для изучения нашей истории. Чтобы я мог их читать, Шуай написал мне албанский алфавит с параллельным нынешним лезгинским. И теперь я могу читать рукописи из Дома Вече. Многие тексты относятся к христианской религии. Впрочем, пока рано громко объявлять об этих древних рукописях. Шуай говорил, что у него есть рукописи, которые он хотел бы показать тебе.

А о том, что ты дружен с Андреем, с сыном нашего односельчанина Ясаба, Шуай узнал от твоей бабушки. Он рад вашему знакомству, спрашивал, не собирается ли Андрей навестить родной край...»

Я давно готовил Андрея к поездке в родное село, и Арина Федоровна поддерживала меня в этом. Мое со-

общение о том, что и Шуай ждет Андрея, несказанно обрадовало мать с сыном. Но когда я и Арине Федоровне предложил поехать в село, она не согласилась. «Не осталось ни матушки Лизе, ни Ясаба, что мне там делать? – сказала она. – Они были мои родные... И Шуаю, ставшему мне братом, не хочу причинять лишних хлопот... Может быть, когда стану бабушкой...»

Она знала, что дом Ясаба стоит в развалинах, приехать и остановиться у нас она не хотела. Я понимал, что Арина Федоровна не вновь возвращаться к прошлому и тревожить старые раны. Вот почему она не поддерживала никакой связи с селом, не написала ни одного письма Лизе и Шуаю. Остерегалась горестных воспоминаний, хотя и не оставляла мысль о поездке...

– Парень, – сказал мне Андрей, – мать ты не сумеешь уломать, напрасные старания. А попробуй-ка лучше уговорить поехать нашего старшего друга Песена.

Об этом я подумал раньше Андрея, в разговорах намекал Песену о поездке в родные места, однако ничего определенного от него, как всегда, малоразговорчивого, не добился. От моих наводящих вопросов он, уставясь в окно, задумывался и отмалчивался. В такие минуты молчал и я, бог весть куда уносимый мыслями...

Но как-то мы с Андреем, после сдачи летней сессии, вместе пошли к Песену, чтобы отметить это событие. И еще было, что отметить: одновременно с нашими каникулами и у Песена начался отпуск. Мы не нашли бы лучшего случая серьезно поговорить с ним о поездке.

– Дорогой старший брат, – обратился к нему Андрей после того, как наше застолье заметно оживилось, – ты едешь вместе с нами в село?

– В какое село? – в свою очередь, спросил Песен. Я его понимал: для нашего друга родного села как будто не существовало. Он там никого не знал и его не знали, там никто его не ждал.

– Ты хочешь поехать в Лезгистан? На родину? – я поставил вопрос ребром.

– Кто не хочет поехать на родину?

– В таком случае завтра мы пойдем и купим билеты!

У Песена в руках оказалась зурна, он исполнил мелодию «Одинокий луг».

Это означало, что он поедет...

В селе я намеревался поближе познакомиться с Шуаем, узнать от него о тайнах Дома Вече и, если он разрешит, подняться в святилище.

И я радовался тому, что Песен с Андреем побывают в родных краях. А то, что добился этого, с моей стороны становилось, как бы сказала бабушка, благодеянием, это меня вдохновляло.

В Махачкалу мы прилетели на самолете. В то время из Махачкалы в наше село рейсовый автобус не ходил. С автобуса, следующего до райцентра, мы сошли в соседнем селе. А оттуда в наше село, к подошве Горы Алпан, нам предстояло идти пешком вдоль долины Большой реки, окруженной горами. Я думал о друзьях: сумеют ли они одолеть дорогу, все время поднимающуюся круто вверх?

Но дорога тем хороша, что на ней путника часто подстерегают приятные неожиданности.

Обычно, если в наше село шла попутка, она останавливалась около столовой в соседнем селе. (К слову сказать: у нас в селе такой столовой не было). Когда мы, сойдя с автобуса, подошли к столовой, перед ней я увидел знакомый ЗИЛ. Еще раньше на него обратил внимание Андрей и сказал:

– Парень, не твой родич ли ездит на этой машине? – Андрей запомнил мой рассказ о дяде Ходже.

– Точно, его машина! – обрадовался я.

И тут дядя Ходжа вышел из столовой. Видимо, он по своей привычке пил там пиво.

– Ого! – воскликнул он. – Будь оно неладно, родич! – оглядев Песена с Андреем, он опять перевел взгляд на меня. – Ты как здесь?

– Иду, вот, домой, – ответил я.

– Хорошо, если так, а не уезжаешь, опять не повидавшись со мной, – он широко улыбнулся.

– Я помню, что у тебя в кузове веревка, – улыбнулся и я.

– Да, есть. С такими, как вы, иначе нельзя. – Теперь он внимательно посмотрел на Андрея. – А этого парня я как будто где-то встречал...

– Нет, ты его не мог видеть. Я потом объясню...

– Ну, хорошо. Закиньте-ка ваш багаж в кузов.

– У нас ничего только то, что в руках.

У каждого у нас был только чемоданчик «дипломат».

– Я понимаю, – сказал дядя Ходжа, – вы же не из Баку приехали, продав на базаре капусту. Советские студенты... Залезайте. Двое в кабину, один в кузов. Кому куда, решай сам, родич.

Я настоял, чтобы в кабину сели Песен и Андрей, гости, а сам собрался залезть в кузов ЗИЛа, как дядя Ходжа спросил:

– Твои гости знают наш язык?

– Один знает, другой – чуть-чуть. Но он тоже хочет выучить...

С ним что-то происходило, он изменился в лице, стал серьезен, точно искал нужные слова.

– Ты хочешь о чем-то спросить, дядя Ходжа?

– Парень, тот голубоглазый парень, твой друг... Мне кажется, я его видел...

– Он сын нашего односельчанина Ясаба и Ширинат. Его зовут Андрей.

– Так бы и сказал, будь оно неладно! А я все думаю: где я его видел? Вылитый Ясаб, точно из его носа выпал[1]! Я слышал, что ты нашел его... Правильно сделал, что привез его... А ну, так не пойдет. Залезай в кузов, я сейчас, – он вернулся в столовую.

[1] *Точно из его носа выпал* – оборот речи в лезгинском языке, используемый, когда выражают внешнюю схожесть одного человека с другим.

Я поднялся в кузов грузовика.

Там, кроме собранной в узел толстой веревки, оказалось сено, уложенное на дно (это была доля для своей скотины от колхозного сена, которое дядя Ходжа возил с горных лугов).

Мой родич, любитель привечать гостей, появился из столовой с большой канистрой и объемистой сумкой, в которой позвякивали бутылки.

– Это я возьму к себе в кабину, для безопасности, – сказал он, осторожно приподняв сумку. – А вот позаботиться об этом я доверяю тебе. Тут пиво. – Он подал мне канистру. – Поставь ее у борта и придерживай ногой, чтобы не упала... Таких дорогих гостей нельзя упускать. Тебя упустишь, потом только издали увидишь, как в прошлый раз...

Положив сумку в кабину, он пошел заводить свою «прялку» заводным ключом. Но сколько бы он ни крутил, мотор только чихал, точно не желая пробудиться от глубокого сна.

– Ты хочешь, чтобы люди смеялись надо мной, старая прялка? – разозлился дядя Ходжа. – Так тебя и растак, да знаешь, что я с тобой сделаю?..

Поплевав на ладони, он вновь крутанул заводной ключ, но угроза его никак не подействовала, мотор даже не чихнул.

Подняв капот, дядя Ходжа покопался в моторе. Потом захлопнул капот, взял заводной ключ и взглянул на меня:

– Ничем не проймешь эту развалину! И чего ей надо? Прежде чем выпить пива, я залил бензин... – теперь он, обращаясь к грузовику, заговорил ласково: – Десять лет, как мы вместе, чертов сын. Мы стали неотделимы друг от друга. Ты – это я, а я – это ты! Подводя меня, ты подводишь и самого себя. Разве я когда-нибудь плохо обращался с тобой? Никогда! А ты? В чужом селе позоришь меня при дорогих гостях, приехавших издалека. Неприлично ведь!

После такого наставления, дядя Ходжа изо всех сил рванул заводной ключ, и мотор оглушительно заревел и заработал.

Дядя Ходжа полез в кабину...

По высокому берегу Большой реки ЗИЛ, обгоняемый клубами пыли, все выше поднимался по крутизне. Казалось, что он старается изо всех своих сил, и что накинутыми на него невидимыми тросами наш грузовик тянут к себе поднимающиеся со всех сторон вершины – острый пик Ледовой горы, сверкающий под лучами заходящего солнца, громадная стена Красной горы, подобная стене сказочной крепости, беспорядочно выпирающиеся острые скалы-клыки нашей священной Горы. Борта кузова заносило то в одну, то в другую сторону. Я не мог понять, как это старая «прялка», вконец расшатанная, еще может подниматься на альпийские луга и возить оттуда колхозное сено. Наверное, этого не понимал и сам дядя Ходжа...

На повороте к угодьям нашего села машина остановилась.

Дядя Ходжа, Песен и Андрей вышли из кабины.

– «Прялка» перегрелась! – объявил дядя Ходжа. – Дадим бедняге передохнуть. Слезай и ты, разомнись. Покажи гостям наши красоты, – с такими словами дядя Ходжа опять залез под поднятый капот.

Он, видимо, имел в виду мельницу Лахама на берегу Большой реки, внизу под косогором, над которым мы остановились. Мельница расположилась на громадном валуне. Наши сельчане считают, что ей лет двести. Построена она из обтесанных массивных речных камней. Теперь у нас была и электрическая мельница, но некоторые сельчане считали, что на ней помол муки не того вкуса и продолжали молоть зерно на мельнице Лахама.

Но не старая мельница привлекла внимание Андрея с Песеном, они запрокинув головы, рассматривали то Красную гору, то Ледовую гору, то Гору Алпан.

– Красиво как, – проговорил Андрей, – словно в каком-то сказочном мире...

Песен казался задумчивым и печальным, он долго не отводил взгляда от Ледовой горы. Он как будто узнал родную гору, где находилось село его отцов.

– Ты правильно смотришь, – сказал я. На его лице заиграла печальная улыбка.

– Парни, а вы взгляните на нашу достопримечательность, – дядя Ходжа, захлопнув капот, указал рукой вниз. – В ваших столицах вы не увидите ничего подобного. Мельница Лахама, как она есть! Двести лет со дня основания! – По-русски он говорил с акцентом, перевирая слова. – А работает все равно, что кремлевские часы. Построена из речного камня, на яичном растворе. Кладка такая прочная, что не выбьешь ни камня.

– А нельзя спуститься туда и посмотреть на мельницу? – воодушевился Андрей.

– Нет, нельзя, – тут в дяде Ходже заговорил старший. – Туда пойдете в другой раз. Теперь на это нет времени. В первые три дня вы будете делать то, что мы скажем, а потом мы сделаем то, что скажете вы. В машину!

Наш ЗИЛ выехал на луга. Дядя Ходжа возвращался в село не по обычной дороге, а со стороны Улицы при воротах, значит, направлялся не к нашему дому, а к себе. Ясно было, что тут с ним не поспоришь.

Он остановил машину у своего двухэтажного дома.

Когда я слез с кузова, а Песен с Андреем вышли из кабины, дядя Ходжа обратился ко мне:

– Я знаю, что ты хочешь сказать, но прибереги свои слова. Бабушка не обидится, она лучше тебя понимает в нашем родстве... Сегодня ты и твои друзья – мои гости! А потом твое право, поступай, как тебе угодно. Считай, что ты проштрафился: сколько раз приезжал и не навещал меня? А кого мы хотим, те все придут сюда... Посмотри на это умное животное, – он указал на барана, сидевшего в углу двора перед охапкой зеленой травы. – Наши парни его вчера привезли с пастбища. Он

сломал себе ногу, точно знал, что у меня будут дорогие гости.

Во двор вышла жена дяди Ходжи – Зияра, в халате с крупными красными цветами, в белом платке, узлом повязанном на затылке, приветливая голубоглазая, полнотелая женщина с румяными щеками, и с нею два их близнеца, Укай и Гезенти, в одинаковых спортивных синих маечках, но в штанах разного цвета, коричневых и зеленых (видимо, чтобы легче было их различать), как и мать, улыбающиеся. Близнецов я знал еще маленькими, теперь они заметно подросли.

Отец тут же приказал сыновьям:

– Разделайтесь с этим бараном! Готовьте мангал! И поменьше вопросов: что и как? Приготовить шашлык – ваша обязанность. – Потом он повернулся к жене: – Хозяйка, милая, дома все есть?

– Сегодня топила хар[1], хлеб свежий. С родника Латар только что принесла и свежую воду! – улыбаясь и шутя, ответила мужу Зияра.

– Молодец, хозяюшка моя! И я привез сена, самого ароматного, твоей корове с теленком. Завтра закину на стог, – он взглянул на незавершенный стог на дальнем конце двора. – Ну, накрой-ка нам на стол, как это только ты умеешь! Из Москвы гости не к каждому приезжают.

По указанию хозяина, умывшись под рукомойником на нижней террасе, мы поднялись наверх, в комнату для гостей. Я вспомнил, что здесь мне уже приходилось сидеть: встретив меня на улице, дядя Ходжа, сначала меня отругал и осыпал упреками за то, что не навещаю его, потом привел к себе.

В комнате для гостей, как я уже знал, на кровати слоями лежали постельные принадлежности, накрытые шерстяным одеялом. На одном конце кровати возвышалась гора больших перьевых подушек, а на другом – лежали маленькие и плоские, для сидения (такую подушку у нас в селе называют *на́лча*). Я также помню,

[1] *Хар* – печь для выпечки хлеба.

что сундук, занимающий один угол комнаты, входил в приданное Зияры, его из дома невесты в дом жениха тащили я, Айсам и еще несколько ребят из нашего класса.

– Как вам удобно сидеть? – обратился дядя Ходжа к гостям. – За нашим низким лезгинским столом, *экяганом*? Или за обычным городским столом? – он кивнул на большой стол у стены.

– Это решать хозяину, – ответил я. – Как ты считаешь, так пусть и будет.

– Ты прав, – удовлетворенно заметил хозяин. – Но спрашивать все же надо. Так как мы все свои, устроимся за экяганом, который я сам смастерил.

Он вышел на террассу и принес столик на коротких ножках, поставил его посреди комнаты. Потом взял с кровати целую кучу подушечек для сидения и разложил их вокруг столика. Их было больше, чем присутствующих в комнате.

– Кто-то да придет, – бодро заметил при этом дядя Ходжа. – Потом неудобно будет через головы сидящих передавать подушки. Лучше позаботиться о них заранее.

Распахнув оба окна в сад, он вышел.

За окном стояла раскидистая яблоня под тяжестью краснощеких в рябинку яблок. Одна ветка висела прямо над окном, можно было протянуть руку и сорвать яблоко. Вдоль ограды сада росли сливы с созревающими плодами в сизом налете. Внизу, на равнине, и сливы, и яблоки, и прочие фрукты давно уже созрели, здесь же, в горах, они поспевали позже. В дальнем углу сада, подпирая верхушкой небо, гордо возвышалась *карби* – лесная груша. Ее толстым ветвям, казалось, ничего не стоило держать на себе густо облепившие их мелкие и твердокаменные (я это знал) груши, которые поспевали лишь поздней осенью. Зато какие они вкусные, когда поспеют!

– Яда[1], какая тут тишина! – восхищался Андрей, выглядывая в окно. У него была привычка, говоря по-рус-

[1] *Яда* – парень.

ски, использовать лезгинское слово «яда», означающее обращение к парню, мужчине.

– Сразу видно, откуда ты приехал, – сказал Песен. – Мы привыкшие к постоянному шуму машин и электричек.

– Здесь вы разве ничего не слышите? – спросил я, подзадоривая их.

Они прислушались и чуть ли не в один голос воскликнули:

– Слышим! Но что это за звук?

– Это шумит наша Большая река, – пояснил я. – Ее шум означает, что жизнь продолжается. Шум Большой реки никогда не надоедает!

В комнату вошла Зияра с подносом, на котором стояли стаканы с налитым чаем, сахарница, блюдо с медом, блюдечки и чайные ложки.

– Почему вы стоите? Присаживайтесь! – сказала она. – Вы после дороги, уставшие. Садитесь же, садитесь. Пока выпейте чаю.

Расставив принесенное на столике, она ушла и вернулась, неся на подносе хлеб, брынзу, домашнее масло вместе со столовыми приборами.

– Перекусите, пока поспеют мясные блюда, – сказала она.

В это время появился и дядя Ходжа, он переоделся в белую рубашку и в брюки от костюма, успел даже побриться. В одной руке он нес чашу с яблоками, а в другой пучки зеленого лука и кинзы.

– Смотрите, так я наряжаюсь только на свадьбу, – жестом руки сверху вниз он показал на себя. Своими словами дядя Ходжа давал нам понять, что приезд таких гостей, как мы, для него такое же важное событие, как и свадьба. – Ну-ка, не стесняйтесь, закусывайте. Сейчас принесу, чем промочить и горло.

– Сядь и ты, я сама принесу, – сказала Зияра.

– Ты принесешь то, что для обычных гостей. А эти гости редкие, для них предназначено особенное.

Он принес уже знакомую нам сумку с бутылки водки «Экстра». Одну из них он водрузил на середину стола, а сумку с остальными (наверное, их было не менее полдюжины) задвинул под кровать. Я знал: как только опустеет бутылка на столе, он заменит ее другой из-под кровати.

– Эту водку любят начальники. Но кто осмелится сказать, что мы хуже их? Покажите мне такого! Я с ним поговорю!.. Так промочим горло, а то я вижу, у вас аппетит никак не разыграется. – Он открыл бутылку, взглянул на стол и недовольно покачал головой, после чего крикнул в оставленную открытой дверь: – Женщина, а где же рюмки?

Зияра поспешно принесла маленький поднос с поставленными на нем верх дном рюмками.

– С ними не следует медлить, милая хозяйка! Ну иди, приготовь хинкал с вяленым мясом. Там, кажется, оставался хороший кусок седловины, его и положи. Вот что молодые люди в столице не попробуют.

– Я поняла, милый муж! Ты займись своим делом! – сказала Зияра, улыбаясь.

Дядя Ходжа наполнила четыре рюмки.

– Прежде всего: с приездом вас, дорогие гости! – открыл застолье хозяин. – Ваш приезд, как у нас принято говорить, подобно восходу солнца! Все вы люди нашей долины, а потому я знаю, вы меня правильно поймете. Сегодня я хочу быть тамадой в своем доме. Имейте в виду, вы не у чужого. Это и ваш дом. Друзья моего родича – мои кунаки... Но прежде следует закусить. Родич, покажи пример...

Правда, пример показал сам дядя Ходжа: взял четверть плоского домашнего хлеба, намазал маслом, сверху положил брынзу, сложил пополам и поднес ко рту, снизу держа ладонь левой руки, чтобы не упали крошки брынзы...

Горный воздух, лезгинский стол, за которым редко оказываешься (а мои друзья так ели впервые) пробуди-

ли во мне аппетит. И хлеб, и масло, и брынза хотя были самыми обычными, казались необыкновенно вкусными. Каждый раз, приезжая в село, вкус домашней еды я ощущал по-новому, он как будто вливал в меня свежие силы. Так же было и теперь.

Даже вкус чая здесь мне казался другим, чем в Москве, хотя и там, и тут пили обычный грузинский чай (впрочем, в Москве выпадала возможность купить и индийский чай). В селе чаю особый вкус, без сомнения, придавала вода горных родников...

– Вот теперь поднимите! – дядя Ходжа взял рюмку, когда мы, запивая чаем, съели по куску хлеба с маслом и брынзой. – Еще раз: с приездом вас! Здравствовать вам, здоровья вашим ногам, что привели вас в мой дом!

– В твой дом нас привезли колеса твоей машины, – не удержался я.

– Не ломаться и колесам моей машины, в которую вы сели, дорогие мои! Когда бы вы ни приехали, двери этого дома всегда открыты для вас. Ваше здоровье! – дядя Ходжа выпил свою рюмку. – О, ну разве не молоко джейрана?!

Последние его слова нас рассмешили; мы тоже выпили...

– Узнает, что ты приехал, и Балак появится, – сказал дядя Ходжа.

– Откуда он узнает, что я приехал? – удивился я. – Мы же приехали по Улице при воротах, едва ли кто нас видел.

– Теперь Балак раньше всех узнает, кто в село приехал, а кто уехал.

– Как так? – опять не понял я, и Песен с Андреем вопросительно уставились на хозяина.

– Айсам привез ему из Афганистана трофейный американский бинокль... Айсам – сын Балака, – пояснил он двум другим гостям. – Служил в Афганистане, теперь учится в военном училище в Узбекистане... Так вот, Балак со своей террасы всю округу осматривает в

американский бинокль. И видит все, где что происходит.

Я знал, что Айсама после школы призвали в армию. Полгода он служил в Туркмении, в городе Теджен, где прошел учебку. Оттуда его отправили в Афганистан, о чем родные не знали, пока он не вернулся. Айсам не любил писать письма, мне он написал всего три раза. Одно письмо – из Теджена, другое – из Афганистана и третье – когда поступил в военное училище в городке Чирчик, недалеко от Ташкента. А перед тем он всего на несколько дней приехал в село, тогда и подарил отцу бинокль. Все радовались тому, что из Афганистана он вернулся живым и невредимым. А стать офицером было непреходящим желанием как самого Айсама, так и его отца...

Все же первой к нам пришла моя бабушка.

– Вуа, дитя мое! – воскликнула она, еще не здороваясь, как только вошла в дверь, в знак своего удивления и недовольства прижав палец к губам. – Разве так делают?.. Если бы Балак не сказал, я бы и не знала...

Я ее понял так: «Почему ты вместе с гостями сначала не приехал к себе, а оказался здесь?»

Понял бабушку и дядя Ходжа.

– Он правильно сделал, что оказался здесь! – сказал он. – Что твой дом, что мой – какая разница? Мы же не чужие! Здесь тоже его дом. Ты сегодня уведешь их, а завтра прогонишь.

– Никуда я их не прогоню, – отвечала бабушка, принимая шутку дяди Ходжи. – Я им на ладони буду хлеб печь!

– Знаю я, знаю, милая мать! – умилился дядя Ходжа. – Ну поздоровайся со своим внуком. Не налить ли и тебе штрафные сто граммов?

Бабушка, уже не слушая ее, осыпала поцелуями мои руки, потом повисла на мне, обхватив мою шею своими высохшими – одни кожа и кости – руками. Я наклонился, обнимая ее. Она беззвучно плакала (слезы

у нее давно иссякли), мои руки чувствовали, как рыдания сотрясают ее всю. Для нее, потерявшей брата на войне, а два года назад и дочь, мою еще молодую маму, я оставался единственным утешением, и она боялась, что внук, оказавшийся далеко, не вернется и дом ее опустеет...

Бабушка быстро взяла себя в руки, отпустив меня, как будто присутствующие здесь ничего не заметили, с обычным своим достоинством, взглянув на гостей, голосом, в котором прозвучали мужские нотки, сказала:

– Познакомь же меня с твоими товарищами!

– Это Песен, а это – Андрей, – я представил ей друзей. – О них я писал тебе в письме.

– Ваш приход – солнца восход, дети мои! – произнесла она обычное, обнимая, как родных, сначала Песена, потом Андрея. Потом, глядя на Андрея, она сказала: – Да буду я жертвой Всевышнего! Даже мои слепые глаза видят, что он вылитый свой отец... Судьбы людские, дети мои. Было дело, да прошло... Упокой Всевышний души ушедших, и пусть детям будет дано то лучшее, чего не было дано усопшим. Светлых дней и счастья вам! Продолжайте ваши беседы, – она пошла к дверям.

Меня обрадовало, что она окончательно овладела собой.

– Но куда же ты? – воскликнул дядя Ходжа. – Тамада никому не позволял уходить.

– Ты ведь знаешь, что я больше не пью, Ходжа, – пошутила бабушка.

– Мы нальем тебе чаю! – пообещал тамада.

– Чай мы будем пить с невесткой Зиярой. У вас ваше, мужское, застолье, – бабушка вышла.

– А их я сегодня не отпущу! – крикнул вслед ей дядя Ходжа.

– А без них я не уйду! – ответила бабушка снаружи.

Они, бабушка и дядя Ходжа, друг друга хорошо понимали...

И тут в дверях возник дядя Балак. Мы встали. Он, не успев поздороваться, обернувшись, сказал бабушке:

– Я не думал, что ты успеешь сюда раньше меня. А еще говоришь: состарилась... Ноги у тебя крылатые!

Бабушка ему что-то ответила, но мы ее не расслышали.

Дядя Балак, вперив в меня строгий взгляд, сказал:

– А тебе большой выговор: ты, зная, что Айсам в Афганистане, мне не сообщил.

– То была просьба самого Айсама. Я обещал... Прошу прошения, дорогой дядя, иначе не мог...

– Об этом еще поговорим дома у нас. Что было, то осталось в прошлом... – Неожиданная улыбка осветила его лицо. – Этой ночью не пойдешь ловить куриного вора?

– А есть воры? Если есть, то пойду!

Один, который есть, вернулся. Но об этом – тоже потом. – Крепко обняв своими сильными руками, он приподнял и опустил меня. Потом подал руку Песену: – Я дядя Балак, отец его друга.

– Айсама, – уточнил Песен.

– Да, да! – дядя Балак весело взглянул на меня, довольный тем, что о нем наслышаны в Москве.

– А меня зовут Песен... Но почему ты пришел без барабана?

– Вот так... тут ты прав! – поддержал его дядя Ходжа. – К веселому застолью мастер должен прийти с инструментом!

– Инструмент, как я скажу, сам появится здесь, не тужи... Но сначала дай мне поздороваться с племянником.

Подав Андрею руку, он замер, смотря ему в глаза. Андрей также стоял, не двигаясь и не отпуская его руку.

– Я Андрей, по-лезгински меня можно назвать Эндиром, – сказал он, улыбаясь. – Сын Ширинат.

– Вот как?! – вырвалось у дяди Балака. Он вновь помолчал, после чего крепко обнял Андрея. – Я рад твоему приезду, милый, сынок, – последнее слово он произнес по-русски, но без тени шутки, конечно же, вы-

ражая уважение и к его матери, и к языку предков. – В отца пошел! Как ни смотри... А он был мужчиной! И ты, приехав на родину, по-мужски поступил! Хвалю, сынок! – Тут он перешел на русский: – А ты говоришь по- лезгински?

– Тимил-шимил чида, хавурда аказва[1].

– Сын своего отца! – дядя Балак удовлетворенно хлопнул Андрея по спине.

Хозяин обратно усадил гостей.

– Они с дороги, пусть поедят, – сказал он. – И пусть потом зазвучит твой барабан. (Можно было понять: свое ты потом скажешь.)

Дядя Ходжа крикнул, выглянув за дверь:

– Жена! Где же обещанный хинкал? И шашлыками только пахнет, а их не видно. Скорее там!

Он уселся на свое место, разлил водку, подавая рюмку дяде Балаку, сказал:

– Сначала выпей штрафную!

– За что мне штрафную? – дядя Балак взглянул на нас, ожидая поддержки.

Но мы все трое молчали: они и старшие, и свои люди, нам не пристало вмешиваться.

– Штрафную за то, что опоздал... и про барабан забыл. Из-за своего бинокля ты про все забываешь.

– Все, все, больше не говори! Принимаю штрафную, – поспешил дядя Балак. – Если он заведется, не остановишь. И веревками повяжет, и на дереве повесит, если не сделают, как он хочет, – он опрокинул рюмку.

Дядя Балак ее вновь наполнил.

– Теперь можешь сказать и тост. Говори тост! Можешь не вставать, низко сидим, неудобно.

– Выпитое еще не дошло. Какой тут тост?

– Играть на барабане можешь, тайком читать книги Сталина тоже. А сказать тост...

– Сталина оставь в покое! – с величественным выражением на лице, строго сказал дядя Балак. – Его книги

[1] Перевод: Мало-помалу знаю, понимаю.

я читал, когда они ценились. И мой барабан почитай! Разве не мой барабан гремел в твоем дворе, когда сюда привели Зиярат? Что за свадьба была бы без моего барабана?

– Ну хватит, хватит. Вижу, выпитое дошло. Теперь скажи и тост.

– У меня тост вот какой. За молодых, которые, хотя живут в далекой столице, и нас не забывают, и которыми мы здесь гордимся! Пусть исполнятся ваши желания! Пусть каждый ваш шаг будет таким, чтобы им можно было гордиться! Будьте здоровы, сыновья!

Дядя Балак взглянул на дядю Ходжу.

– Всё? – спросил тамада по-русски.

– Ну, тост я сказал. Что же еще?

– Ты забыл главное.

– Что я забыл?

– Свой девиз: ни шагу назад! Без него твой тост не тост.

– Ни шагу назад! – гаркнул дядя Балак и в мгновение ока опустошил свою рюмку.

Остальные последовали его примеру.

В комнату вошла Зияра с большим подносом хинкала. Укай и Гезенти подали матери в дверь чашу с кусками отваренного вяленого мяса, миску с приправой, кефиром с толченым чесноком, тарелки и вилки, солонку и перечницу, салфетки. Зияра все это расставила на столе, поставив поднос с хинкалом на середину, с двух сторон мясо и приправу, приборы перед каждым из сидевших.

– Парни! – крикнул дядя Ходжа в дверь сыновьям. – Как там у вас? Баран не сбежал, несмотря на сломанную ногу? Шашлык будет?

– Поспевает, поспевает! – ответили ему из-за двери.

– Без шашлыка я вас сюда не пущу! – пригрозил отец.

Когда Зияра выходила, он спросил:

– Как там наша бабушка? Смотри, чтобы она осталась довольной! Ее внук учится в Москве!

– Она довольна, ей хорошо! – Зияра, смеясь, закрыла за собой дверь.

От подноса с хинкалом и чаши с мясом поднимался пар. Запахи мяса и подливы возбуждали аппетит.

– Положите каждый себе, смелее! – взяв поднос с хинкалом, дядя Ходжа приблизил его сначала к дяде Балаку, как старшему, потом к каждому из нас. Потом, беря ложкой, каждому на край тарелки положил и по куску мяса. – Я вам показываю, как надо делать, а продолжайте сами. Ешьте и пейте, получайте удовольствие, дорогие гости!

– Ни шагу назад! – присовокупил к его словам дядя Балак.

Уговаривать никого не пришлось...

– Старший брат, дорогой, – сделав передышку, дав гостям насладиться хинкалом, – сказал дядя Ходжа, – ты ведь знал, что тут будет застолье. А пришел без барабана. Почему ты, когда шел сюда, не привел и учителя Ингара? Он бы нам спел. Давно я не слышал его песен.

– Когда я шел сюда, учитель меня видел. Он был на верхней улице, во дворе у своей матери.

– Если бы ты нес барабан, он бы догадался, куда ты направляешься. Иначе как он узнает?

– Он все вычисляет по своим физическим законам... Он придет. Но где барабан, там потребуется и зурна...

Кто мог ожидать, что Песен, малоразговорчивый, но всегда имеющий, что сказать, неизменно доброжелательный, по-своему направит наше застолье? Он вынул из своего «дипломата» зурну! Мы с Андреем даже не знали, что он взял ее с собой, ему этого никто не советовал. Как я думал потом, многое у него накопилось в сердце, и он в напевах зурны решил излить все это здесь, в родных горах, иначе не мог...

– Ого! – удивился дядя Ходжа. – Им, оказывается, не нужны другие музыканты! Он шутит или и вправду играет на зурне? – обратился он ко мне.

– Сам увидишь, – коротко ответил я.

Дядя Балак молчал, хитро сузив глаза, словно говоря: ну, на что ты способен?..

Песен вставил мундштук в верхний конец зурны, потом плеснул в ее раструб из своего стакана недопитым чаем. От него я уже знал, что если перед игрой не дать зурне «напиться», она зазвучит фальшиво.

– По обращению с инструментом – мастер, – проговорил дядя Балак.

Песен заиграл...

Наверное, он, прикрыв глаза, весь отдавшись мотиву, воспарил над родными горами, и душа его говорила с душами отца и матери, которых он не знал. Об этом я подумал, заметив, как из угла правого глаза скатилась слеза. Андрей, откинувшись назад, не мигая, смотрел в потолок, точно сквозь него он видел далекое синее небо...

И дядя Балак, и дядя Ходжа, в восхищении только покачивали головами.

– Это «Одинокий луг»! – сказал дядя Балак на ухо дяде Ходже.

Тот его не понял, пожал плечами и приложил палец к губам: мол, молчи...

На звук зурны в комнату вошли Зияра и Укай с Гезенти. Они слушали, стоя у двери, удивляясь, что гость, приехавший из Москвы, играет на лезгинской зурне. Не было только бабушки, но я знал, что на звук зурны она не появится.

Мелодия, впервые услышанная мной в Москве, здесь, в родном селе, звучала по-новому, и сильнее брала за душу. В груди у меня точно проносились вихри, на глазах наворачивались слезы. И я видел, как у самого Песена по обеим щекам текли слезы...

Закончив, он положил зурну на подоконник.

В комнате наступила тишина, никто не произносил ни слова. Потерянно молчал и дядя Ходжа, который, выпив, никогда не лез за словом в карман. Видимо, забыл, что он сегодня тамада в своем доме. Но вдруг он встал, подав руку, поднял Песена и обнял его.

– Будь оно проклято! И откуда ты такой взялся? Ты и мужчин заставишь плакать...

– Спасибо на добром слове, – промолвил Песен. – Это не мы, мужчины, плачем. Плачет то, что у нас в крови, далекое и родное, утерянное, но неизбывное...

– Глаза-то наши, – сказал дядя Ходжа. – Нет слов! – Он опять повернулся ко мне: – Хвала тебе, дорогой родич, что привез в мой дом такого гостя! Теперь ты значишь для меня нечто большее, чем просто младший родич.

Потом он обратился к дяде Балаку:

– Что скажешь, почтенный мастер? И что за луг ты вспомнил? Не траву ли косить тебя потянуло?

– Эта мелодия называется «Одинокий луг». Наш канатоходец Джебес под нее начинал свои выступления, говорил, что она подобна некоей молитве из старых времен... Очень старая мелодия, в наших селах почти не осталось музыкантов, которые знают ее. Вот в селе Тагар, говорят, был один мастер... Он безвременно погиб. Его звали Уткемом...

– Это мой отец... – проговорил Песен с печалью в глазах, но и довольный тем, что на родине помнят его отца.

– Вот как! – радостно воскликнул дядя Балак. – Я один раз слышал, когда он исполнял эту мелодию. Великий был зурнач! А ты сын своего отца, спасибо, дорогой! Царствие небесное твоему отцу, тебе – всех земных благ. У всех уходят родители, сыновья же должны продолжать жить...

В это время Зияра с близнецами, которые продолжали стоять в дверях, посторонились: в комнату вошел еще один гость.

С шашлыком на шампурах, источающим душистый дымок появился учитель Ингар.

– Парни, – обратился он к близнецам, не поздоровавшись, – слушаете зурну и забыли про шашлыки на мангале. Заглянул в комнату, где пекут хлеб, а там в углу бабушка спит на овчине. Что здесь происходит?

– Я же сказал, он сам придет! – развеселился дядя Балак.

Зияра с сыновьями поспешно ушла, как выразился дядя Ходжа, на свои посты.

– Я же говорил, он все вычисляет по своим физическим законам! – продолжал дядя Балак.

– Не будь моих физических законов, ваши шашлыки совсем сгорели бы! – учитель Ингар положил их на хлеб. И обратился к дяде Балаку: – В таком случае разве трудно сказать: приехали такие-то, я иду к ним туда-то? Испугался, что тебе мало достанется?

– Я знал, что ты и так угадаешь, не промахнешься. Тут нечего долго говорить. Садись!

– Да, видел я, что ты направился к Улице при воротах. И бабушка моего ученика туда же пошла... А здесь зурна запела...

Учитель Ингар обнял меня, при этом я почувствовал что-то твердое во внутренних нагрудных карманах его пиджака. Он сжал и потряс мою руку. Потом взглянул на моего друга и спросил:

– Андрей?

– Да, Андрей, – ответил тот.

– Значит, Андрей! – он крепко обнял его и назвал себя. – Я рад, что ты приехал. Не выразишь словами, как рад... Я покажу тебе фотографию, где сняты мы с другом в твоем возрасте. И ты все поймешь...

Учитель Ингар познакомился и с Песеном, с которым тоже обнялся.

Потом он оглядел всех, находящихся в комнате, взгляд его задержался на зурне, которая лежала на подоконнике. Ему как будто кого-то не хватало.

– Не видишь здесь зурнача? – спросил его дядя Балак. – Так вот же он, наш Песен.

– Прислали из Москвы, чтобы учить наших игре на зурне, – добавил дядя Ходжа.

– Нам не нужны мастера из столицы. А видно, что он наш. Я слушал. Хвала! Это была любимая мелодия нашего Джебеса, когда он еще ходил по канату.

Все уже разместились за столом. Дядя Ходжа подал учителю полную рюмку:

– Держи! Но это не штрафная, за то, что спас наши шашлыки.

– Коньяка нет? – спросил учитель Ингар.

Он никогда не отказывался от водки, но, видимо, учитель намекал хозяину, что на этот раз застолье получается особенное, тут должен быть и коньяк.

– Еще есть пиво, – сказал дядя Ходжа, который понял его и посчитал вопрос неуместным.

– Я же не механизатор, чтобы пить пиво!

– Так пришел бы с коньяком! Что, ученики перестали привозить тебе коньяк? Пей то, что предлагают, иначе я тебя оштрафую! Ты интеллигент, учитель, да, но меня ты не учил! И почему ты вступаешь в пререкания с тамадой? – в голосе дяди Ходжа прозвучали властные нотки.

Андрей с Песеном поглядывали на меня. Я им дал понять, что нет причины для беспокойства, все обойдется.

– Они так шутят, – сказал и дядя Балак.

А учитель Ингар вынул из своих нагрудных карманов две плоские бутылки коньяка.

– Вот, налей это! – приказал он тамаде.

Мне показалось, что он хочет на себя взять роль тамады.

Но дядя Ходжа был не из тех, кто уступил бы эту роль за две бутылки коньяка.

– Сначала выпей, что тебе налито, а потом мы примемся за принесенное тобой! – твердо заявил он. – Ты, наверное, собираешься петь индийские песни.

Учитель Ингар неуловимым движением опрокинул рюмку себе в рот.

– Вот как! Не говоря ни слова? Разве так можно? – неодобрительно заметил дядя Балак.

– Он правильно сделал, – решил тамада. – Слова мы ему еще не дали. А для тоста мы ему нальем из того, что он принес.

Но когда дядя Ходжа собрался открыть бутылку коньяка, учитель Ингар остановил его:

– Оставь на утро, чтобы лечить головы. И мне наливай то же, что и вы пьете.

– В таком случае, что за представление ты тут устроил? Пошел бы и без лищних разговоров поставил свои плоские флаконы вон на то окно, – подколол его дядя Балак.

– Хватит, оставьте в покое моего гостя! – сказал дядя Ходжа, вновь наполнив рюмку учителя Ингара. – А принесенное им пусть тоже останется на столе, нечего убирать их подальше. И за них скажем ему спасибо. – Он обратился к учителю. – Благоденствовать тебе, дорогой учитель! Скажи теперь тост. Можешь говорить долго.

Я не думаю, что дядя Ходжа действительно хотел, чтобы он говорил долго, совсем наоборот, он намекал учителю, любящему произносить длинные тосты, что не стоит следовать своей вредной привычке. Однако учитель Ингар, хотя и понял тамаду, был из тех, кто всегда поступает по-своему.

Он встал, по выражению его лица было видно, что он отнюдь не собирается шутить. Я только теперь заметил, что с моей школьной поры в волосах его прибавилось седины, а на лбу появились морщины. Но глаза сохранили молодой и острый блеск... Мой учитель, великий жизнелюб, не стареющий духовно, готовый, при случае, спеть, пуститься в орлиный танец, шутник и острослов... Правда, наши люди не всегда принимали длинные тосты моего учителя, не понимали, когда он впадал в лирическое настроение, окрашенное «светлой грустью»...

– Мы сидим низко, – дал ему понять тамада, – и договорились произносить тосты сидя.

– Нет! – сказал учитель Ингар. – Мой тост нельзя говорить сидя! – Он глубоко вдохнул, потом выдохнул, посмотрел в окно. Затем, задумавшись с закрытыми глазами, помолчал, точно разбираясь в том, что у него

происходило в мыслях и в сердце. Потом он прочитал четверостишие, которое наизусть знало все село, – наверное, для Андрея с Песеном.

– Дорогой Ходжа! – продолжил учитель Ингар. – Мой младший брат и тамада на этом прекрасном застолье! (Тут дядя Ходжа тоже встал.) Радости и благополучия твоему дому! Спасибо тебе за то, что привез в село таких дорогих гостей. – Левой рукой он указал на гостей, тут мы трое тоже встали, а он обратился к дяде Балаку, которому тоже пришлось встать: – Дорогой старший брат, раньше всех узнавший о дорогих гостях – нет же, не гости они, они все трое наши, сыновья наши! – и поспешивший сюда приветствовать их! И тебе спасибо! – Тут учитель, поглядев на гостей, опять помолчал, потом обратил свой взор в открытое окно.

Я про себя думал: учитель обычно читает свои четверостишие, уже достаточно напившись, в должном настроении, а тут ему пришлось их вспомнить потому, что он оказался неготовым произнести тост. Первой рюмки, налитой тамадой, конечно же, было недостаточно, чтобы пробудить в нем вдохновение... Кроме того, хотя за столом людей сидело мало, учитель ставил его, этот стол, высоко, и он не мог позволить говорить здесь обычными словами. А вот другие не находились... Не говоря о гостях, и дядя Ходжа с дядей Балаком сдерживали себя от подстегивающих замечаний в адрес учителя и терпеливо ждали. Наконец учитель заговорил:

– Дорогие сыновья! – обратился он к гостям. – Да, вы для меня как родные дети! Вы сыны этих гор! Рожденные в горах, должны жизнь прожить орлиную. Орел улетает далеко, он меряет выси небес, но потом возвращается к своему гнезду в скале. И вы из рода орлов! Далекая и красивая столица не вскружила вам голову, вы не забыли, что у вас есть своя скала и там гнездо, ваши сердца тянут вас в горы. И пусть эта тяга всегда остается с вами! Это чувство поможет вам оставаться людьми, подвигнет вас к доброму, поведет вас к

новым достижениям. Будьте здоровы с вашим горским духом!

Учитель Ингар, а за ним и остальные выпили.

– Будь здоров, дорогой учитель! – удовлетворенно сказал дядя Ходжа.

– Он не учитель, а кладезь мудрости, – одобрительно добавил дядя Балак и продолжил не без ехидства: – Вот ты тут сказал об орлах, которые прилетели. А знаешь, что на днях вернулся и один коршун. Тоже из твоих учеников...

В груди у меня неприятно заскребло: дядя Балак, конечно же, говорил о Сардаре. Он уже не был прежним сыном председателя сельсовета. Я знал, что отца его перевели в район, теперь он стал сыном второго секретаря райкома партии.

– Не упоминай о нем, – сказал учитель Ингар. – Я знаю. Вчера на киме он начал было обихаживать меня, по-своему, по-лисьи, но я его прогнал, сказав: чтоб глаза мои тебя не видели! Мне даже заметили: «Прости его, ну сделал он глупость в молодости, теперь он другой, учится в Махачкале на юридическом факультете. Да и сын райкомовского начальника...» Я им ответил: «Нет! Можно простить и вора, и прелюбодея, но не предателя! Если человек в молодости предал по глупости, возмужав, он предаст и с умом. Предатель заслуживает только одного: презрения, и его надо вывести из числа людей». На киме со мной согласились. Канатоходец Джебес даже сказал ему: «Уходи, уходи, парень! Тут тебе ничто не поможет».

– Ушел? – спросил дядя Балак. – Лицо у него твердокаменное, у кабаньего сына. Я могу понять: ведь он внук того самого Велихана, который посадил моего отца за несколько колосков, подобранных на убранном поле...

– Да, ушел. Скрипнув зубами, что-то бормоча.

– Сегодня он поехал в район, – сказал дядя Ходжа. – Отец выслал за ним машину. Будь оно проклято!

Обогнал меня, обдав пылью, ехидно улыбаясь, вместо приветствия.

– Ходят слухи, что его отец собирает молодых активистов, комсомольцев, – сказал дядя Балак. – Значит, и сына к себе вызвал. Видимо, важное будет поручение...

– И у отца поручения бесполезные, и сын не способный ни на какое путное дело, – раздраженно заметил учитель Ингар. – Только и знают, что выставляться да показывать себя, и выгоду везде искать... По словам Джебеса, Сардар пригрозил Шуаю.

– Шуаю? – вырвалось у меня.

– Да, Шуаю. Он приходил к Джебесу за лошадью, чтобы поехать в Дом Вече. Вроде бы, Сардар спросил у Шуая: «Ты до сих пор посещаешь свою пещеру?» А он ответил: «Это не пещера, а гнездо мое». Сардар сказал: «Сегодня-завтра ты лишишься своего гнезда». Шуай поехал на Гору на лошади Джебеса...

Слова учителя Ингара встревожили меня.

А дядя Ходжа вспомнил, что он тамада:

– Как только речь зашла о Сардаре, так застолье наше стало остывать. И шашлыки тоже. У нас есть о чем говорить, друзья мои! – он, не медля, наполнил рюмки. – Эти выпьем, чтобы вернуть аппетит, без тостов. Пусть звучит зурна Песена, это лучше любых разговоров.

Предложение было принято и исполнено. И застолье продолжалось: весело, с шутками, с мудрыми высказываниями.

Песен играл на зурне.

Учитель Ингар пел и лезгинские народные песни, и русские, и что-то индийское. Пришли послушать зурну и песни жена и сыновья дяди Ходжи.

Много ели, много пили, много говорили. И никто не чувствовал себя утомленным, никого не тянуло ко сну. Возможно, застолье продолжалось бы до утренней зорьки, до восхода солнца, если бы в один момент в открывшейся двери не возникла моя бабушка, о которой все забыли. Увидев ее, мы разом замолчали, каждый (и

я в первую очередь) почувствовал себя неловко за то, что про нее забыли. Она же, с мягким упреком в голосе, сказала:

– Вуа, милые, дети мои, вы засиделись. На улице давно ночь. Если хозяева щедры, самим надо знать меру. Сели, как положено, и встали так же! Балак, поднимай их, ты же старший!

– Сама выспалась, теперь нам приказывает... – сказал дядя Ходжа. – Я предлагал тебе сесть с нами? Если бы села, тоже не захотела бы вставать. – Он серьезно добавил: – Для всех, кто здесь сидит, этот дом не чужой!

Мужа поддержала жена:

– Милая мать, мы не из тех, кого могут утомить гости!

– Уже поздно, милая невестка, пора. И гости после долгой дороги...

– Мать права, – поддержал ее, вставая, дядя Балак. – Встаем, парни! Он посмотрел на нас: – Не забывайте, что есть еще дома, где вас примут с большим уважением.

Мы все трое встали.

– Я собирался что-то сказать Андрею, – вспомнил учитель Ингар. – Ничего, скажу по дороге.

– Милая мать! – обратился дядя Ходжа к бабушке. – Ты боишься, что я украду твоего внука? Почему ему не остаться на одну ночь здесь? Как же ты терпишь годами, когда он в Москве? Ты думаешь, что он там ест сладко, спит на перинах?

– Если бы даже он там и спал на перинах, мое сердце все равно не знало бы покоя, сынок! Что я могу поделать со своим сердцем?..

– Бедное твое сердце... – дядя Ходжа ласково приобнял бабушку. – Ну забирай своего внука, успокой свое сердце, – свободной рукой он подвел меня к бабушке, вложил мою руку в ее руку, и обнял нас обоих.

– Здоровья тебе и благоденствия твоей семье, милый Ходжа! – сказала бабушка. – Да пребудет благодать

в доме твоем! Рая твоим умершим, счастья тем, кто придет! Сыновья твои да населят по городу!.. – в другом случае поток благопожеланий бабушки иссяк бы не так скоро, но тут она спешила увести нас.

Хозяева всей семьей проводили нас за ворота. Не дав особенно разлиться своему красноречию, мы расстались, напоследок пожав руки и обняв дядю Ходжу и его сыновей.

– Эти ворота для вас всегда открыты! – еще раз услышали мы. – Я знал одного, который избегал меня. Теперь, надеюсь, он будет умнее.

– Да, будет! – подтвердил я.

Село погрузилось в сон. Но на многих террасах горел свет.

Полная луна остановилась над Горой, словно дожидаясь, пока мы разойдемся по домам.

– Какая луна громадная, и звезды крупные, – сказал Андрей. – Впервые вижу их такими.

Дядя Балак с Песеном шли впереди, по долетающим до нас словам мы понимали, что у них разговор шел о старинных мелодиях и разных тонкостях их исполнения. За ними шли мы с бабушкой. Под наш шаг подстаивались идущие впереди, иногда останавливаясь, дожидаясь нас.

Правой рукой я осторожно, чтобы ей не было тяжело, придерживал бабушку за плечо, а левой – держал дипломат. Бабушка молчала. Со мной у нее разговоры были не те, как она сама говорила, что заводят на улице. Скажешь на улице, в одно ухо вошло, в другое вылетело. А слова бабушки для меня всегда были особенными, и она говорила, чтобы у меня что-то отложилось в голове и вошло в сердце. Но хотя мы шли молча, я чувствовал, что наши сердца без слов говорят друг с другом...

Учитель Ингар с Андреем следовали за нами. Андрей не переставал восхищаться летней ночью, спящим селом, что, видимо, трогало учителя. Они гово-

рили по-русски, и я их хорошо слышал. Андрей, вдруг прекратив свои излияния, спросил:

– Ингар муаллим (он так и сказал, по-лезгински), вы собирались мне что-то сказать.

– Да... Не тебе мне надо сказать, а твоей матери. Как поедешь в Москву, передашь Арине Федоровне. Обещаешь?

– Обещаю, – ответил Андрей.

– Смотри вон туда: видишь обвалившийся дом на горке? Это дом твоего отца. А рядом, одноэтажный, наш дом, там сейчас живет моя мать. Одна. Не хочет переходить ко мне в новый дом. Говорит, что мой отец, не вернувшийся с войны, наказала ей охранять дом. Ну что тут поделаешь? Не могу я ее уговорить покинуть старый дом... Я вырос в том доме. По соседству с вами. Мы с твоим покойным отцом учились в одном классе. В год приезда твоей матери в наше село в качестве учительницы я тоже окончил университет и вернулся домой и стал вшколе преподавать. И я сразу влюбился в нее. Да, серьезно! Все собирался открыть ей свое сердце, но так и не решился. Боялся, что она не примет меня всерьез. Я-то сельский парень, а она приехала из города, из столицы. Спустя какое-то время мой друг Ясаб, твой будущий отец, мне по секрету сообщил, что он влюблен в Арину. Я промолчал. А что мне оставалось делать? Если бы я первым дал ему знать о моем чувстве, уверен, так же поступил бы и он. Вот та тайна, которую я решил открыть тебе. Теперь я не боюсь, что о ней узнают. Пусть и твоя мать знает, что среди многих, влюбленных в нее, был и я, не осмелившийся открыть ей свое сердце... Она выбрала твоего отца Ясаба. Красивого, смелого, добропорядочного горца. Про все остальное не может быть, чтобы мать тебе не рассказывала... Жаль, сынок, что ты вырос не на родной земле. Но видно, что мать передала что- то... Я рад, очень рад... Наши люди искренне полюбили ее, приняли как родную. Только вот соперницы ее невзлюбили...

Андрей слушал учителя молча, наверное, он был растерян. И я невольно узнал тайну учителя. Вот почему, думал я, казалось таким странным его поведение за столом, вот отчего трепетало его сердце...

– Как много говорит сегодня Ингар, – сказала бабушка. – О чем это он, сынок?

– Он говорит о своем...

– Говорит и говорит...

– У него своя печаль, бабушка.

– Печаль... Пусть меньше пьет, и не будет печали.

Помолчав, она добавила:

– Женщина несет груз на спине, а мужчина в сердце, сынок...

Дядя Балак и учитель Ингар проводили нас до дома.

– Завтра мы увидимся, – сказал учитель. – Доброй ночи!

– Смотрите у меня, – предостерег нас и дядя Балак. – Вас многие будут зазывать к себе. Но я первый на очереди!.. Впрочем, как хотите. Пусть не завтра, пусть пройдет день-другой, твои друзья немного привыкнут к селу. Так будет лучше.

– И я не последний в очереди! – услышали мы учителя Ингара.

Однако нам не суждено было побывать в гостях ни у того, ни у другого.

Глава 5

Утром меня разбудил громкий голос учителя Ингара, который доносился от нашей террасы в открытое окно.

– До сих пор спят? – спрашивал недовольный учитель у бабушки. – Разве в такое время лежат в постели?

– Тише, Ингар! Пусть дети спят. Их дорога утомила. И легли очень поздно, – бабушка говорила шепотом, намекая ему на вчерашнее застолье.

– Это было вчера и прошло! Но как не обидно проспать такое прекрасное утро?

– Они еще увидят ясные утра. Не кричи! Проходи, налью тебе чаю.

– Спасибо, чай я уже пил... Ну, тогда пусть спят... Я приду позже, когда они встанут, приведут себя в порядок, выпьют чаю.

Я взглянул на часы, они показывали начало десятого. Для сельской местности это было очень поздно. Я удивился самому себе: ведь непривычно так долго спать, а вставать не хочется, тянет еще подремать. И не потому, что вчера выпил и утомился в дороге. Я наслаждался родным воздухом, он заставлял забыть обо всем на свете, вот почему мое тело не насыщалось покоем. Я представлял себе, как бабушка, зная, что я приеду с друзьями, готовилась к нашему приему. Видимо, выпотрошила все матрасы, перебрала шерсть и дала ей полежать на солнце, а простыни и покрывала постирала в воде Мыльного родника и тщательно выгладила. А родник так назывался потому, что нем вещи можно стирать без мыла, и белье, выстиранное в нем, становилось белоснежным. Этот родник был за селом, в поле, конечно же, бабушка в силу своего возраста не могла сама носить оттуда воду, ей помогли молодые соседки. Бабушке, готовящейся к встрече внука с друзьями, никто не мог отказать в просьбе. Она заслужила искреннее уважение сельчан...

Песен с Андреем спали сном младенцев. Песена, как старшего, бабушка уложила на кровать, а нам с Андреем постелила на полу. Мои друзья не слышали разговора учителя с бабушкой. Я решил, что не стоит их будить, а самому неудобно так долго лежать. Я понимал, что учитель Ингар прав. У меня вызывало улыбку то, что учитель, некогда мой классный руководитель, теперь готов быть чуть ли не в «услужении» своего ученика и его друзей.

Я оделся и вышел. От утомленности не осталось и следа, я чувствовал легкость во всем теле, хотя с по-

стели я стал с трудом. Такое чувство возникает только после ночи, проведенной в родном доме...

На террасе на низком столе бабушка уже приготовила завтрак. Вокруг столика она не забыла положить и подушечки для сиденья, а сама, сидя на такой же подушечке у стены, дремала. Конечно же, встала с рассветом, подоила и выгнала корову в стадо, теленка тоже выпустила пастись, приготовила завтрак. Из-под салфетки, наброшенной на столик, пахло теплым, пробуждающим аппетит свежеиспеченным хлебом. Бабушка, несмотря на годы, справлялась по хозяйству. Ее душа не знала покоя, ее неутомимость всегда была для меня примером, я всегда гордился своей бабушкой. Сколько она повидала и перенесла за свою жизнь, в сердце ее на старые горести наслаивались новые, но не было случая, чтобы она склонила голову. Мне никогда не забыть, как твердо она держалась, когда потеряла свою дочь, мою мать, так рано покинувшую этот мир... И теперь я знал, как бабушке больно, что моей матери не суждено было видеть меня, приехавшего из Москвы с друзьями. И сама она знала про эту мою боль. Мы понимали друг друга без слов, что являлось для нас утешением...

– Доброе утро, милая бабушка! – поприветствовал я ее. Хотя утро уже прошло, – я как бы признавал свою вину. – Учитель Ингар ушел?

– Добра и тебе, дитя мое! Ничего, бывает, что надо хорошенько выспаться. Учителю твоему что, его-то долгая дорога не утомила. Походит- походит и придет опять. – В глазах бабушки мелькнула тревога. – Ты знаешь что, сынок? Говорят, Сардар в селе. Не связывайся с ним. Если даже встретитесь, старайся с ним не общаться. Душа у него черная...

– Хорошо, бабушка. Меня давно уже ни на какие разговоры с ним не тянет... Дядя Ходжа вчера говорил, что он уехал в район.

– И то хорошо, – бабушка успокоилась. – Пусть сидит рядом с отцом.

Пока я умывался, встали и гости. Я собирался, позавтракав, повести их к водопаду в урочище Али, излюбленному месту летнего купания сельчан. Но это лишь в том случае, если учитель Ингар, вновь появившись, не изменит наши планы.

С нашей террасы хорошо была видна большая часть села и окружающие его вершины, Большая река, далекие луга и лесочки. Бабушка позвала гостей к столу, а они не могли оторвать восторженного взгляда от красотты, окружающей наше село.

– Так и тянет взмыть в небеса! – восхищался Андрей, а Песен, соглашаясь, покачивал головой.

– Сядем, парни, позавтракаем, – обратился я к друзьям. – А то мы обидим бабушку.

Конечно же, наш скромный завтракне следует сравнивать с застольем, организованным дядей Ходжой, но я знал, что даже в завтрак для внука и его друзей бабушка вложит всю свою любовь, с избытком покажет щедрость хозяйки.

Я думал, что через несколько дней, когда друзья немного привыкнут к селу, по старинному обычаю зарезать черного барана и устроить большой званый обед, пригласив родственников и близких, своих учителей. Бабушке пока я не открывал своего намерения, с нею мы еще не успели поговорить по душам...

Мы сели за стол. Домашнее масло, большие куски брынзы (ясно, что у кого-то купила для гостей, своих овец бабушка уже не держала), вареные яйца (куры у нее были), мед... Мед у бабушки тоже был свой. По запаху я понял, что это вачe-мед[1]. После кончины дедушки бабушка собиралась продать его ульи, опасаясь, что ей не справиться с пчелами. Она говорила мне: «В пчелах, сынок, и сам пророк не разберется. Возиться с ульями –

[1] *Вачe-мед* – самый лучший мед летнего сбора. Лезгинами эта фраза воспринималась как мед, достойный царя Вачe или предназначенный для него. В современном понимании: царственный мед.

дело мужское». И матери некогда было возиться с ними, она постоянно пропадала на работе в колхозе. Бабушка, чтобы узнать, в каком состоянии наши ульи,звала осмотреть их то одного, то другого сельского пасечника, а они шли неохотно. Если же приходили, то настаивали, чтобы она продала им свои ульи, убеждая, что ей с ними не справиться. Их предложения злили бабушку, в конце концов она решила: «Пока я жива, ульи не продам! Как смогу, так и буду справляться с ними сама». И сумела! Она надеялась, что я буду заниматься пчелами, когда я вырасту. Бывало, в летнюю пору из улья вылетит рой пчел и повиснет на ветке в саду. Бабушка, надев на голову шляпу с сеткой, поднималась на дерево, спиливала эту ветку и осторожно относила беспокойно гудящий рой в заранее заготовленный новый улей с пустыми рамами. На зиму ульи переносили в помещение на нижнем этаже, где хранился картофель, и укрывали войлочными накидками, старыми шубами. Говорят, что пчелы впадают в тоску и хиреют, когда умирает хозяин, что, возможно, произошло и с нашими пчелами: ульев у нас становилось все меньше. Дедушка в нашем саду держал до сорока ульев, теперь у бабушки их осталось всего пять...

Бабушка откинула салфетку: мы увидели свежеиспеченные лаваши, а на них *афарар*, пироги с растительной начинкой, хорошо пропитанные маслом. И когда она успела?..

– Ешьте, дети мои, да пойдет еда вам на благо! – сказала она, пожелала приятного аппетита и ушла в комнату: не в ее правилах было сидеть за столом вместе с мужчинами.

К концу нашего завтрака пришел и учитель Ингар. Он был чисто выбрит и одет, как будто собрался в школу. Поздоровавшись с нами за руку, он заговорил как классный руководитель с учениками.

– Вы приехали спать или знакомиться с самым прекрасным уголком мира? – Едва ли он подумал о том,

что мое знакомство с этим прекрасным уголком давнее. – Собирайтесь... Вчера я обещал повести Андрея к месту отцов...

Значит, учитель не был пьян, когда вчера мы возвращались от дяди Ходжи и он изливал Андрею свою душу...

– Присядь же, Ингар! Выпей чаю, закуси, – предложила бабушка, выйдя из комнаты. – Ты не в школу пришел, чтобы командовать, – она припомнила учителю, что мы уже не в школе.

– Чаю выпил, и закусил. Спасибо, благодати этому дому!.. – Он помолчал. – Антер остается моим учеником. Андрей сын моего друга. А Песен их друг. Тут все свои. Есть старшие и младшие. Старший разве не имеет право дать дельный совет, не может научить молодых уму-разуму, милая мать? Молодые спешат, проходят по жизни стремительно, и могут не заметить того, чего нельзя пропустить. Время от времени надо сбавлять их прыть и говорить: «Вот, смотри сюда! Ты должен это увидеть и узнать».

– В этом ты прав, учитель Ингар, – согласилась бабушка. – Словами лучше тебя никто не скажет. Забирай моих детей, веди, куда хочешь. А к обеду приведи обратно.

– Я отвечаю за них, – успокоил ее учитель.

Я понял, что с урочищем Али надо повременить.

Мы вышли в село.

– Что-то не видно дяди Балака, – сказал Андрей, вспомнив нашего соседа, с которым вчера так хорошо посидели у дяди Ходжи.

Я помолчал. А учитель Ингар сказал:

– И его мы увидим. Он утром отправился на пастбище, чтобы пригнать барана. Он не отпустит вас без достойного угощения.

Учитель сначала повел нас на ким нашего квартала. Там сидели несколько пожилых сельчан и вместе с ними старый канатоходец Джебес. Неудивительно, что

на киме не оказалось молодых мужчин, летом у всех прибавилось работы.

Уже все знали о нашем приезде. Без гостей село никогда не оставалось, а летом приезжало особенно много. Так что, появление гостя не было событием, но тут умы сельчан взбудоражило то, что приехал Андрей, сын Ясаба, так похожий на своего отца.

– Он, он!.. Похож!.. В отца пошел!... – одобрительно заговорили на киме.

Я подумал, что они не могли не вспомнить, как убили Ясаба, когда сыну исполнилось сорок дней, и молодую учительницу Арину, которая учила сельских детей, и как она вынуждена была уехать, забрав сына... И, видимо, они не могли не чувствовать и какую-то свою вину, за произошедшее в ту далекую ночь в селе, не оттого ли они вдруг замолчали? Молчал и учитель Ингар. Дядя Джебес, самый старший из сидевших на киме, взял инициативу в свои руки.

– Так рассказывайте, юноши, как живете? Что интересного происходит в мире? – сказал он, наверное, прежде всего обращаясь ко мне. – Мы-то люди сельские, и заботы наши известны: овцы да коровы, поле да пастбище.

Заметив, что в мире ничего особенного не происходит (ага!), я поближе познакомил их с Андрем, студентом, и Песеном, нашим земляком, работающим на заводе.

– Ты правильно сделал, что привез друзей, – сказал дядя Джебес. – О них мне рассказывал Эдгем.

– Он приезжал?

– Два месяца назад приехал, побыл немного и много говорил с Шуаем. Потом еще раз приехал, они с Шуаем все время были вместе. Вместе поднялись и на Гору, в Дом Вачe. Эдгем что-то писал, фотографировал... Там есть сундук со старыми рукописями. Эдгем хотел его увезти, но Шуай его отговорил. И рукописи он сначала не хотел отдавать, но потом все же отдал с условием,

что, изучив, Эдгем привезет их обратно. Шуай ему сказал: «Можешь держать их у себя, сколько понадобится, но потом, если даже меня не будет, верни туда, где взял»... Словом, они с Эдгемом очень сблизились. Эдгем хвалил тебя. Я рад, что вы познакомились. Он рассказал о тебе и Шуаю. Он тоже хочет повидаться с тобой.

– Шуай? – удивился я.

– Да. Он говорит, что у него есть, что тебе сказать. Ждал твоего приезда. Некоторые из старинных рукописей он переписал и хранит дома в бутылках...

– В бутылках?! Почему в бутылках?

– Чтобы мыши не погрызли... Другого сундука у него не оказалось.

– Прежде не собирал бутылки, – сказал кто-то из стариков. – А в последнее время его видели, подбирающим бутылки, но в магазин он их не носил.

– Вчера он почему-то поспешно собрался на Гору, – добавил дядя Джебес. – Взял мою лошадь... Его встревожила встреча с Сардаром. Этот негодник даже пригрозил ему, что скоро не будет Дома Вече... Мне Шуай говорил, что видит нехорошие сны, что у него плохое предчувствие...

Сообщение о том, что Шуай хочет повидаться со мной и удивило и обрадовало меня. Я понимал, что это произошло под влиянием Эдгема. Меня радовало, что Шуай откроет мне какие-то тайны прошлого, я узнаю от него о чем-то неведомом. Но мена не покидала мысль: «Почему Шуай так поспешно отправился на Гору? Что его встревожило? Да что тут происходит?..»

Желая обрадовать дядю Джебеса, я сказал:

– Песен – сын твоего старого друга Уткема.

– Не может быть! – поразился старик. – Неужели это правда? А я думаю, кого он мне напоминает. Ну, иди сюда, я обниму сына друга!

Крепко обняв Песена, он несколько раз хлопнул его по спине своей большой ладонью.

– Великим человеком был твой отец и великим мастером! Упокой Всевышний его душу. Когда с ним слу-

чилось несчастье, я понял, что лишился брата... Хорошо, что ты приехал, сынок. Об остальном поговорим у меня дома.

– Вчера ночью ты разве не слышал звука зурны? – спросил до сих пор молчавший учитель Ингар.

– Слышал.

– А знаешь, кто играл?

– Наверное, Ходжа включал свой магнитофон, – сказал дядя Джебес, зная, что у дяди Ходжи вчера были гости.

– У Ходжи магнитофон давно не работает, – сказал кто-то из сидевших.

– Это сын твоего друга исполнял «Одинокий луг»! – с гордостью сообщил учитель Ингар.

Дядя Джебес, не удивляясь, заметил:

– Сын должен походить на отца... Его способности мы тоже проверим у меня дома.

Значит, нам предстояло еще к дяде Джебесу идти. Он, человек большого сердца, иного не допустит... Я вспомнил, каким видел его в детстве, в нарядном одеянии канатоходца, увешанным трех- и четырехугольными амулетами и оберегами. Было время, как рассказывают, когда канатоходец, поднявшись на канат и стоя в развилке опоры, прежде чем начать представление, читал содержание одного из своих амулетов. Но потом, ссылаясь на районное руководство, ему запретили читать старый религиозный текст амулета. Но ведь канатоходец должен же был какими-то словами предварять свое выступление! Дядя Джебес нашел выход, стал читать куплет из оды народного поэта Тагира Хрюгского, посвященной Сталину, в которой говорилось о вожде, который «подобно яркому солнцу, освещает новый мир». Говорят, что зрители принимали эти слова с большой радостью и, видимо, верили, что имя вождя оберегает канатоходца...

– Парень, – обратился дядя Джебес к учителю Ингару, – а ты почему разгуливаешь в свежей белой рубаш-

ке? Сегодня же не первое сентября. Разве тебе не надо косить? А другие летние заботы?

– Моя забота – гости! – заявил учитель. – Нельзя допустить, чтобы дорогие гости остались без внимания. А косить я еще успею.

– А если не успеешь?

– Ни у кого нет столько учеников, сколько у меня. На один день созову всех, никто не откажется... – Помолчав, он с хитринкой в голосе продолжил: – Я тебя понимаю, старший брат: ты хочешь сам взяться за наших молодых гостей. Да, ты старше меня, как говорится, и годами, и делами, тебя надо слушаться. Но Антер мой ученик! А эти двое его друзья. Для меня они все равно что сыновья. Вот почему я имею право им покровительствовать... Но ты, как старший, всегда имеешь право на свое слово, и мы тебя послушаемся.

– Говорить ты умеешь, в этом с тобой трудно состязаться... Хорошо, идите, займитесь своим делом.

– Я хотел показать Андрею, где жил его отец. Да и домой к Шуаю отвести, тоже ведь не постороннее место. Жаль, что самого Шуая нет.

Ты правильно решил, учитель. К Шуаю сходите, когда он вернется с Горы. Вы же никуда не спешите... – По блеску в глазах старика стало ясно, что он остался доволен учителем.

Мы спустились на Зеленый ток. Там наш квартал разделял с соседним овраг, по глубокому дну которого, протекала резвая речушка Каркун. На ее левом берегу находилась сакля старухи Лизе, которой уже не было в живых. Надо было пройти по одному из мостов, верхнему или нижнему, чтобы добраться до сакли.

На Зеленом току шумно играла целая ватага малышей под наблюдением двух девочек десяти-одиннадцати лет. Они, как я заметил, старательно исполняли поручение матерей, приглядывая за малышами, не пускали их к оврагу. Увидев нас, дети вдруг замолчали и, выстроившись в ряд, уставились на незнакомых мужчин, идущих с учителем.

– Вот дом старухи Лизе, – сказал учитель Ингар, обращаясь к Андрею. – Арина Федоровна жила там несколько лет. Для старухи она стала дочерью, а для ее сына Шуая – сестрой. С легкой руки старухи Лизе твою мать стали называть на лезгинский манер Ширинат, сельчанам это пришлось по душе. Многие парни, влюбленные в русскую учительницу, поджидали ее здесь, когда она возвращалась из школы или шла с кувшином с родника... И я приходил сюда... Вместе с твоим будущим отцом, чтобы поддержать друга... ради нашей дружбы я пожертвовал своей любовью... Порой думаю: а правильно ли я тогда сделал? Если бы за сердце девушки я поспорил с Ясабом, может быть, он остался бы жив? Но я видел, что она полюбила его...

Вновь разоткровенничался учитель Ингар, рассказывая нам, молодым, о самом заветном, что он хранил в тайне столько лет. А мы молчали. Действительно, что можно сказать в таких случаях?..

Дом Шуая оставался таким, каким я его знал с детства: одноэтажный, с террaской. Только был более выцветшим. И старый столб с электропроводами у ограды наклонился над самым обрывом оврага. Два провода, отходящие от него к крыше сакли, слабо провисали. По обветшавшей штукатурке было видно, что саклю давно не белили. Пока была жива старуха Лизе, ей помогали соседки. Они не отказали бы и Шуаю, если бы он попросил побелить их саклю, но ему, видимо, было безразлично, как выглядит его жилье.

– А сколько там комнат? – полюбопытствовал Песен. – Мал дом. Как они там размещались?..

– Я у них не бывал, – ответил учитель Ингар. – Но по словам Джебеса, там три комнатки.

– В какой комнате жила Арина Федоровна? – спросил я, вспомнив про помещение с ямой под картофель.

– В комнате, где окно смотрит на запад. Она была и кладовой, холодным помещением, где старуха Лизе хранила съестные припасы и белую глину. А яму под

картофель, где скрывался Чайгун, отец Шуая, как рассказывают, сын засыпал, когда того выследили и расстреляли в этой яме... Ну, об этом можно долго говорить, но лучше в другой раз, – учитель Ингар предупредил наши дальнейшие возможные вопросы.

Он повел нас в верхнюю часть села, где жила его мать.

Ее дом тоже походил на саклю Шуая. На террасе с перилами, у стены, куда падал солнечный свет, на старой овчине сидела маленькая, сморщенная старуха и, что-то нашептывая про себя, вязала носок. Это была мать учителя Ингара.

– Добрый день, мать! – приветствовал ее сын.

И мы втроем в один голос поприветствовали ее. Она ответила нам. Внимательно посмотрев на нас, она обратилась к сыну:

– Никого не узнаю. Кто это такие, сынок?

– Их, мать, прислали к нам из Москвы с наказом, чтобы убедили тебя перебраться ко мне, – учитель, повернувшись, подмигнул нам.

– Кто же их послал? –

– Леонид Ильич Брежнев.

– Он сам и послал?

– Да, милая мать!

– Ему, Лианиду, какое дело до меня? – старуха не прекращала вязать.

– Он же главный в стране. Вот и поручил этим ребятам, чтобы отвели старую Шахни, вдову фронтовика, отдавшего жизнь за Родину, в дом его сына. Нечего ей жить в старой халупе, которая может обвалиться в любой момент!

Старуха прекратила вязать.

– А Лианиду кто сообщил? Как он узнал обо мне?

– Он знает все и обо всех, мать! Потому он и главный в стране.

– Пусть он главный. Но в стране, а не у меня дома! У этого дома есть свой хозяин. Мой муж. Он мне сказал:

не бросай дом!.. Я не имею права ослушаться мужа. Этот дом он строил своими руками. – Она с сына перевела взгляд на нас. – Если даже сам Леанид приедет сюда, я отсюда никуда не двинусь! Каким путем пришли, таким и уходите, дети. Дайте мне умереть в своем доме.

– Мать, прогоняешь гостей?!

– Они пришли не как гости.

– Они гости, гости, милая мать! Извини, я пошутил. Никто их сюда не посылал, – успокоил сын старую женщину. – Разве ты не узнала Антера, который учился у меня?

Старуха положила чулок и спицы на овчину и встала. Оттенив рукой глаза, она посмотрела на меня.

– Не узнаю, милый. Совсем ослепла я, – сожалея, сказала она, взяла обеими руками и сжала мою голову. – С приездом, сынок!

– А теперь посмотри на него! – бодро сказал учитель, указывая на Андрея.

Старуха так же, как и на меня, из-под руки посмотрела на Андрея и оцепенела.

– О, Боже, да буду я жертвой Тебе! – воскликнула она. – Вот он, наверное, из Москвы. А как похож!.. Дитя мое! Дитя мое! – плача и причитая, она обняла Андрея. – Птенец прилетел к своему гнезду!..

Старуха со слезами на глазах уставилась на Песена.

– Дитя мое, ты тоже из нашего села?

– Я из верхнего села Тагар, бабушка, – ответил Песен.

– С приездом, сынок! – старуха подала ему руку и недовольно обратилась к сыну: – Гостей не держат на улице. Веди их домой! Я поставлю чайник.

– Ты думаешь, обойдется чаем? – пошутил учитель.

– А ты не думай, сын мой, что я уж до того слаба. Для дорогих гостей у меня найдется все. Можешь не беспокоиться.

– Вот как! – воскликнул сын.

– Да, так! – отозвалась мать. – Я телом состарилась, но не сердцем.

Придя в движение, старуха даже внешне преобразилась.

– Милая мать, – обратился к ней сын, – теперь парни сыты, и чайник не надо ставить. Я собирался пригласить их к себе, но мы можем прийти сюда. И они поедят твоего хлеба. Это я тебе обещаю. А сейчас я хочу Андрею показать... дом его отца, – неудивительно, что он запнулся на слове «дом», но не мог же он произнести – «развалины».

Матери понравилось намерение сына.

– Пусть будет по-твоему, сынок, это ты правильно решил... Только не задерживайтесь там, ребенку будет больно...

– Он не ребенок, мать, мужчина. А не увидеть ему еще больнее...

Что можно сказать об обвалившемся доме? В первый раз в доме Ясаба я был, когда еще учился в школе, и мы в ту незабываемую ночь заглянули в дом с дядей Балаком, Айсамом и Сардаром в поисках куриного вора. С той поры дом стал выглядеть хуже: потолков не было, балки некоторые еще держались, другие упали, полы второго этажа провалились, окна и двери, покоробленные и разбитые, покосились и готовы были выпасть. Обычно из заброшенного дома люди тайно или явно забирают всё, что еще можно использовать. Но дом Ясаба никто не трогал, отсюда ничего не унесли, все портилось и разрушалось на месте. Как рассказывала моя бабушки, когда умерла и мать Ясаба, ее дочери, вышедшие замуж в другие села, унесли отсюда лишь кое-какие вещи и домашнюю утварь... По стенам, побитым дождями, пошли трещины. Внутри дома тоже густо росла крапива. Трудно было представить, что тут когда-то жили люди... Это было место прерванной жизни и несбывшихся желаний. Так думали все сельчане. Так думали и мы, пришедшие теперь сюда с Андреем, который здесь родился и должен был вырасти, но это ему не было суждено...

Андрей попытался, сминая крапиву ногами, пройтись по комнатам, но его удержал учитель Ингар:

– Не стоит, парень, это опасно. Пол может обвалиться или сорвется балка...

Отойдя назад и ничего не говоря, Андрей провел рукой по стене. На глазах у него показались слезы.

Учитель Ингар попытался рассеять его тяжелое настроение:

– Когда этот дом строили, готовить кирпичи, покрыть крышу помогала вся сельская молодежь. Помню, как крыли крышу. По краям ее стояли палки с закрепленными на них пестрыми платками и тканями. Играли зурначи вместе с Балаком. А мы, юноши и девушки, поднимая на крышу землю и утрамбовывая ее, успевали и танцевать, и петь. Обычай такой был, строить дом помогали всем селом... – Помолчав, учитель Ингар глубоко вздохнул, наверное, перед его внутренним взором пронеслись радостные картины прошлого. Но продолжал он без радости: – Что делать? И жизнь человека, и жизнь дома имеет свои пределы, вечного ничего нет. Одно поколение сменяет другое. Когда старые дома разрушаются, на их месте возводят новые... Андрей, сынок, ты хозяин этой земли. В фундаменте этого дома остались камни. Не стоит ворошить старое, надо идти к новым радостям, добиваться, чтобы сбывались желания. Только так! Иначе земля перестанет крутиться вокруг солнца... Очистить это место и возвести здесь новый дом – теперь это твоя обязанность, сынок.

– Я так и сделаю, учитель! – с каким-то вдохновением сказал Андрей. – Это очень хорошее место: отсюда видна вся долина и село!

– И тебе сообща, по старому обычаю, помогут покрыть крышу, – сказал я. – А Песен будет играть на зурне на крыше твоего дома.

– Согласен! – Андрей хлопнул меня по спине.

– И я всегда готов! – сказал Песен.

При охватившем нас добром настроении меня тоже потянуло на воспоминания.

– Вон в том клубе, где прежде была мечеть, – начал я рассказывать, показывая рукой, – а еще раньше там был христианский храм, на собрании негодяй Бетих хотел опозорить дядю Балака, Айсама и меня. Тогда нас выручил Шуай... А когда бабушка в первый раз повела меня в школу, я оттуда сбежал вниз вон по тому косогору, оказался в этих проулках, и тут, выйдя из того склепа, меня поймал Шуай и передал бабушке.

– Если бы тогда Шуай не поймал тебя, сегодня ты не приехал бы из Москвы студентом, – пошутил учитель Ингар.

Ребята рассмеялись.

– А нельзя сходить в клуб, посмотреть? – спросил Песен, как обычно, больше молчавший.

– Сходим, если вы хотите, – сказал учитель Ингар. – Как-никак исторический памятник.

Однако сходить в клуб у нас не получилось.

В ясный день, когда небо казалось безоблачным и высоким, когда ни над Алпаном, ни над Ледовой горой, ни над Красной горой, ни над вершинами Гетин и Келет не было даже легкого облачка, когда мир был залит солнцем, на всю долину загремело и загрохотало...

Село пришло в движение, люди выбегали на улицы, стали собираться группами. Грохот усиливался, всех охватил страх, никто не мог понять, что происходит.

Внизу по Улице при воротах, где вчера мы гостили у дяди Ходжи, расстроенная толпа женщин, таща детей за руки, а самых маленьких взвалив на спины, бежала к мечети-клубу. Женщины в страхе кричали и причитывали, хлопали по себе руками, раздавались голоса:

– Небеса рушатся!.. Камни падают!.. О Боже, спаси нас!..

Но высокое синее небо оставалось ясным и спокойным.

Я не мог унять биение сердца в груди. У Песена и Андрея сошла краска с лица. Мы не понимали, что про-

исходит, но происходило что-то непередаваемо грозное. Мы ждали объяснения у учителя Ингара, а он, спокойный, без страха на лице, молча смотрел куда-то вдаль.

Оттуда, где мы стояли, просматривалось все кругом, потому здесь быстро собралась толпа сельчан. Некоторые из них, удивляясь и сердясь на спокойное молчание учителя Ингара, приставали к нему:

– Что это такое происходит, учитель? Почему ты молчишь? Скажи хоть два слова, сын злодея!

Учитель Ингар продолжал молчать.

Глаза людей выражали страх. Каждый, обескураженный, что-то говорил или самому себе, или тому, кто был рядом. Только маленькие дети, прижимаясь к ногам матерей, молчали.

И еще вот что меня удивляло. Никто не замечал нас, гостей, приехавших издалека. Мы смешались со всеми, превратившись в единое целое. Происходящее, грозное и непонятно, как-то разом отодвинуло в сторону факт приезда гостей, в том числе Андрея, сына Ясаба.

– Конец света наступает! Последний день приходит! – кричала какая- то женщина и била себя то в грудь, то по голове.

– С неба камни падают! Они и грохочут, ударяясь друг о друга, – предположил один из мужчин малоутешительное.

Кто-то вспомнил и Шуая:

– Он говорил, что у нас больше камни падать не будут... – это прозвучало обнадеживающе.

– Где он? Может, он объяснит...

– В склепе его нет.

– Если не в склепе, то ушел на Гору...

Мужчина в годах сердито взял учителя Ингара за плечи и потряс:

– Скажи что-нибудь, ты, в белой рубашке! – как будто те, кто носит белую рубашку, обязаны все знать и объяснять. – Что происходит? Что сказано в книгах, которые ты изучал?

В глазах учителя Ингара заиграли веселые зайчики, и он заговорил:

– Грохочет, а падающих камней не видно! Все успокойтесь! Смотрите на Ледовую гору. На ней лед перестал блестеть, белая гора стала черной.

Действительно, Ледовая гора уже не была такой красивой и сверкающей, какой мы видели ее утром, она точно опала и обвисла.

– Ну и что? – не унимался мужчина, который только что тряс учителя. – Что это значит?

– Это значит, дорогой односельчанин, что ледник на горе треснул и сорвался вниз в ущелье Большой реки. Глыбы льда и скальные камни бьются друг о друга, создавая грохот, который мы слышим.

Люди вздохнули с облегчением.

Сразу зашумели дети, раздался смех. А кто постарше из них гурьбой, поднимая пыль, устремились к реке.

И тут мы увидели, что в верхней части Большой реки, просматриваемой из села, в потоках воды появились громадные глыбы, которые, перекатываясь и сверкая, неслись вниз. И люди на улицах, поняв, в чем дело, освободившись от сковывающего страха, бросились к реке. Спустились к реке и многие из тех, кто стоял вместе с нами. Надо было все увидеть своими глазами, происходящее представлялось редким явлением.

– Это произошло преждевременно, – пояснил учитель Ингар. – Я и от старших слышал, что ледовый покров на этой горе ломается один раз в сто лет. И это правильно: за такой период ледники набирают достаточно веса, становятся массивными и ломаются. В последний раз гора сбрасывала свою ледовую «накидку» в 1930 году... Это было, когда из нашей мечети сделали клуб. Тогда старинные религиозные книги из мечети побросили в Большую реку. Говорили, что потому все и произошло... А этот селевой поток мы должны были ожидать почти через полстолетия... Но бывает, ледники ломаются и от сильных землетрясений. Но землетрясения не было. Или состарилась наша Ледовая гора?..

– Прошлой ночью на Горе Алпан люди слышали взрыв, – сказал кто-то. – Об этом говорили чабаны, пасущие овец на Одиноком лугу.

– Вчера я ездил в район, – включился в разговор другой сельчанин. – Вечером, возвращаясь, слышал на автостанции: руководство района послало на Гору группу комсомольцев, чтобы разрушить там мусульманские святилища. А тут главе района стало плохо, его пришлось везти в Махачкалу. Оттуда он позвонил и наказал, чтобы тех вернули обратно и не трогали святилища.

Услышанное, видимо, встревожило учителя Ингара.

– Значит, вчера не случайно Сардар поехал в район... – сказал он. – И Шуай что-то узнал, поехал на Гору. Что-то неладное получается...

– Но ведь комсомольцев вернули обратно, – сказал я, желая успокоить его.

– Комсомольцы могут и вернуться... А Сардар, негодяй...

Мы тоже спустились к реке. Там, на крутом берегу собрались все сельчане. Люди возбужденно говорили, но никто не вникал в смысл сказанного. Взоры всех были устремлены на гремящую, словно взбесившуюся реку.

Мы видели, что и жители соседнего села собрались на правом берегу реки и смотрят на происходящее.

Мы тоже пошли на пригорок над мельницей Лахама, где тоже собралось много людей. Земля под ногами дрожала, но никто на это не обращал внимания, все смотрели на реку.

Река «разбухала», мутный поток захлестнул мельницу. Глыбы льда в воде катились тяжело и медленно, издавали грохот, выбрасывая в воздух куски льда и воды. Они красиво блестели, вспыхивая радужными красками.

– Сейчас унесет мельницу, – с жалостью сказал кто-то рядом с нами.

– Двести лет стояла, и теперь ничего не будет, – ответил ему пожилой мужчина. – Один раз она уже попадала в такой сель, а выдержала. Крепко стоит, и на хорошем большом камне. Если камень не сдвинется, она выдержит.

Ледяные глыбы и бревна (наверное, сель разрушил два моста выше по течению), поднимаясь горой, перекрывали реку и образовывали громадные запруды, потом они под тяжестью накопившейся воды прорывались и неслись дальше вниз. И у мельницы Лахама образовалась запруда, оттуда выбросилась в сторону большая плоская глыба и, переворачиваясь, порывисто понеслась в потоке по крыше мельницы. Она наклонилась и скрылась под водой. Через какое-то время, когда ледяные глыбы проплыли, из воды выглянул угол мельницы.

– Видели?! – радостно и гордо воскликнул пожилой мужчина. – Мельница выдержала! Хотя и накренилась в сторону. Наверное, сдвинулся с места огромный камень, на котором она стоит.

Но пока убедиться в этом было невозможно, мельница еще находилась в воде.

Лишь после того, как сель сошел на нет и река не вернулась в свое привычное русло, мельница Лахама предстала перед восхищенными взорами людей во всей своей разрухе: крыша была сорвана, она накренилась вбок, но все еще оставалась стоять на своем камне! Землю вокруг камня унесло, и он, массивный обломок скалы, оголился. Теперь, чтобы подняться на мельницу, потребовалась бы лестница. Унесло селем и мельничные водоводы. Я с сожалением подумал: «Теперь наша мельница, совсем заброшенная, превратится в памятник, напоминающий о се□ле...»

На нас, гостей, все еще никто не обращал внимания, что продолжало меня удивлять: в другое время к нам без конца подходили бы сельчане с приветствиями и расспросами, выражая уважение, приглашали

бы к себе, но все это оказалось перечеркнутым происшедшим необычным событием. Волнения и тревоги были позади, люди радовались: обошлось без большого вреда, который сель мог нанести, а снесенные мосты и скособоченная мельница без крыши они за таковое не считали.

Сельчане как быстро собрались у реки, так же быстро, переговариваясь, разошлись и по домам.

Сказать, что после этого меня с друзьями больше никто не заметил, было бы неправдой. Некто один удостоил нас своим вниманием. Появившись словно из-под земли, он оказался перед Андреем. Худотелый, похожий на сухой корень кизила, весь какой-то линялый, с горящими злобой глазами, он измерил Андрея взглядом с головы до ног. Потом уставился ему в глаза. Андрей стоял, ничего не понимая, хотя догадался, что этому незнакомому старику он кого-то напоминает. Он улыбнулся, точно говоря: ну да, я похож на того, кого ты знаешь... Но когда иссушенного старика пробрала заметная дрожь, он скрипнул зубами и что-то прорычал, улыбка слетела с его лица.

Конечно же, я его узнал. Я не мог не узнать Бетиха, как бы сильно он не изменился. В груди у меня всколыхнулось старое... Учитель Ингар встал между Андреем и Бетихом, взял того под локоть и потянул в сторону.

– Чего глаза выкатываешь? – крикнул учитель как глухому. – Иди своей дорогой! Иди к себе!

Бетих, что-то безумно лопоча, руками показывая на Андрея, пытался что-то сказать.

– Я его... му-му... Я его... Это... – только и разобрал я.

– Иди! Иди! Это не он. Не тот, что ты говоришь...

Бетих послушно, хотя и оглядываясь назад, ушел в село.

– Кто это такой? – смеясь, спросил Андрей.

Мне трудно было ответить, я хотел, чтобы это сделал старший, учитель Ингар, зная, что он найдет нужные слова.

Но первым заговорил Песен:

– Наверное, сельский дурачок. Ты же видел.

– Нет, он не дурачок... хотя и похож, – сказал учитель Ингар, подбирая слова. – В последнее время он взял в привычку выть по ночам. Этот человек отвергнут всем селом. Один Шуай поддерживает с ним отношения, он его простил. Шуай делится с ним подаяниями, которые люди ему приносят. Больше нет никого, кто подал бы ему кусок хлеба. И родные отказались от него. Жена ушла. – Помолчав, обращаясь к Андрею, учитель добавил: – Сынок, это Бетих...

Почему учитель, говоря это, упомянул и Шуая? Возможно, тем самым он хотел донести до Андрея: «Шуай простил, прости и ты. Месть врагу ничего не изменит. Он наказан уже судьбой».

Мои наблюдения подсказывали, что в учителе Ингаре произошли заметные изменения. Ведь я помню, что на том собрании в клубе, когда нас судили и позорили, он говорил совершенно иное, готов был разорвать Бетиха на части. Теперь же на прошедшие события он смотрел по-другому, с точки зрения человека, более умудренного жизнью...

Мой друг понял учителя Ингара.

– Да, это так, – проговорил Андрей. – Он с лихвой наказан жизнью. Но не думаю, что он это понял...

– Он дурачок, сошел с ума, – стоял на своем Песен. – У него сместилось время. – Тебя он принял за твоего отца, что его потрясло...

В этот день в селе только и разговоров было, как о Ледовой горе, которая стряхнула свою «накидку» в Большую реку.

Вечером на киме дядя Джебес сообщил, что его лошадь, на которой Шуай поехал на Гору, вернулась одна, что встревожило всех. Мужчины заподозрили неладное. На киме перестали говорить даже о Ледовой горе и о разбушевавшейся в Большой реке, наступила тишина.

Лошадь вернулась, когда все село вышло к реке смотреть на сель, потому ее никто не видел. Если бы приехал Шуай, то сам привел бы лошадь к хозяину.

– Лошадь беспокоится, – прервал молчание дядя Джебес. – Бьет копытом, как будто что-то хочет сказать.

– Разве ты не понимаешь языка своего животного? – попытался пошутить дядя Балак.

– Знаю, потому и говорю: с Шуаем что-то случилось, – старому канатоходцу не понравилась шутка дяди Балака. – Лошадь не должна была возвращаться одна. Шуай говорил, что он поедет в Дом Вачe и вернется, он бы не отпустил лошадь.

– Ты считаешь, что надо идти на Гору? – спросил учитель Ингар. – Если да, то надо отправляться так, чтобы к утру быть на месте...

Решили, что на Гору пойдут дядя Балак и учитель Ингар.

Дядю Джебеса они от этого похода сумели отговорить не сразу.

Их привело в затруднение его вопрос:

– Вы хотя бы раз ходили в Дом Вачe? Ведь надо знать дорогу. А вы знаете дорогу лишь к Яме белой глины.

Ни учитель Ингар, ни дядя Балак ни разу не ходили в Дом Вачe.

– А Ходжа знает? – спросил учитель. – Он постоянно ездит в горы.

– Он бывает только там, куда на машине можно добраться... Нет, без меня вам не обойтись. Ну и что? Умру я там? Там меня и похороните!

– Рано тебя хоронить, не спеши! Но ты уже не в том возрасте, чтобы подниматься на Гору. Дорогу мы найдем, наша Гора нам поможет.

– Тогда дорогу вам укажет моя лошадь. Все лошади, какие у меня были, знали дорогу в Дом Вачe. Шуай их приучил... Пустите лошадь вперед, она приведет вас, куда нужно, – дядя Джебес остался доволен своим решением.

– Надо взять с собой и молодых мужчин, сказал учитель Ингар, указывая на меня, Песена и Андрея, наверное, хорошо понимая, что мы согласимся.

– Они гости, не стоит, – не согласился было дядя Джебес. – у них ноги не привычны к горным тропинкам.

– Если не привычны, пусть привыкают! – сказал дядя Балак.

Его поддержал учитель:

– Пусть идут! Они свои люди.

Дядя Ходжа тоже находился на киме. И я удивлялся его молчанию: в подобных случаях он обычно не молчал. Но оказалось, что он только слушает мнение старших, а потом заговорил и сам:

– Это что же получается, почтенные? Вы уже ни во что не ставите мою машину или меня самого? До Одинокого луга можно добратьчя на машине. А дальше пойдем пешком.

– Лошадь тоже посадим в машину? – не удержался учитель Ингар.

Все понимали, что без лошади не обойтись. Если с Шуаем что-то произошло, его надо будет доставить вниз, все уже, казалось, привыкли к мысли, что так и есть.

– Вот ты и поедешь на лошади. Седло и учительский стул не слишком различаются. Оба твердые, тебе все равно, на чем сидеть... А если не можешь, отдай лошадь моему родичу Антеру. И ему надо привыкать: стул писателя, я полагаю, тоже не мягкий...

Шутки дяди Ходжи, пожалуй, не совсем уместные, однако не вызывали раздражения, а меня его предложение даже обрадовало. С ним, думаю, согласился бы и учитель, если бы дядя Джебес не сказал:

– Он приехал из города и молод. Лошадь может его не принять. Моя лошадь доверяет лишь тем, кого знает. Сам поезжай на ней, Ингар. – Не желая, чтобы я обиделся, он добавил: – Антер и его друзья должны быть иместе.

Конечно, дядя Джебес был прав...

Договорились, что отправимся в четыре часа утра.

Спать мы легли поздно. Бабушка должна была разбудить нас, когда выгоняла корову в стадо. Машина дяди Ходжи будет дожидаться нас на Красном току, туда же придет дядя Балак. А с учителем Ингаром, который поедет на лошади, мы встретимся около Одинокого луга, на Хрустальном озере. Дальше начинались крутые косогоры и скалы, где машине не проехать...

Поздно ночью меня, сладко спящего, толкнул в бок кулаком Андрей. Таким же образом он разбудил и Песена.

– Слышите? – сказал он, в его голосе сквозила тревога.

– Что случилось? – спросил я.

– Послушай: воет...

Действительно, из открытого окна доносился протяжный вой. Но он не было похож на вой собаки, волка, или шакала.

– Не тот ли сумасшедший? – сказал Песен, протирая глаза. – Учитель Ингар ведь говорил о его привычке выть.

Я высунул, слушая, голову в окно и почувствовал, что по моему телу волнами перекатывается дрожь.

Луна еще не зашла. Один из домов внизу освещался алым и подвижным светом, не похожим на лунный. И ночная тьма там казалась окрашенной в алое.

– Не горит ли там что-то? Не пожар ли? – сказал Андрей, тоже смотревший в окно.

Мы быстро оделись. А когда хотели бесшумно пройти, из соседней комнаты вышла бабушка, которая встала доить корову.

– Вас разбудил вой Бетиха? Несчастный он, дети мои. Не обращайте внимания, ложитесь. Вам еще рано вставать.

– Бабушка, в селе что-то горит, – сказал я.

С террасы видно было, что от Красного тока к Зеленому току бегут люди.

Мы тоже поспешили.

Прибежав к Зеленому току, мы увидели, что горит сакля Шуая. Она была охвачена огнем со всех сторон, крыша уже провалилась, из дома вырывались языки пламени. Выше сакли стоял Бетих с ведром, он продолжал выть.

– Неужели он поджег? – сказал кто-то.

Так подумали из-за ведра в руке Бетиха.

– Негодяй, выживший из ума, от него всего можно ожидать! – с негодованием выразился кто-то.

Прибежали несколько мужчин, они подошли к Бетиху. Он перестал выть.

– Не я! Не я! – вырвалось у Бетиха. – Я хотел погасить. Не суме-е-ел!

Видимо, он и вправду хотел погасить огонь, а когда не сумел, завыл, созывая людей.

Мы подошли ближе. Из соседних домов сюда спешили мужчины и женщины с ведрами и с другой посудой. Выстроившись, стали черпать воду из речушки и гасить огонь. Погасили, но там уже нечего было спасать.

– И то хорошо, самого Шуая не оказалось дома, – говорили люди. Все склонились к предположению электромонтера, что пожар произошел от короткого замыкания: «От перегрева расплавилась изоляция на проводке», – объяснял он.

– Кто-то мог и поджечь...

– Нет, не мог, – ответил монтер сомневающемуся. – А что у него было, чтобы поджигать? И кому Шуай навредил? Кто мог держать на него зло? Никто! Надо быть сумашедшим, чтобы поджечь его жилье.

– Разве нет таких в селе?

– Если ты имеешь в виду Бетиха, он еще не окончательно обезумел... Это он сообщил о пожаре. А в ведре у него действительно была вода. И к Шуаю он был расположен...

Дядя Ходжа, живший на одной улочке с Бетихом, потом расспрашивал его. Он сказал, что уже ночью хо-

дил к Шуаю, чтобы узнать, вернулся ли он. И видел, что от задней стены сакли отделилась какая-то фигура и побежала вниз... но он мог и вернуться после ухода Бетиха. По словам дяди Ходжи, эта мысль опять привела Бетиха к сакле Шуая, а она уже горела. Тогда Бетих поспешил домой за ведром...

Однако ни дядя Ходжа, ни остальные сельчане, допуская, что Бетих намеревался залить огонь (но когда он успел подойти с ведром, пожар уже разгорелся), не поверили всему прочему, рассказанному им. Люди приняли предположение электромонтера.

Но я почему-то хотел верить Бетиху. Хотя в селе и не было сумасшедших (сумасшедший, впрочем, не додумался бы до такой подлости!), я чувствовал, что имелись недруги у Шуая, и не только у него, и у тех, кто ему каким-то образом благоволил, и даже всему селу. Я ведь знал, что приехал один из таких, и даже выслушал просьбу остеречься.

О своих сомнениях я сказал дяде Ходже.

– Ты думаешь, что пожар устроил сын кабана, Сардар? Сначала и я так подумал. И первым делом прибежал к их дому, но ворота там оказались на замке. Я звал хозяев и заглядывал через забор, но там никого не было... Ведь их семья живет в райцентре, где у них тоже есть дом. Сюда они приезжают редко, отдыхать на наших родниках. А Сардар, на днях появившись на киме, исчез. И я видел, как он уезжал... Но они из тех, кто проходят сквозь землю. Если он вернулся тайно... его никто не видел.

От сакли Шуая остались лишь обуглившиеся стены. Огонь потушили, но никто не решался войти внутрь, откуда несло жаром и горелым. Я заглянул в оголившийся проем заднего окна и увидел кучи почерневших бутылок, часть которых лопнула. Они не сохранили копии старинных рукописей, сделанных Шуаем, предполагавшим, что таким образом он спасет их от влаги, от мышей, но не подумавшим об огне и о том, что у него окажется подлый враг...

Глава 6

В кабину грузовика сел дядя Балак. Он взял с собой и ружье, за плечо закинул сумку, видимо, с патронами.

– Ты не на охоту собрался? – съехидничал дядя Ходжа.

– Оставь свои шутки, на Гору едем, – неохотно ответил дядя Балак. – Там всякое может случиться. – Хлопнув дверкой, он сухо добавил: – Поехали, Ингар уже в пути.

– Держитесь, парни! Цепляйтесь за борта, растрясу я вас, – предупредил нас дядя Ходжа.

Сразу за селом дорога извивалась с одного зеленого пригорка на другой, поднимаясь все выше. Ехали медленно, я подумал, что пешком мы добрались бы быстрее и, конечно, был несправедлив к старому трудяге ЗИЛу, натужно гудя, одолевающему подъем за подъемом.

Мы приободрились, увидев вдали на косогоре ладно сидевшего в седле всадника в бурке, это ехал наш учитель Ингар. Я никогда не видел его верхом на лошади и не знал, что он такой хороший ездок.

– Молодец, ей-богу! – сказал восхищенный Песен.

– Да, он уникальный человек, все умеет! – сказал Андрей.

Как будто соглашаясь с ними, дядя Ходжа глуховато и длинно посигналил всаднику, а тот в ответ приветственно помахал рукой.

И этот день обещал быть ясным. Теперь с высоты мы видели скошенные луга с вразброд поставленными стогами сена. Из села в поля потянулись стада. Каждый квартал отдельно пас свое стадо и имел свои пастбища, хорошо известные пастухам. Но постоянных пастухов в селе не имели, ими становились хозяева скотины по очереди.

Мои друзья обратили внимание на изумрудно выделяющиеся капустные поля, окружающие село. Акку-

ратно разделенные, они были частными участками сельчан.

По склонам в Большую реку стекались ручейки и потоки, из которых некоторые проходили по селу. Кроме одного, все они брали начало где-то на Горе. А один поток начинался с Хрустального озера...

Учитель Ингар до озера доехал раньше нас.

Лошадь он привязал за куст барбариса поодаль от озера, нельзя было допустить, чтобы после трудной дороги она сразу напилась ледяной воды. И для нее, и для нас теперь начинался наиболее трудный отрезок пути.

Мы мало говорили, даже красота горного озера не могла отвлечь нас от тяжелых мыслей о неизвестно куда пропавшем Шуае и его сгоревшем доме...

– Чтобы стать «сыном Вачe», надо переплыть озеро туда и обратно, так ведь? – неожиданно спросил Андрей, водя по воде рукой. – Однако холодная!

– Да, так говорят, – ответил учитель Ингар. – Но сейчас не стоит плыть...

– Эти москвичи собираются покорить наше озеро? – сказал дядя Ходжа. – Пусть искупаются, посмотрим, на что они способны.

– Не надо! – воспротивился дядя Балак. – Мы тут по другому делу. Впереди трудная дорога.

А ведь и дядя Балак, и дядя Ходжа, и учитель Ингар когда-то в молодости переплывали Хрустальное озеро. Я вспомнил рассказ Арины Федоровны о том, как они с Ясабом приходили на озеро. Про это знал и Андрей. Я ему подмигнул, и он меня понял. Нас понял и Песен. Мигом скинув с себя одежду, мы все трое бросились в воду и поплыли...

Прихватив нашу одежду, дядя Ходжа поспешил к тому краю озера, где мы вышли из воды. Он, упрекая и поругивая, по очереди растер нам ноги и спину, помог одеться.

В душе у нас пробудилось какое-то новое чувство, возвышающее нас, возможно, мы стали ближе к тому, чтобы стать «сынами Вачe».

Довольные собой, но неуверенно ступая (непростое дело – плыть в ледяной воде), мы вернулись к дяде Балаку и учителю Ингару.

– Как я вижу, вы не хотите подняться на Гору, – недовольно сказал дядя Балак. – Обезноженные, как теперь вы одолеете эти подъемы?

– Не поможет, если пустить кровь? – серьезно спросил Андрей. Кажется, он и вправду испугался, что не сможет идти дальше.

У учителя Ингара на лице появилась улыбка, пожалуй, ему понравилась наша неожиданная выходка.

– Не надо ничего делать, – сказал он. – Этот подъем сам вылечит ваши ноги.

Дядя Ходжа взял из кузова грузовика собранную в узел веревку и забросил себе за спину.

Набросив на плечи теплую одежду, мы поднялись на Одинокий луг, расположенный выше озера. Здесь на луговых участках тоже стояли копны сена. Дядя Ходжа отсюда и возил сено вниз, на колхозную ферму. Посреди лугов тянулась тропинка, ведущая к Горе. Прямая, точно по линейке проведенная тропинка потом, извиваясь, поднималась по крутому склону, которым завершалось поле, и издали казалась нам узенькой линией.

– Вот, – сказал дядя Балак, – мелодия «Одинокий луг», которую ты нам исполнил дома у Ходжи, связана с этим полем. Впрочем, в старину с ним многое было связано, о чем хорошо знает Шуай.

– Еще говорят, что это место над озером выбрал Вачe для своей стоянки, – сказал учитель Ингар. – А самого озера тогда еще не было, оно образовалось после. Это я слышал от матери.

– И эта тропинка существует не с тех ли времен? – сказал Андрей.

– Может, так и есть, – ответил учитель. – Но теперь лишь благодаря Шуаю она окончательно не зарастает.

По тропинке нам пришлось идти гуськом. Впереди шел дядя Балак, что ему посоветовал дядя Ходжа, сказав:

– Ты у нас коммунист, да еще с ружьем. Тебе и идти впереди, можешь сесть на лошадь, пока тропинка не очень крутая.

Дядя Балак, не принимая шутки, бросил:

– На лошадь пусть сядет тот, кому она доверена, – и молча зашагал вперед.

Мне показалось, что он немного был обижен на дядю Джебеса за то, что тот не ему доверил лошадь.

– На этих крутых склонах я тоже не сяду на лошадь, – заявил учитель Ингар. – Надо пожалеть скотину. Она пусть везет мою бурку, я взял ее на всякий случай.

– Вот это правильно, – сказанное учителем понравилось дяде Ходже. – Ты, учитель, интеллигент, а мы просто селяне. Тебе держаться за коммунистом. Партия высоко ценит интеллигенцию... И лошадь веди за собой. Она ведь тоже не какая-нибудь, а лошадь атлета-канатоходца. Ну а я – рабочий и крестьянин в одном лице. Я буду следовать за вами. А они молодые, комсомольцы...

– Я не комсомолец, – сказал Песен, наверное, решив сам подшутить над дядей Ходжей и нарушить ход его мыслей.

– Тогда ты пойдешь за мной, – не поддался тот. – Такие, как мы с тобой, должны находиться между теми, кто идеологически крепко подкован. А вы, парни, – он посмотрел на нас с Андреем, – не обижайтесь, что пойдете за нами. Вы должны понимать: коммунисты ведут вперед, комсомольцы подгоняют тех, кто отстает. Но, милый родич, – обратился он ко мне, – Андрея пусти перед собой, как московского комсомольца, а сам иди замыкающим.

– Только вперед! Ни шагу назад! – подстегнул нас дядя Балак, – поправляя ружье за плечом...

Вот так, вытянувшись в одну линию, мы двинулись к величественной, вознесшейся ввысь громаде Горы Алпан. Разговоры опять умолкли, мы лишь изредка перекидывались словами. Ступали не спеша, следя за тропинкой под ногами.

Наша Гора вызывает особые раздумья, она заставляет относиться к себе с почтением верующего, как к нечто живому. И потому я хорошо представлял духовное состояние дяди Балака и дяди Ходжи, учителя Ингара.

Песен время от времени останавливался, разглядывал дали, потом шел молча, не произнеся ни слова.

А Андрей, я видел, хотел говорить и говорил бы, восхищаясь красивыми видами, повсюду открывающимися его взору, но он тоже сохранял молчание, беря пример со старших и оказывая им уважение. Все же не выдержав, он обернулся ко мне и, понизив голос, спросил:

– Почему орлов не видно?

– Увидишь. Они появляются неожиданно.

– А где здесь находится Яма белой глины?

– На южной стороне Горы, вон там, где скалы ниже и разрежены.

Нас слышал дядя Балак.

– После Ямы белой глины находится село твоих отцов, Песен, – сказал он.

Песен на это ничего не ответил, но, остановившись, некоторое время смотрел в ту сторону, где находилось село Тагар, потом прибавил ходу и догнал ушедшего вперед дядю Ходжу.

– А где тут мусульманские святилища? – опять спросил меня Андрей.

– На северной стороне Горы.

– Я хотел бы и их увидеть.

– Посмотрел бы и на Камень меры грехов, – подал голос и Песен.

– Сходим и туда. Если успеем... Уже скоро наступит та пора, когда к тем святилищам начинают ходить люди. А лучшим временем для этого считается август. В остальные летние месяцы могут подстерегать неожиданные дожди и грозы.

– Вы не особенно распространяйтесь о посещении святилищ, разозлите нашего коммуниста, – опять

пошутил дядя Ходжа, подшучивая над дядей Балаком. – Он может получить выговор, мол, не по тому пути вел молодежь.

Однако дядя Балак ему без всякой злости ответил:

– А ты подумай вот о чем, товарищ механизатор: на нашей Горе имеются и мусульманские святилища, и христианский Дом Вече. И одно не мешает другому, только прибавляет святости Горе, делает ее более привлекательной. А наше, коммунистов, учение, многое вобрало в себя из этих двух религий, особенно из того, что касается моральных устоев, организации жизни человека.

– Скажешь ты тоже! – удивился дядя Ходжа. – Смотри, не заговаривайся, а то исключат тебя из партии и уволят с должности библиотекаря. И перестанут приглашать тебя на свадьбы бить в барабан. И дети твои останутся голодными. И ни Дома Вече, ни от других святилищ не будет тебе помощи.

Дядя Балак, пуская лошадь впереди себя, сказал:

– Иди, милое животное, ты лучше нас знаешь, куда мы идем.

Лошадь, точно поняла сказанное, мотнула головой и пошла вверх по тропе.

Дядя Балак, остановившись, тем самым остановив и весь наш маленький отряд, спросил у дяди Ходжи:

– Еще не родился тот человек, который исключит меня из партии! Ты же видел герб Советского Союза?

– А кто его не видел?

– Ты же знаешь, что означают изображенные на нем серп с молотом, товарищ механизатор?

– Молот говорит: я – рабочий, а серп: я – крестьянин. Что они могут еще означать?

– Да, с одной стороны это так, ты прав. Однако эти два изображения имеют и другой смысл, о котором не все догадываются.

– Ну договаривай, не испытывай терпения человека!

– Так вот, другой смысл такой: молот говорит: я – крест, а серп: я – полумесяц.

– Как это понимать? – растерялся дядя Ходжа.

Дядя Балак и учителя Ингара пропустил вперед себя, сам стал лицом к лицу с дядей Ходжей.

– Молот похож на крест, на главный символ христианской веры? Да! А серп похож на мусульманский полумесяц? Да, тоже похож. Если тебе рядом с полумесяцем нужна звезда, она тоже имеется в нашем гербе.

Слова дяди Балака тронули-таки дядю Ходжу.

– А ведь действительно все так! Чтоб дом твой рухнул, чего только нет в тебе! Чего только ты не знаешь! Не в книгах ли Сталина ты и это вычитал?

– Нет, это мне подсказала наша Гора... и от других коммунистов я слышал.

– Получается, что коммунизм, который вы, коммунисты, строите, и есть тот рай, что нам эти две религии обещают на небесах?

– Отцу твоему да покоиться в раю! Наконец-то ты меня понял, – повеселел дядя Балак. – Что за рай может быть там, на небесах? Да ты смотри! – Подняв руку, он повел взглядом по небу. – Ну что там? Одна пустота.

Лошадь, а с ним и учитель Ингар несколько удалились от нас, но он все равно слышал разговор между коммунистом и механизатором.

– Учитель Ингар, – окликнул его дядя Ходжа, – слышишь, что он говорит? Что ты об этом думаешь?

– В его словах что-то есть, – спокойно, тоном знающего человека промолвил учитель. – Но ты не особенно забивай себе голову. Тут не то место, такие разговоры надо вести, поставив бутылку, уютно сидя дома или у родника на цветущей лужайке.

– Рай – это тысячелетняя мечта несчастных на всем свете, – почувствовав поддержку учителя, продолжил дядя Балак. – Говорят, там текут молочные и винные ручьи. Но куда они могут течь? Где-то они должны же задерживаться. А где? Не в аду ли, если он расположен ниже?..

– Возможно, и в аду. Совсем неплохо, парни! – дядя Ходжа обратился к нам, как будто мы собирались именно туда.

Мы трое, точно сговорившись, пожали плечами, а дядя Ходжа все не успокаивался.

– Учитель Ингар, ты напрасно не участвуешь в нашей дискуссии! – сказал он. – Молодых людей, – он посмотрел на нас, – могут не убедить слова механизатора и барабанщика, тебе они больше поверят. Выскажись же по поводу поднимаемых нами вопросов. А бутылку я тебе потом поставлю.

Мы подошли к учителю Ингару.

– Вопросов много, парни, – сказал он. – Найти ответы на все вопросы, задача трудная. Есть многое, до чего пока не доходит разум человека. И фантазию человека, как и мысль его, ничто не остановит. И рай с адом, и день светопреставления – создания человеческой фантазии...

Дядя Ходжа все не успокаивался, он опять обратился к дяде Балаку?

– Скажи-ка, кто у вас, у коммунистов, вместо Всевышнего? Были Маркс и Энгельс, Ленин. И Сталин. А еще Хрущев?

– Вместо Всевышнего сама партия! Маркс вместо сына Божьего – Иисуса Христа. И Энгельс за пророка. А Ленин со Сталиным их апостолы или сподвижники... Когда у советского народа будут двенадцать равных им апостолов, коммунизм будет построен, – последние слова дядя Балак произнес пророческим тоном и добавил: – Но будут ли еще такие, вот что важно...

– Но почему двенадцать?

– Как символы двенадцати знаков Зодиака, приближающих нас к законам неба! Они, кто возглавит нашу страну, будут связаны с высшими силами, напоминать посланников свыше.

– Ну, это на долгие времена...

– Почему же? Разве не жили в одну эпоху Маркс и Энгельс? А Ленин и Сталин? Тоже в одно время жили!

А знаешь, почему? Чтобы осчастливить миллионы несчастных и обездоленных, дать им все – это желание небесных сил, все равно что закон природы. Для его исполнения свыше и были посланы такие люди. И еще подобных им будут посылать! К несчастью, найдутся и такие, кто будет их предавать... Народ должен быть народом! Народ – это тело небес. Небеса – дух народа. Народ должен беречь своих настоящих вождей и вовремя избавляться от ложных.

– Да, глубоко ты копаешь... Но судя по тем вождям, кого мы знаем, коммунистический рай на земле может совсем не наступить? – дядя Ходжа уловил сомнения в рассуждениях дяди Балака.

– Пусть и не великие, как и Ленин и Сталин, но нужны такие, кто преданно продолжал бы их дело. Чистые, кто не предаст... Коммунизм народ построит, только его надо вести по верному пути.

– В таком случае кем является Хрущев?

– Хрущев – что Иуда в христианской религии. Развенчивая Сталина, Хрущев предал всю партию. Он вероотступник.

– Значит, он не относится к тем двенадцати, о которых ты говорил?

– Нет.

– А Сталин, который миллионы посадил невиновных. Сослал целые народы. Это как?

– Где строят рай, там не обойдешься без ада. Советская власть расчищала себе путь от всевозможных угнетателей. Да, для них нужен был и ад... А рай наша власть строит для других.

– Чайгун, отец нашего Шуая, которого расстреляли в собственном доме, тоже был виновен?

– Нет. Он жил с народом, был истинно верующим и сам выбрал свою судьбу.

– Ты до сих пор не знаешь о судьбе своего отца, которого забрали за несколько колосьев, подобранных в поле...

– Моего отца арестовал не Сталин, его сгубил военком Велихан, ишачий сын. Он расстрелял и Чайгуна при свете лампы, которую держала его жена. Жаль, что его не настигла заслуженная кара. Весь их род такой. И сын его, и внук... Вот таким верил Сталин. И таких предателей стало много.

– Ты смотри, как бы тебя не исключили из партии...

– Я же сказал: не родился еще тот, кто сможет исключить меня из партии! Так что не старайся вывести меня из себя, товарищ механизатор.

– Вот это правильно, не надо друг друга выводить из себя, – включился в разговор учитель Ингар. – Ходжа лишь хотел сократить себе дорогу. Привык ездить на машине, а тут приходится тащиться пешком, вот ему и скучно. И напрасно вы остановились, лучше бы на ходу и дискутировали... Легко ошибиться, разбирая трудные вопросы. А потому порой полезнее их вовсе не трогать... Вот так подсказывает мне мой разум.

– Да, действительно, разбирая некоторые вопросы, не обойтись без бутылки, – вздохнул дядя Ходжа. – Считай, что я должен тебе две бутылки коньяка, учитель...

Лошадь, остановившись поодаль, дожидалась нас, повернув голову назад.

– Свои бутылки можешь оставить себе... А такие споры, они бесконечные... Ну, тронулись! Неудобно перед лошадью, заставляем ее ждать. Она, видимо, более ответственна, чем мы.

И мы поспешили к ней...

Глава 7

Друзьям, Андрею и Песену, я рассказывал о мусульманских святилищах на Горе.

Однажды, старшеклассником, я поднимался к ним с моим другом Айсамом, сыном дяди Балака.

В одиннадцатом часу вечера мы, группа юношей и девушек, собравшихся посетить святилища, вышли из

села. С нами были и взрослые. Они несли на святилища жертвенные дары. Понятно, что с теми, кто жертвует, должны быть и те, кто жертву принимает. Иначе могло получиться так, что отнесешь свои дары на святилище, а принять их будет некому. Но только не в августе месяце, тут уж не бывает недостатка как в жертводателях, так и в жертвополучателях. Однако неся на святилища дары, все равно, на всякий случай, звали с собой кого-нибудь из сельчан.

Обычно для жертвы вели скотину: быка с веревкой на шее, барана с перевязанным туловищем (Почему? Может быть, шея барана казалась недостаточно толстой для жертвы?). Их резали прямо у святилищ, а мясо раздавали, добавив к нему хлеб и хлебцы, сладости, фрукты. Те, кто ходил на святилища, возвращались с полными сумками...

Выше нашего села, севернее Одинокого луга, находился обширный луг, чистый, без кустарника и колючек. Там колхоз заготавливал сено. Этот луг простирался до подножия Горы. Уже оттуда к святилищам вели многочисленные тропы, проложенные как нашими сельчанами, так и жителями соседних сел. Так принято было, что первый привал путники делали у Семи ключей. Здесь, находясь один возле другого, били из земли семь ключей с прозрачной, студеной водой. Считалось, что вода каждого родника по-своему вкусна, и помогает от определенных недугов. Тем, кто еще не знал, поясняли: эту воду пить надо, не прикасаясь к ней губами, а то обожжет ледяным холодом. Лучше пить из какой-либо посуды или пользуясь тростиночкой. Некоторые специально носили с собой такие тростиночки.

Паломники из нашего и из соседних сел так рассчитывали время, чтобы оказаться у Семи ключей, когда в небе появится *Рачи-Рачар* – Большая и Малая Медведицы. Здесь одни пробовали вздремнуть, другие перекусывали, третьи просто предавались беседам, вспоминали разные случаи из жизни, происшедшие в пути к

святилищам. Когда разговоры умолкали, звучали ключи. Полная луна и звезды, такие близкие и крупные, освещали долину светло-розоватым светом.

Когда мы дошли до Семи ключей, здесь уже отдыхала группа из соседнего села. С ними оказались двое мужчин из Баку, которые не говорили по-лезгински.

В богатых куртках (знают: пусть и лето, но в горах будет холодно) и костюмах, какие носят состоятельные люди, с выпирающими животами, с золотыми зубами, в низких папахах из каракуля, с четками в длинных связках, с протяжным говором, – они выделялись среди всех остальных путников. Каждый из них имел при себе по одинаковой огромной зеленой сумке, которые были прикрыты картонками и тщательно завязаны. И по- русски бакинцы говорили очень плохо. Жалея, что их не понимают, они спрашивали:

– Наш язик пашэм ни знайте-э, ада?

Айсам задал им встречный вопрос:

– А почему вы не знаете нашего языка?

– Наш язик лучши, – сказал один из них.

– Нет, – не согласился Айсам, – самый лучший язык – наш!

– Маладес! Ти смели малшик-э, – похвалил его бакинец, под луной сверкая золотыми зубами. – Очин харуши малшик-э.

И другой бакинец стал хвалить Айсама, им совсем незнакомого, говоря, что он умный и смелый мальчик, уважает старших, посещает святые места.

«И чего им вдруг так понравился Айсам?» – недоумевал я. А тут бакинцы начали хвалить и меня:

– Твуй друг тожи харуший малшик-э. Силни-э, умни-э...

Мы с Айсамом посмотрели друг на друга и, ничего не понимая, пожали плечами. Но нельзя сказать, что их слова на нас не подействовали: эти дяди из Баку, такие необычные, видимо, хорошо разбираются в людях, и если они нас хвалят, мы действительно чего-то

стоим, значит, неудобно не соответствовать их мнению о себе...

– Наши сумки тажули, джан дети, – продолжал один из дядей- бакинцев, видя возникшее у нас к ним расположение. – Диля нас тажули. Ми балшуй дядя, ви маладуй. Наш сердци балнуй, ваш сердце крепки. Вам наш сумка не тажули. Памагани делай нам. Ми вам кишмиш дам, рахат-лукум... Сичас сумка закрит. Кагда пирдем на места, дам...

Что такое кишмиш, мы знали, а про рахат-лукум не слышали, это усилило наше расположение к бакинцам. Ну как не помочь нести к святилищам сумки, полные кишмишем и другими сладостями, нам неизвестными?..

Сумки бакинцев мы взвалили себе на спины. И понесли в Гору, чувствуя, как веревки врезаются в наши плечи. А тропа становилась все круче, мы вытирали пот со лба, поглядывая друг на друга, и понимали, что поступили глупо. Но делать было нечего, не бросать же теперь сумки посреди дороги: взялись, так исполняйте. Мы не могли, облегчая сердце, даже выругаться – нельзя на Горе.

Не доходя до святилищ, нам встречался Камень меры грехов (по- русски его называли просто «Грехомером»). Там мы немного отдохнули.

Этот «Грехомер» представлял собой нечто удивительное: громадный камень, как скала, расколотый надвое, и внутри него образовалась узкая, извилистая щель. Так вот, кто с нижней стороны входил в эту щель и, не застряв, выходил с другой стороны, где святилища, того человека считали безгрешным. Возможно, этот обычай некогда ввели некие веселые и жуликоватые люди, чтобы подшутить над паломниками, но потом его стали воспринимать как обычай, оставшийся от предков и к нему относились серьезно. Впрочем, проходить щель не считалось обязательным, это делалось только по желанию самого человека. Но если боль-

шинство паломников проходят через щель, тем самым показывая свою безгрешность, а ты от этого воздерживаешься, то получалось, что ты перед самим собой и перед остальными признаешься в своей греховности.

Теперь наблюдается и другое: веселые и жуликоватые ребята проводят через щель «Грехомера» туристов, кто приезжает из других мест и стран туристов, представителей других религий или вовсе ни во что не верующих, а потом им объявляют: «Если вы прошли через щель этого камня, вы стали мусульманами! Теперь над вами предстоит провести специальный обряд!» Удивительно, но попадаются простаки, которые этому верят.

Все, кто был с нами, без каких-либо затруднений прошли через щель Камня меры грехов. И мы с Айсамом, сняв со спины сумки, убедили себя, что пока не успели согрешить.

А бакинцы с золотыми зубами не пожелали подвергнуть себя испытанию, заявив:

– Это ваш лезгински герхамер э. Это нам не касайтц э.

– Тут не бывает наших-ваших! – не согласился с ними мужчина из соседнего села. Всю дорогу вы шли с нами, а теперь уходите в сторону. Так нельзя! Здесь все равны перед Всевышним. И «Грехомер» не делит людей на своих и чужих.

– У нас гирех нету э, – сообщил один с золотыми зубами.

– Вот вы это и докажите!

Тут другой с золотыми зубами привел веский довод своего отказа:

– Слушай, брат-джан, куртка-кастум пачкайтс э. Дарагуй куртка, дарагуй кастум э!

– А о ваших каракулевых папахах вы не думаете? – последовал едкий вопрос.

– Папах тожи дарагуй... последовал ответ.

– Это священная гора! – не унимался мужчина из соседнего села. – Эти камни не пачкают! Или пройди-

те через «Грехомер», или возвращайтесь к себе домой. Дальше, к святым могилам, мы вас не пустим!

Двое бакинцев с золотыми зубами посмотрели друг на друга, покачали головами, пожали плечами. Потом скинули свои куртки, сняли пиджаки, каракулевые папахи и положили на камень рядом, прежде долго подув на него и обмахнув платочком.

Они вошли в щель «Грехомера». Люди, столпившись здесь, до сих пор шумевшие, неожиданно замолчали. Возможно, все решили, что эти солидные дяди грешны, в щели их зажмет, они в голос будут молить Всевышнего о прощении своих грехов, а потом начнут упрашивать, чтобы их вызволили из щели.

Однако их ожидания не оправдались. Оба бакинца, уверенно войдя в нижний проход, не задержавшись, в должное время, появились в верхней части.

Остальные паломники были удивлены, а сами бакинцы так и источали радость. Видимо, они сами были поражены тем, что так легко прошли «Грехомер» и не совсем верили в свою безгрешность. Они приобняли друг друга и стали целоваться. Это уже поразило наших паломников: ведь у нас не увидишь, чтобы мужчины целовались.

– Ми жи вам руски языка гаварил, у нас гирех нету! – говорил то один, то другой, сияя золотыми зубами.

Приходится признаться: мы с Айсамом немного сожалели, что у мужчины из соседнего села не осталось повода, чтобы отправить их обратно.

И бакинцы, кажется, это почувствовали.

– Ви жи лэзги мусшина! Слову дал – держи да! И сумка, и слову держи! Ми вам эшу шакалат дам!

– Не нужен нам ваш шоколад! – ответил я, вдевая руки под веревку, которой была обвязана сумка. Слово дал – держи! Иначе нельзя.

– И ваш кишмиш, и ваш рахат-лукум тоже не нужен! – добавил Айсам, взваливая сумку на спину.

– Тёнт лезгилер[1]! – на своем языке сказал один бакинец другому, потом еще что-то добавил, но мы его не поняли.

Теперь они помолчали: поняли, что сумки мы, верные данному слову, донесем до конца.

Люди еще толпились у Камня меры грехов: не все еще прошли испытание.

Мы с Айсамом опустили сумки на землю, видя, что все чего-то ждут.

В группе паломников из соседнего села были присоединившиеся к ним старуха и ее невестка. Никто из них не хотел пройти через «Грехомер». Невестка оправдывалась при этом тем, что она беременна, а старуха ссылалась на свой возраст. «Куда уж мне грешить? – говорила она невестке. – Сама пройдись там за нас обоих, дитя мое. Ты не бойся. И на тебе нет греха, ты у меня чиста, как цветочек».

Невестка, решившись, сначала внимательно оглядела бакинцев: если такие тучные мужчины прошли там без труда, почему она не сумеет?.. Но пройдя где-то до середины щели, она начала вопить:

– О, милая мама! Горе мне!

– Что случилось, невестка? – снаружи закричала и старуха.

– Меня камень держит!

– Да что ты говоришь?!

– Он меня не отпускает!

Старуха так и обмерла.

– Признавайся в своих грехах! – со смехом закричал кто-то.

От этих слов старуха опомнилась.

– Не бойся! Я выведу тебя! – она поспешила к щели. Не могла же старуха допустить, чтобы люди узнали о грехах ее невестки. – Какие на тебе грехи? Ты у меня чистая, как цветочек!

---

[1] *Тёнт лезгилер* – вспыльчивые лезгины.

Но старуха тоже застряла в щели и ничем не могла помочь своей невестке.

Возбужденные паломники, собравшись у обоих проходов щели «Грехомера», ждали, что же будет дальше.

– Признавайтесь в грехах! Иначе камень не отпустит! – закричал еще кто-то. Я заметил, что их было трое парней, наверное, из тех, веселых и жуликоватых, кто кормится жертвенными дарами на святилищах.

Сначала заговорила невестка:

– Один раз я согрешила, милая мама, о, дорогие святые! Я вынашиваю ребенка не от своего мужа. Он...

– Молчи! Молчи! – плача, вскричала старуха.

– Прости меня, о Всевышний! Да буду я жертвой тебе! – взмолилась невестка.

Прошло полминуты, и невестка выбралась из щели. Отойдя в сторону, она опустилась на землю, закрыла лицо руками и уткнулась в колени. Она плакала.

Все замолчали. И те парни, которые, смеясь, выкрикивали, чтобы старуха с невесткой признавались в грехах, притихли. Казалось, все забыли о старухе, оставшейся в щели.

Но тут оттуда раздались такие крики, что люди пришли в движение.

– И я грешна, о Всевышний! О святые места! – кричала она. – Мое лицо черно перед вами!.. Сына я родила не от своего мужа! Я всю жизнь скрывала это и от него, покойного, и от остальных людей. Но ничего не скроешь от Тебя, о Всевышний! Прости же и меня, и невестку мою!

Увидев старуху, выходящую из щели, люди начали молча отходить от Камня меры грехов. Они, видимо, не хотели ни словами, ни взглядами прибавить горя пожилой женщине. Не дожидаясь, что еще скажут старуха с невесткой, подхватив свои сумки, паломники направились вверх по тропинке.

Старуха подошла к невестке и обняла ее. Они продолжали плакать.

Потом они обе спустились вниз. Идти дальше со всеми к святилищам, конечно, они не могли. Их сумки остались у «Грехомера», в которых было то, что обычно несут на святилища: хлеб, халва, конфеты, фрукты. Старуха с невесткой знали, что их подберут те, кто поднимется в Гору следом. Но, скорее, раньше туда успели те веселые и жуликоватые парни, потому что мы с Айсамом заметили, как они незаметно исчезли. И на святилищах они появились поздно, когда мы уже собирались ложиться спать.

До первого святилища парни все же дошли вместе со всеми. Здесь паломники обычно исполняют обряд «условных могил», и когда все занялись сбором мелких камней для них, эти ребя отошли от остальных.

Что сказать об обряде «условных могил»? Его каждый проводит для себя по желанию, а если кто не проводит, то такого и не осуждают. Наши же спутники отнеслись к этому обряду со всей тщательностью. Для этого разделялись на пары. От находящейся неподалеку скальной осыпи несли к будущей «могиле» мелкие камни. Потом один из пары, «умерший», ложился на землю, а другой со всех сторон обкладывал его камушками. С минуту полежав в «могиле», «мертвец» вставал. Рядом ложился на землю его товарищ и все повторялось. Когда и он поднимался, камушки относили назад к осыпи.

Смысл обряда «условных могил» заключался в следующем: люди, от суеты своего бренного мира мертвыми поднявшись к святилищам, здесь, очистившись от грехов, обновленными возрождаются к жизни. В них вливаются свежие силы.

И мы с Айсамом заключили друг друга в «условные могилы». Уж нам- то свежие силы были необходимы, нам еще предстояло нести тяжелые сумки бакинцев. Однако мы не чувствовали прилива сил.

Бакинцы также провели обряд «условных могил». Но они в голове «могилы» и в ногах поставили по скаль-

ному камню, как это делают на настоящих могилах, тем самым точно показывая несовершенство всех остальных «могил». Кроме того, они прочли друг над другом молитвы, на своем языке сказали-пропели длинные и мелодичные речи.

– Они и вправду хотят попасть в рай, – сказал Айсам.

– Они хотят показать себя, – сказал я. – Не могут, как все, хотят выделиться... А мы, как дураки, тащим их сумки.

– Ну, дали слово... Слово мужчины, – вспомнив отца, добавил он.

Любимая фраза дяди Балака, видимо, и придала нам сил: мы дотащили-таки сумки до главной стоянки, где находились другие святилища.

– Спасиба вам, ви харруши малшики! – сказали нам бакинцы. Ви дубрия дела делал. Рахат-лукум потом дам, кагда сумка аткруим. Когда садака[1] раздавани делать будим.

– Нам ничего не надо! – сказал Айсам. – Мы рахат-лукум не едим.

– Как?! Рахат-лукум – пех, пех, пех, сладка!.. А что ви кушайти?

– Мы кушаем хлеб с сыром.

– Ах, бедни малшики!

– Наш хлеб с сыром вкуснее вашего рахат-лукума! – гордо ответил Айсам.

Бакинцы стали говорить между собой на своем языке, и говорили они серьезно. Возможно, у них изменилось отношение к нам, если бы они считали нас за дурачков, то говорили бы с ничего не значащей улыбкой, показывая свои золотые зубы.

Здесь немало оказалось тех, кто, подобно мне с Айсамом, впервые поднялись в Гору (и это, присутствие немалого числа других таких же наивных, мы восприняли как утешение для себя). И много оказалось нового

[1] *Садака* – добровольная милостыня у мусульман.

и привлекательного. Мы взбирались на скалы, спускались к ключам, бьющимся в расщелинах, заглядывали, удивляясь, в ледяные ямы. Мы поднялись и на большую скалу у стоянки паломников и были потрясены открывающимся оттуда видом находившегося внизу громадного мира. Под нами, далеко внизу, извиваясь, текла Срединная река, за которой можно было проследить вплоть до ее впадения в Каспийское море. Мы видели и само море, вытянувшееся длинной зеленой полосой.

Когда мы крикнули вниз, что видим Каспийское море, оба бакинца обрадовались.

– Баки видна да-а? – спросил один из них.

– Да, Баку виден, – ответил Айсам, который все еще был зол на них. – Можете подняться сюда и посмотреть!

Пыхтя и кряхтя, бакинцы поднялись на скалу.

И были очарованы открывшейся им красотой. Они долго разглядывали дали.

Потом один из них, вспомнив, спросил у Айсама:

– Баки не видна! Где Баки? – по его тону можно было подумать, что Айсам куда-то спрятал Баку.

– С нашей горы только наша земля видна, – ответил Айсам. – Вашего Баку отсюда не увидишь.

Переговаривая между собой, бакинцы осторожно слезли со скалы.

На этой же скале мы перекусили нашим хлебом и брынзой, и напились из первого попавшегося ключа.

Под навесом, где готовили еду, еще до вечера разожгли небольшие костры и паломники сели вокруг них. (Сюда носили с собой дрова, кизяки, а также подобранные по пути ветви и сухой камыш.) Еду готовили женщины и потом в мисках подавали паломникам. Мужчины резали жертвенную скотину и раздавали мясо. И прочие дары, принесенные с собой, раздавали, никого не обделяя.

А от бакинцев нам с Айсамом достались по паре фиников.

Настала ночь, мы уже ложились спать, когда нас взбудоражил шум, поднявшийся в помещении, где спали мужчины. Мы там опять увидели тех веселых парней, которые обратили на себя внимание у «Грехомера». Смеясь, они наблюдали за тем, как паломники отбирают друг у друга тюфяки и одеяла.

О сложившихся здесь порядках знали те, кто тут уже бывал. В этом тесном, длинном, темном, с низким потолком помещении на полу в несколько рядов были настелены коврами, много было тюфяков, одеял и подушек (все это – дары паломников). Те, кто знал, пришли сюда заранее, выбирали себе постельные принадлежности получше и заняли более удобные места. А если кому надо было выйти по нужде, тот просил соседа посторожить его место. Позже сюда заходили и остальные паломники, мест и постелей не хватало, и начинали старшие отбирать нужное себе у младших, сильные у слабых.

Это помещение освещалось одним подслеповатым светильником, горевшим в одном его конце. Больше никакого света сюда не поступало.

Нам с Айсамом достались тонкий и истрепанный тюфяк, одеяло и две подушки, и те маленькие.

У самой двери мы нашли не занятый уголок, постелили и легли, собираясь отдохнуть после тяжелой дороги, как вдруг резким движением с нас сорвали одеяло, а из-под наших голов вылетели маленькие подушечки.

– Эй, харуши малшики, эту вам многа е! – узнали мы голос бакинца. – Госта нада уважани делать.

Мы не знали, что ему ответить. Слова бы нашлись, но ведь места святые... Нам осталось одно: спать на одном тюфяке, обходясь без одеяла и подушек.

Дверь в помещение закрыли веселые парни. Подбадривая нас, один из них сказал:

– В помещении для женщин бывает и похлеще. Вам хоть тюфяк достался. Ну, спите, вместо подушек подложите свои сумки, а то и их отнимут. Вы же пришли

сюда не удобства искать, а совершить богоугодное дело. Сладких снов вам!

Пожалуй, богоугодных дел на нашем счету прибавлялось...

Как мы узнали на следующий день, у тех веселых парней было свое отдельное спальное место – в расположенной недалеко маленькой пещере. Рассказывали, что пещера та увешана коврами, туда занесены лучшие постельные принадлежности, дверь туда запирается на замок...

Повидав все такое и послушав людей, мы с Айсамом не захотели дольше там оставаться. Никого не слушая, и своих односельчан, которые говорили, что придут новые группы паломников, мы вернулись в село.

После этого мы не ходили к святилищам, решили: что творится на стоянке богобоязливых паломников, ничем особенно не отличается от того, чем люди занимаются внизу. Да, наверху, на Горе, в голос молились, раздавали жертвенные дары, верили в очищение от грехов и приходили к мысли больше их не совершать, но люди не оставляли свои обычные привычки...

И все же здесь мы увидели мир другими глазами. Мы душой осознали, как наша Гора изумительна, горделива и красива, способна потрясти сердца, и нет ничего лучше нашей земли, которую мы видели с высоты орлов, парящих в небе над нами, нет краше нашей Срединной реки, нашего Каспийского моря – все это самое красивое из всего, что только есть на свете, все это поддерживает в нас честь и достоинство, питает наш дух, придает бодрость нашим желаниям. И увидев все это сверху, с Горы, человеку должно быть стыдно грешить... Разве не так думали и те святые люди, которые похоронены на Горе? Разве можно усомниться в том, что они хотели людей, у которых дух пребывает в спячке, привести к той же мысли, поднимая их ближе к небесам? И всеобъемлющее величие Всевышнего хотели они показать людям через неповторимую красоту этой земли...

Глава 8

Мы достигли Горы.

На ее южной скальной стороне острые выступы, распадки были крупнее и сходились теснее, чем на северной, где находились мусульманские святилища. Там, на северной стороне, между скалами да камнями встречались небольшие открытые площадки, проходили тропинки. Здесь же, на южной стороне, казалось, все смыкалось и сплеталось между собою, и непросто было найти проходы. Их было много, они вели в разные стороны, то шли вверх, то опускались вниз, то немыслимо извивались. Вот почему среди этих громадных камней, в запутанной сети тропок посторонним людям было бы очень трудно найти Дом Вече. В нашей же группе дорогу туда знала лишь лошадь. Она вела нас, неспешно шагая впереди, осторожно ступая копытами. В ее больших глазах была печаль, разбавленная тревогой.

У дяди Джебеса лошадей перебывало много, при необходимости Шуай брал лошадь, и все они знали дорогу к Дому Вече. Одна из лошадей канатоходца более двадцати лет назад привезла сюда Арину Федоровну и Андрея, которому исполнилось сорок дней.

Все, кроме Андрея, пришли сюда впервые, об этом знали все, но старались не говорить, чтобы не напомнить лишний раз о том далеком печальном событии. И он молчал, погрузившись в свои мысли, может быть, представляя себе, как трудно было много лет назад пробираться по этим тропам матери, Шуаю и лошади... Впрочем, молчали и остальные, видимо, тоже вспоминали о беде, которая случилась с семьей Ясаба.

Лошадь привела нас к узкой тропинке, пролегающей над скалой, обрывающейся в бездну. Над тропинкой, по которой рядом не прошли бы двое, карнизом висела скала. Тут требовалось только идти вперед, не оглядываясь по сторонам, смотреть только под ноги. И лошадь ступала мелкими шажками, осторожно перестав-

ляя ноги, каждый раз убеждаясь, что копыто твердо упирается в землю. Нам оставалось только брать с нее пример. Вдобавок чувствовалась и разреженность воздуха, приходилось время от времени останавливаться, чтобы продышаться, затем вновь продолжить путь.

Мы прошли под козырьком скалы, перед нами открылась другая картина: нечто напоминающее площадку между скалами с огромной, отдельно стоящей скалой в середине. Мы поняли, что это и есть Дом Вече... Прежде всего наши взоры привлекла к себе острая вершина скалы, вырезанная в виде креста. Вершина скалы была скошена в одну сторону. Одна сторона совсем обвалилась и представляла из себя кучу камней. Здесь явно что-то произошло, чувствовалось вмешательство посторонних сил.

Лошадь пошла и стала у кучи тех камней.

Какое-то время все мы молчали, не зная, что сказать и что предпринять.

Первым заговорил дядя Балак.

– Шуай! Ты слышишь? – неуверенно крикнул он.

И правда, на зов никто не откликнулся, что никого из нас не удивило, как будто все заранее знали, что ответа не будет. Но мы также знали, что нигде в другом месте Шуая не может быть. Значит, произошло несчастье, осознание которого мы приняли по-прежнему молча и сдержанно. Мы обошли скалу кругом. С тыла, на северной стороне, как и на западной, мы ничего особенного не заметили. А с востока, в направлении к нашему селу, и с юга, к Ледовой горе, передняя сторона, где должен был находиться проход внутрь, скала обвалилась.

Учитель Ингар заметил под каменными обломками деревянный обрубок, хотел его вытащить, но у него не получилось.

– Теперь мне понятно, – сказал он, – почему ледниковый покров рано сошел с Ледовой горы.

– Мы здесь, а Ледовая гора вон где. О чем ты говоришь, учитель? – ничего не понимая, спросил дядя Ходжа.

– Землетрясения здесь не было, оно оставило бы следы. И в селе бы почувствовали... Здесь устроили взрыв. От его грохота и сошёл лёд с Ледовой горы... По всей видимости, взрывчатка была подложена спереди, под проходом в Дом.

Я вспомнил про один признак Дома Вачe:

– Дымоход от очага выходил в сторону села. Так я слышал от Арины Федоровны.

– Да, и я про это слышал, – поддержал меня Андрей.

– Возможно, в него и заложили взрывчатку, – предположил учитель Ингар, – эта сторона и обвалилась. Иначе даже землетрясение не произвело бы здесь такого разрушения. И динамит или другую взрывчатку подложили в достаточном количестве.

– А у кого есть динамит? – глядя на дядю Балака, спросил дядя Ходжа. – Конечно, у коммунистов.

– Почему ты смотришь на меня? – выразил свое недовольство дядя Балак. – Я рядовой коммунист. У таких, как я, не бывает взрывчатки.

– Что у тебя ее нет, мы знаем. А у коммунистов-начальников? Есть. О них я и говорю. Они ведь стараются, чтобы люди не шли на Гору. Запрещают ходить к тем мусульманским святилищам, а сами думают о том, как бы унести оттуда к себе старинные ковры. У них в мыслях одно: прежде всего, построить коммунизм у себя дома...

Дядя Балак ничего не ответил, только глубоко вдохнул и выдохнул несколько раз. То ли его потянуло вздохнуть, то ли ему не хватило воздуха, а может быть, и то и другое: в услышанном им была правда.

– Вчера я слышал, вот эти ребята тоже, – учитель Ингар кивнул на нас. – Говорят, на днях решением райкома к святилищам была тайно послана группа комсомольцев, чтобы взорвать... Тогда я не поверил, не придал особого значения тем разговорам. Но сегодня я готов поверить...

– Уничтожили то, куда никто не ходил, кроме Шуая, – сказал дядя Ходжа. – А от тех могут и следа не оста-

вить. Ведь скоро туда пойдут люди. Я слышал, что этому хотят помешать.

– Что случилось, то случилось, парни, – сказал дядя Балак. – Мы, кажется, забыли, для чего сюда пришли... Мы здесь в поисках Шуая. Подумайте, как вытащить его из-под этих камней. Все остальное обсудим, вернувшись в село.

Войти в Дом Ваче, где уже не было входа, представлялось сложным делом.

По обрушившимся скальным обломкам мы поднялись вверх, к вершине в виде купола. От взрыва под ним появилась трещина, достаточно широкая, чтобы пройти человеку. Через трещину можно было заглянуть внутрь Дома, но там царила полутьма и мы разглядели лишь камни и обломки скалы.

– Шуай! – вновь крикнул дядя Балак, теперь уже в трещину. – Надо туда спуститься и посмотреть, – сказал он, и повернулся ко мне: – Сходи, парень, принеси веревку, она на седле лошади.

Я принес веревку, ту самую, из машины дяди Ходжи, мне хорошо знакомую...

– Теперь повернись, подставь свой пояс, – сказал дядя Ходжа, взяв у меня веревку. Я догадывался, что спуститься вниз придется кому-нибудь из молодых, скорей всего мне, чему внутренне был рад: войду в Дом Ваче, пусть и в разрушенный.

– Дайте мне туда спуститься, – попросил Андрей.

– Я спущусь! – Песен взял за конец веревки и подергал, испытывая ее на прочность.

– Нет, вы гости! Кроме того, Песен, твои руки нам тут пригодятся, – сказал дядя Ходжа и добавил: – Мой родич и эта веревка старые знакомые...

И дядя Балак, и учитель Ингар согласились, чтобы вниз спустился я.

Надежно завязанный за пояс веревкой, я оперся обеими руками за края трещины и спустил внутрь ноги.

За веревку держались дядя Ходжа и Песен, за ее конец взялся и Андрей. Дядя Балак и учитель Ингар оста-

лись у края трещины наблюдателями, они понимали, что трое мужчин спокойно спустят меня.

Меня осторожно спустили вниз, и я почувствовал под ногами обломки камней, на которые встал.

– Я дошел! – крикнул я вверх, крутя веревкой, из окутавшей меня полутьмы.

– Мы еще спускаем веревку! – крикнул и дядя Ходжа. – Пока не отвязывайся.

– Темно! Плохо видно! – сообщил я наверх.

– И спички, и фонарик я оставил в машине, – услышал я сожалеющий голос дяди Ходжи. – А тут мы все оказались некурящими... Побробуй что-нибудь рассмотреть там! – крикнул он мне.

Осторожно ступая, я пошел вперед. Глаза постепенно привыкали к темноте. Я определил, на какой стороне меньше камней. Потом я увидел изображение распятого Иисуса Христа, и вспомнил, что о нем мне рассказывала Арина Федоровна. Я пошел в том направлении.

И тут я увидел в углу изображения (там получался и угол помещения) лежащего Шуая. Я остановился и замер.

– Ну что там? – от голоса дяди Ходжи я пришел в себя. – Есть?

– Есть! – ответил я.

– Обвяжи его веревкой под мышками!

Сердце у меня колотилось. Весь похолодев, чего-то страшась, я дотронулся до к Шуая. Мне казалось, что он сейчас вскочит. Но он был мертв. Вблизи него не было обломков камней, они его не тронули. Но тут было много фрагментов свечей. И другое привлекло мое внимание: напротив того места, где покоилась голова Шуая, в полутора метрах, остались черепки глиняной посуды и влажный след. Это я ощутил, поскользнувшись. Значит, здесь разбилась посуда с водой.

Я, взяв себя в руки, отвязал веревку от пояса, еще немного подтянул ее и положил на пол. Голова Шуая упиралась в угол помещения. Сунув под его плечи руки, я почувствовал что-то жидкое и тут же понял: это кровь.

Мои руки предательски задрожали, я уложил покойника на веревку. Он был тяжелый, едва ли он живым столько весил. Меня удивило то, что мертвый человек так заметно прибавляет в весе. В голове у меня пронеслась мысль: «У живого человека все то, чем живет его дух, его радости и печали, мысли и желания имеют свой истинный вес. Но дух, уходя из тела, оставляет в нем всю их тяжесть. А дух в живом человеке старается, беря на себя труд, больше не нагружать, свою оболочку, и так утомленную жизнью...»

Обвязав Шуая под мышками веревкой, я попытался на руках дотащить его ближе к щели, но на это у меня не хватило сил. Тогда я крикнул наверх, чтобы они потянули за веревку и за плечи подтащил покойника под щель. В падающей оттуда узкой полосе света я увидел, что кровь у него пошла из ушей.

– Поднимайте! – опять крикнул я.

С трудом удалось вытащить покойника через щель. Снизу я не мог повернуть его нужным образом – мои руки уже не дотягивались до его ног, сверху также не удавалось до него дотянуться. Голова покойника, покачиваясь, не попадала в щель.

– Ну-ка, парень, сунь туда свою голову! – донесся до меня голос дяди Ходжи. – А вы берите его за ноги.

И тут я увидел, что в щели повисли руки и голова Андрея, а дядя Балак и учитель Ингар держали его за ноги. Андрей, взяв покойника за волосы и за плечо, выровнял под щелью, после чего их вместе подняли наверх.

– Ты потерпи еще немного, мы отнесем его к лошади! – крикнул дядя Ходжа. – Только не бойся, мы тебя там не оставим, родич!

Я ему ничего не ответил.

Я решил осмотреть Дом Вече, пока они там управятся. Когда еще придется побывать здесь?..

Только теперь у стены, под изображением, я заметил что-то похожее на коробку, и угадал в нем покореженный сундучок, о котором упоминали и Арина Фе-

доровна, и дядя Джебес. Я посмотрел вокруг в поисках конвертов, однако ничего похожего не увидел. В уцелевшую другую стену были вбиты два коротких колышка с кольцами на концах. А под стеной лежали два светильника, формой похожие на купола, какие встречаются в горах: в старину в них зажигали сигнальные огни, предупреждающие о приближении неприятеля. Неожиданно я понял, светильники выпали из тех колец, что держались на колышках. Там же была четырехугольная дощечка, которую я разглядел, наклонившись. По словам Арины Федоровны я знал, что здесь находились две старые шубы и бурка. Одну шубу Шуай подарил маленькому Андрею, и она хранилась у них дома. А где же оставшиеся шуба и бурка? Поглядев вокруг, я увидел рукав шубы, придавленной большим камнем. Бурки нигде не было, наверное, она тоже оказалась под обрушившимися камнями. Бедность, даже убогость обстановки говорила о том, что когда-то по каким-то причинам здесь не сумели довести до конца начатое дело. Для этого, наверное, не нашлось человека... Я здесь ничего не тронул, понимая, что не имею на это права. Я только поднял с пола старую папаху Шуая, памятную мне с детства... Побывать здесь для меня было большим событием. Но мне нечему было радоваться: меня привел сюда не сам Шуай, а несчастье, унесшее его...

Сверху раздался голос дяди Ходжи, показавшийся мне неожиданным:

– Парень, где ты там? – он спустил в щель веревку. – Привяжи себя покрепче!

Я сделал, как он сказал. И меня втащили наверх. Дойдя до крыши, я вытянул вверх руки. Андрей с Песеном вытащили меня наружу.

– Я слышал, что там находятся письма, – сказал дядя Балак, взяв у меня папаху Шуая. – ты ничего не видел?

– Хотел их найти, но не нашел... Темно было. Сундучок был покореженный, я не стал его открывать.

– Он, когда немного подрос и пошел в школу, – сказал дядя Ходжа, – научился читать и писать, а это получа-

ется через семь лет, как забрали его отца, написал Сталину письмо, чтобы его освободили. А такие письма почтальон Чайгун, отец Шуая, говорят, возил сюда. – Повернувшись к дяде Балаку, он серьезно спросил: – Спустить туда еще раз родича, чтобы он поискал письма?

– Нет, не надо, – сказал дядя Балак. – Я просто хотел узнать, правду говорят или нет.

– Почему ты до сих пор не спросил у Шуая?

– Я не хотел своими расспросами доставлять ему лишнюю боль. Думал, пусть уж у меня одного болит сердце... Мы оба переживали, – дядя Балак глубоко вздохнул и отвернулся, уставившись куда-то в даль между вершинами. Он скрывал от нас свои слезы.

– Царствие небесное всем умершим отцам, дорогой брат, – сказал дядя Ходжа. – У тебя большое сердце. Ты стал мужчиной, когда написал это письмо. В семь лет. Ты сделал то, на что не каждый мужчина тогда осмелился бы.

– Ну, пошли, пошли! – вдруг заторопился учитель Ингар. – У нас сегодня много забот.

Тело Шуая завернули в бурку учителя Ингара, аккуратно положили на седло, с которого оно свисало руками и ногами по обе стороны, и привязали веревкой. По крутым спускам везти покойника было невозможно. Спуски в горах ничуть не легче, чем подъемы.

Обратно мы пошли той же дорогой.

Когда мы с прежней осторожностью шли по самой опасной тропинке над обрывом, спускающимся в бездну, из-за скалы вылетели два орла. Они гордо и плавно парили над нашими головами.

– Орлы! – не смея крикнуть, но, не сдерживая своего восторга, шепотом выдохнул Андрей.

– А какие большие! – шепнул и Песен. – Я не думал, что они такие большие.

– Наверное, догадались, что их старый друг уходит навсегда, – сказал учитель Ингар. – Прилетели попрощаться.

Разве он не был прав?..

Орлы сопровождали нас, пока мы не дошли до Хрустального озера, где стояла наша машина. Потом они взмылись ввысь и улетели в сторону Горы, исчезли с глаз. Мы положили покойника в кузов грузовика, постелив под него сено, взятое дядей Ходжей со стога на Одиноком лугу. Дядя Балак его папахой накрыл ему лицо. Мы помылись в озере, утолили жажду. Учитель Ингар сел на лошадь, а мы в машину: дядя Балак в кабину, остальные в кузов.

Мы поехали в село.

Учитель Ингар на лошади, короткими тропинками срезая путь, был в селе раньше нас, и ему предстояло сообщить сельчанам печальную весть.

Учитель Ингар, отдав лошадь хозяину, вместе с дядей Джебесом и с группой других мужчин вышли на окраину села встречать нас. Здесь ничего особенного не произошло. Глубокая печаль была на лицах мужчин, все горевали о безвременной кончине Шуая, понимали: без него село не будет прежним, оно станет каким-то другим.

Дядя Джебес на себя взял заботу о покойнике. Люди понимали, что нельзя покойника везти в его сгоревший дом. Поэтому дядя Джебес, по праву старшинства и ввиду особенно доверительных отношений с погибшим, чуть ли не приказным тоном сказал:

– Поезжайте к моему дому!

Мне казалось, что то же самое желал сказать каждый, кто вышел встречать нас, чтобы проводить покойника на кладбище из своего дома, как близкого человека, оказав последние почести.

Дядя Джебес сел в кабину рядом с дядей Балаком, остальные поднялись к нам в кузов.

Машина медленно поехала...

Село уже было оповещено о случившемся: на улицах мужчины пристраивались к нам и шли следом. Шли молча, опустив головы. Встречавшиеся нам маль-

чишки отходили в сторону и смотрели печально, со следами взросления. Они тоже знали, что в машине везут мертвого Шуая. А если бы он шел по улице живой, то они бы насмешничали и кидались в него камнями. Теперь же, видимо, жалели о том, что когда-то так поступали...

Шуая привезли в дом дяди Джебеса.

У него во дворе собралось все село, и мужчины и женщины. Я никогда не видел, чтобы на похороны собиралось столько народа. Пришли люди и из соседних сел. Потом мне бабушка сказала: когда погиб Чайгун, отец Шуая, народа тоже было много, хотя шла война и часть мужчин воевала.

Оставалось неясным: почему погиб Шуай?

Пересудов и предположений было много. Учитель Ингар считал, что причиной тому мог стать взрыв, кем-то устроенный в Доме Ваче. На это указывала и кровь, шедшая из ушей покойника.

Я, видя Дом Ваче изнутри, разделял предположение учителя. И рассказал об увиденном и дяде Джебесу, и другим, с кем приходилось говорить. Но дяде Джебесу подобные разговоры, о причинах гибели Шуая, в такой горестный день показались неуместными, и он предложил вернуться к этому после, когда в головах немного уляжется.

Сельскому столяру поручили приготовить для Шуая гроб, чтобы все было по его вере. Потом открыли стену склепа на старинном кладбище и похоронили сына рядом с его отцом и матерью.

Там я увидел и надмогильный камень с вырезанным на нем крестом. Его Шуай приготовил для себя...

Мне остается добавить, что на похороны Шуая приехали и Эдгем с Дилясой. У меня было ощущение, что все хотели в последний раз почувствовать присутствие его духа, потому что все понимали: с его уходом наше село лишилось чего-то большого, образца и источника доброты, некоей силы, которая нас, обычных людей, поднимала в высоту истинной человечности.

Стоит отметить, что на похоронах присутствовал и Бетих. Он оставался один, не примкнув ни к какой группе людей, пришедших на кладбище. Но мне казалось, что сегодня, из-за уважения к Шуаю, его бы никто не прогнал. А на следующий день Бетиха никто больше не видел. Говорили, что он ночью ушел из села. Но никто не знал, куда, да и не старался это узнать...

Вот еще на что обратили внимание сельчане: Вурдихан, отец Сардара, который обычно приезжал на соболезнование, когда умирал кто-то из односельчан, в этот раз не приехал. Никто не видел и Сардара. Поговаривали о том, что они сохранили обиду на Шуая за то, что много лет назад он в сельском клубе при всех уличил Сардара в воровстве. Возможно, были и другие причины их отсутствия, о которых никто не знал.

До села дошла еще одна плохая весть: совсем обвалилась Яма белой глины. Теперь требовалось откопать ее заново...

В тот же день, возвращаясь с кладбища, учитель Ингар повел Андрея и на могилу его отца. Андрей и так собирался ее посетить, но его отвлекли последовавшие события. Кроме того, он думал, что в селе это связано с каким-то обрядом и определенным временем. Учитель Ингар же ему просто сказал: «А теперь я поведу тебя на могилу твоего отца. Побыть там – твоя обязанность, сынок».

Вместе с ними пошли и мы с Песеном. Ни оказавшись на кладбище Улицы при воротах, расположенном ниже склепа Шуая, ни в минуты, проведенные у могилы Ясаба, ни возвращаясь оттуда в село, никто из нас не проронил ни слова. В нашем молчании была и печаль об утрате Шуая, и боль о судьбе Ясаба, память о котором хранили все, кто его когда-то знал, и что- то еще, связанное со всем этим и не передаваемое словами.

В селе, объятом непривычной тишиной, слышен был только печальный шум Большой реки.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава 1

Историю Шуая можно было бы заключить рассказом о его гибели и поставить точку. Однако оказалось, что ставить точку рано.

Эдгем с Дилясой поспешили уехать в тот же день, ни дядя Джебес, ни я не сумели поговорить с ними толком. Эдгем сказал, что с рукописями, переданными ему Шуаем, придется разбираться долго, а где потом их хранить, об этом он посоветуется, приехав в село. «Пока рукописи в безопасности, у меня им ничего не грозит, – сказал он. – Пока я жив, они никуда не денутся... Эти рукописи особенные, я бы сказал, бесценные...»

...Когда мы вернулись с могилы отца Андрея, у нашего дома прощаясь с нами, учитель Ингар сказал:

– Завтра будьте наготове. Мы поедем в Тагар.

Мы его поняли.

Учитель догадывался о переживаниях Песена, хотел, чтобы и он побывал на могилах отца и матери. Сам Песен не мог об этом попросить, когда село скорбело и было занято другим, что и почувствовал учитель Ингар.

И вот, на следующий день на машине дяди Ходжи мы поехали в село Тагар, на кладбище. Песен волновался: найдутся ли родные могилы? Можно было сначала заехать в село, и оттуда с кем-нибудь прийти на кладбище. Но Песен почему-то не хотел ехать в село. Мы поняли: ему тяжело появиться в селе, расспрашивать и искать отчий дом, которого не помнил. И кто знает,

сохранился ли их дом? Если не сохранился, опять-таки прибавится сердечной боли...

Песен считал, что могилы его родителей могут оказаться безымянными и собирался найти их по этому признаку. Но тагарцы оказались не теми людьми, чтобы забросить могилу своего знаменитого зурнача. У изголовья могил Уткема и его жены стояли высокие камни, вырезанные из скалы, с выбытыми на них именами.

Песен опустился на колени между двумя могильными холмиками, осевшими, заросшими травой, возложив на них руки, ничком упал на землю и так продолжал лежать несколько минут.

Потом он встал и, вытирая глаза, сказал:

– Извините... – Он крепко обнял сначала учителя Ингара, потом по очереди дядю Ходжу, Андрея и меня. – Такая тяжесть давила мне на сердце... И как легко стало... Спасибо вам, мои братья... Повидал родные могилы. Теперь и помереть не страшно...

– Царствие небесное умершим, – пожелал дядя Ходжа. – Читать молитвы мы не научены...

– Шелест крыльев орлов в наших небесах, журчание родников и потоков, которых у нас в изобилии, дуновение горного ветерка, колыханье трав и цветов да послужат молитвой всем, кто тут покоится, – сказал свое и учитель Ингар.

– Да, учитель, умеешь красиво сказать... – в восхищении заметил дядя Ходжа. – Ты недаром ешь свой хлеб.

Через два дня Песен с Андреем уехали в Москву. Опечаленные смертью Шуая, они посчитали, что так лучше. А намерения дяди Джебеса, дяди Балака, учителя Ингара принять их у себя дома решили оставить в силе до следующего их приезда. Теперь же в селе атмосфера была не та, чтобы сидеть в веселых застольях.

А пока всем в сердце вошла боль об утрате Шуая. Никто не верил в его гибель от несчастного случая, но

что было в действительности, также не мог сказать никто из мамухцев.

Через неделю дядя Джебес отправился в райцентр. Он хотел добиться расследования происшедшего в Доме Ваче. Но ни в одном из кабинетов к просьбе старого канатоходца, известного человека не отнеслись с должным вниманием и уважением. В райкоме партии ему сказали: «В горах произошло землетрясение, о чем свидетельствуют разрушение ледяного покрова Ледовой горы и обвал Ямы белой глины. Оно разрушило и тысячелетнее ветхое прибежище вашего юродивого и раздавило его. Это – несчастный случай. И то существо, исповедовавшее религию еще более древнюю, чем мусульманство, само олицетворяющее гнилую старину, человека, совсем отстранившегося от общества, сына отца, расстрелянного как дезертира и предателя, забрала из людской среды сама природа». Так сказал Вурдихан, второй секретарь райкома.

– Ты это серьезно говоришь? – не поверил своим ушам дядя Джебес.

– Да, – серьезно ответил секретарь, – это вывод райкома партии. Наши ответственные работники выезжали на место происшествия и все выяснили. И тебе не стоит над этим ломать себе голову...

Но дядя Джебес знал, что в Гору, к Дому Ваче, больше никто не ездил.

– Дорогой мой односельчанин, – мягко, желая тронуть сердце секретаря, заговорил дядя Джебес, – во-первых, погиб человек, который единственный помнил древнюю грамоту, во-вторых, разрушился древний исторический памятник. Разве не надо разобраться в причинах всего этого?

– Причины ясны, о них я тебе сказал... – холодно, словно говорил камень, ответствовал секретарь. – Конечно, лучше бы не было этого несчастного случая. Мы тоже сожалеем о гибели этого человека... С другой стороны, мы, все советские люди, должны оглядываться

не назад, в темное прошлое с его религиозными суевериями, а смело смотреть вперед, в светлое будущее коммунизма... Не ввязывайся в ненужные дела, Джебес. Успокойся и уезжай к себе в село... Забудь про старое. Думай о будущем.

Дядя Джебес не успокоился, давая понять, что он кое-что знает и, пытаясь кое-что выведать у Вурдихана, сказал:

– В село дошли слухи, мол, за день до того, как погиб Шуай, в Гору отправилась группа комсомольцев... Молодые, они... Может, они что-то натворили?

У Вурдихана, как передают, поднялась правая бровь, но не меняясь в голосе, по-прежнему холодно, отчеканивая слова, он ответил:

– Да, мы отправили комсомольских активистов в Гору. Но не к обители Шуая, а к мусульманским святилищам, таким же гнилым остаткам старины. Но потом их вернули обратно. К обители Шуая, кроме него самого, никто не знал дороги, и никто другой там не бывал. Нас волнует, что некоторые люди, продолжая оставаться в плену предрассудков, ходят на мусульманские святилища. Однако мы их не тронули... Ты вот их убеждай, скажи, чтобы не ходили.

– Я на то какое имею право? Запрещать людям ходить туда, куда они хотят. Это твоя работа.

– Ты прославленный атлет и канатоходец. Молодые тебя послушаются... Я помню, как ты, поднявшись на канат, читал стихи про Сталина...

Дядя Джебес понял, куда клонит Вурдихан, но он был не из тех, кто легко поддается на лесть.

– Сталин никому не запрещал ходить в горы, – он не оставил слова секретаря без ответа. – Ходить на святилища – один из народных обычаев, от которого никому нет вреда... Люди думают, что тем самым очищают себя от нехороших помыслов, низких желаний. Что тут плохого? И больше самих святилищ молодых тянет красота гор... Каждый раз, поднимаясь на канат, я чув-

ствовал себя окрыленным. Точно так же чувствует себя человек, когда поднимается на горные кручи и оттуда смотрит на мир, оставшийся внизу. Разве плохо обновиться духом, вернуться к себе окрыленным, полным желаний?.. Ты поднимаешься только по карьерным ступеням, Вурдихан! Один раз поднимись-ка тоже на нашу Гору. Может, тогда поймешь тех людей.

– Уходи. Уходи! – Вурдихан взглянул на часы. – У меня нет столько времени говорить с тобой...

Дядя Джебес, убедившись, что справедливости ему здесь не найти, вышел от второго секретаря райкома и приехал домой. Он понял: власть не любит, когда касаются религии, здесь подобные вопросы не решаются ...

...Признаки того, что Шуай не совсем ушел из жизни села, давали о себе знать и годы спустя после его смерти.

В последующем его имя всплывало и в некоторых событиях в жизни людей, которых я принимал за родных, кто каждый по-своему был связан с Шуаем, и о ком я рассказываю в этих записях. Можно сказать, что Шуай как бы оказывался участником тех событий.

Кроме всего этого, ведь оставались старинные рукописи, которых касались руки Шуая. Они находились у Эдгема Шахшана...

Нет, Шуай не совсем умер.

От него осталось и другое, о чем знал только дядя Джебес...

Да еще о многом придется рассказать.

Итак...

Глава 2

Шло время.

Великие события совершались в мире.

Распалась великая страна – Советский Союз, что и в плохом сне никому не снилось. Люди стремились не к распаду страны, а хотели перемен – они, словно подхваченные вихрем, надеялись сбросить с себя тяжелый груз и обрести свободную, благополучную жизнь. Они стремились не к распаду, а к разрушению закостеневших властных механизмов. Да, хотели свободной и обеспеченной жизни, хотели, чтобы можно было говорить, что думаешь, ехать туда, куда хочешь, заниматься тем, чем хочешь. Меньшинство, может быть, думали развалить страну, а большинство верило в лучшее, которое грядет... И обманутый в своих надеждах народ, которому вскружили голову, пошел за меньшинством... Были и те, кто криком кричали, предупреждая о великом зле, но их не услышали...

Страна распалась. Люди, опомнившись и оглянувшись, увидели, что их обманули. Настало время лжи и продажности, воровства и грабежа. Позабылись слова «справедливость», «честь», «совесть», «дружба». «Освободившийся» народ оказался раздетым до нитки. Народ, прежде живший в великой стране, оцепенел, не зная, что делать с доставшейся ему голой свободой. Между людьми воцарились волчьи законы...

Народы, которые прежде назывались братскими, теперь поднялись на войну друг против друга. Столетиями народы жили бок о бок, по-соседски, развивали куначество – укрепляли дружбу взаимопомощью и гостеприимством. Добрые узы всегда перевешивали злые, но в какой-то момент, столкнувшись с общими проблемами, эти народы словно забыли о дверии: дружба отошла на второй план, и вместо взаимопонимания возникло настороженное, враждебное отношение. Ясно, нет добрососедства без доверия и уважения.

Если решаешь свои проблемы за счет другого, нет справедливости. Как отдельный человек, так и целый народ может быть несправедливым, а это приводит к мысли, что такой народ исторически незрел, корни его неглубоки, он не вырос собственно до уровня, чтобы называться народом...

...Правобережье Срединной реки вошло в состав новообразовавшегося государства. Большая часть лезгин, древнего народа, исстари живущего на своей земле, оказалась в составе нового государства, а другая часть – в составе России. Разделить народ – все равно что рассечь живой организм. Государственная граница пошла по Срединной реке. И река, действительно протекающая посреди лезгинской земли, всегда воспринимаемая как символ лезгинского народа, теперь превратилась в символ его несчастной судьбы... Разделенный народ – это народ глубоко израненный. Но пока народ жив, он будет стремиться к объединению. Когда думаю о судьбе лезгинского народа, мне вспоминается такая притча.

Толпа нарядно одетых людей направлялась куда-то, чтобы веселиться. Дойдя до речушки, не могли перейти на другой берег. Люди не желали разуться, чтобы перейти речушку вброд, и не додумались до того, чтобы собрать камни, бросить их в воду и перейти по ним. И тут появился человек, с добрым сердцем, готовый оказать им услугу, он сказал: «Я перекинусь мостом через речушку, а вы пройдите по мне». Люди согласились и по очереди стали по нему переходить на другую сторону. Но один из них, оказавшись на его спине, начал бить по ней пяткой, приговаривая: «Почему ты сгорбился, лежи прямо!..»

Что тут сказать, и как поступать?..

В наше время лезгинский народ подобен тому доброму человеку, решившему помочь людям. Он мостом перекинулся между двумя государствами, но вместо благодарности и понимания получает пинки да удары, и слышит окрики: «Лежи прямо!»...

...Дагестанские газеты сообщили тревожную весть.

На фоне развала страны случилось первое горе, коснувшееся и меня и всего нашего села.

«...К югу от Срединной реки, в столице нового государства в своем доме убиты коренной дагестанец, известный ученый Эдгем Шахшан, его жена и мать. Ничего неизвестно о судьбе дочери ученого, которую считают пропавшей без вести». Такое сообщение печаталось в газетах.

В то время мобильные телефоны еще не получили повсеместного распространения. Из Махачкалы я позвонил в село, в школу. Решил расспросить учителя Ингара, но его не оказалось в школе. Получив черную весть, он и дядя Джебес поехали в Баку. Туда же отправились дядя Балак и дядя Ходжа на незаменимом ЗИЛе последнего.

– Они быстро собрались и поехали, – сообщил мне директор школы. – Но машину Ходжи не пропустили через границу, на нее не оказалось документов, их никогда и не было. Он вернулся обратно, остальные еще не вернулись. И неизвестно, когда они приедут... По словам Ходжи, покойников будет сложно перевозить через границу и, скорее всего, их там и похоронят...

Как я узнал впоследствии, так и случилось.

На границе их долго продержали за ограждением из колючей проволоки. Дядя Джебес не выдержал и устроил целую потасовку с работниками контрольно-пропускного пункта, товарищам с трудом удалось вызволить его. Чтобы и на обратном пути не подвергаться неожиданным неприятностям, дядя Джебес предложил похоронить их там, где они жили, заявив: «Тут тоже наша земля». Потому они и задержались...

Я ждал возвращения дяди Джебеса в село, о чем мне должен был по телефону сообщить директор школы...

Работа не клеилась, у меня все валилось из рук. Я вышел на бульвар Сулеймана Стальского, к памятнику поэта. (Бульвар находится рядом с моей работой.)

Пожалуй, это было единственное место в городе, куда меня тянуло как в радостные, так и в печальные минуты жизни. И мне здесь всегда казалось, что бронзовому Сулейману открыты и понятны сердца всех, кто сюда приходит. Неожиданно его голос проникал в самое сердце, и знакомые строки стихов звучали иначе, обретая неведомый прежде смысл...И я получал внутреннюю силу, чтобы не падать духом и двигаться вперед...

Поприветствовав поэта, я отошел к краю бульвара и стал смотреть в морские дали.

Лето. Ясное небо вдали сливается с морем. И небесам, и морю нет никакого дела до того, что происходит на земле. Они словно говорят: «Мы сами по себе и вы, люди, сами по себе. Сами решайте свои проблемы...» Единственное: чайки. Они встревожены, стремительны, кружатся не только над морем, они летают над всем городом, их увидишь даже над горой Тарки-тау. Что их тревожит, трудно объяснить...

Происходящие перемены коснулись и памятника великому поэту.

Здесь появилось много нищих и просителей подаяния. И чуть ли не все они были из новообразованных государств. В большинстве своем женщины с детьми, с младенцами на руках.

Вернувшись, я присел на скамейку напротив памятника Сулейману Стальскому.

Неожиданно со стороны улицы Пушкина раздались автоматные очереди, засигналили автомобили, радостно закричали люди, заиграли темпераментную музыку. И я увидел, что колонна легковых автомобилей въехала на бульвар и остановилась.

Это был всего лишь свадебный кортеж. В двух открытых машинах находились парни с автоматами. Пока жених с невестой и гости сходили на землю, те двое дали несколько очередей в небо, словно оно сделало им какое-то замечание, они же наказали небо за

это. Жених с невестой, сопровождаемые нарядной толпой и музыкантами, направились к памятнику Сулейману. Сначала отдельно сфотографировались жених с невестой, а потом со всеми остальными. В этой веселой нарядной толпе я увидел и старого знакомого – Сардара, хорошо одетого, ступающего важно. «И женится, конечно, сыночек какого-то туза, – подумал я. – Не все могут позволить себе строчить из автоматов. Это из тех, из «хозяев жизни»...

Да, теперь и Сардар дружил с такими. Я слышал, что отец купил ему должность в правительстве республики (Говорили, что по-другому на хорошую должность не устроишься).

Человек, вместе с которым я рос и десять лет учился в школе, никакого теплого чувства не вызвал в моем сердце. Наоборот, мое сердце, куда я всю жизнь пытался не впускать неприязнь (урок бабушки: «Смотри, сынок, никогда не давай места в сердце неприязни к другому человеку!»), неприятно встрепенулось, и утихомирить его мне уже не удавалось. Он меня не видел. А если бы и увидел, я знал, сделал бы вид, что не узнал.

Сардар, широко улыбаясь, помахивая руками, что-то говорил девушкам, фотографировался то с одной, то с другой. Потом он подозвал одного из парней и сделал рукой красноречивый жест. Тот пошел к машине, вернулся оттуда с бутылкой шампанского и открыл ее. Из девушек одна также засеменила к той машине и принесла фужеры. Сардар взял бутылку и наполнил фужеры, вино переливалось через края.

Отдыхающие на бульваре отходили в сторону и смотрели на происходящее, а сами участники свадебной церемонии как будто никого не замечали. Их поведение и манеры буквально кричали о собственной исключительности: будто в мире не было никого красивее, богаче, умнее и значимее их.

Одна пожилая женщина со стороны даже выкрикнула:

– Под этим памятником могила поэта! Подобное поведение здесь неуместно!

После этих слов участников церемонии словно обдало холодной водой, они притихли, стали говорить тише. И тут раздался голос Сардара.

– Ничего страшного! – сказал он, вытянув руку вперед, стукнул фужером о край постамента, добавил: – Он и сам был бы не против, – и громко засмеялся.

И среди девушек раздался смех. Вооруженные парни вновь вскинули свои автоматы (они были из тех, кто любит продемонстрировать свой воинственный дух), но жених остановил их жестом руки. Они с невестой, ничего при этом не сказав, обогнули памятник и направились в сторону моря. Остальные последовали за ними. Несколько девушек оставили у памятника красивые букеты цветов.

Жених с невестой и все сопровождающие их сфотографировались на фоне моря, налитые фужеры они допили, стоя у ограды бульвара. Потом они вернулись, сели в машины и, подняв пыль, с шумом, с автоматными очередями уехали.

На бульваре вскоре стало мало людей. Я опять услышал крики чаек, они вновь были встревожены. Удалившись от моря, они кружили над постройками на окраине. Что их тревожило? Было непонятно... По берегу моря были кафе, площадки с выставленными столиками, шашлычные. Оттуда несло не бодрящим запахом моря, а шашлыками и мангальной гарью. Наверно, это не нравилось чайкам...

Теперь на бульваре появилась другая компания, толпа просителей подаяния: пять или шесть женщин в длинных пестрых, но поблекших от старости платьях, с младенцами на руках, и десять-пятнадцать босоногих мальчиков и девочек. С ними была девушка лет шестнадцати, которая ничем не походила на остальных. Она сняла с головы платок, такой же полинявший, как и у остальных, и держала его в руке. Длинные черные воло-

сы спадали ей на плечи, сама она была в светло-синей маечке. Она скинула большую юбку, в крупных цветах, и осталась в легких, еще не старых брюках серого цвета. На ее ногах были белые босоножки. В отличие от своих товарок, смуглых до черноты, она была белолица и миловидна. Женщины, что-то говоря по-своему, протягивали руки и просили обычное подаяние у прогуливающихся. А белолицая девушка не просила. Снятые с себя платок и юбку она отдала кому-то из девочек. Женщины закричали на нее, постучали кулаками по бокам. Пытаясь говорить то по-тюркски, то по-русски, они, кажется, объясняли ей, что надо просить, как это делают остальные дети. Но белолицая стояла, печально опустив голову и вытирая глаза. Женщины, поворчав еще, отошли от нее. Но тут взгляд одной из них остановился на памятнике поэту, она схватила девушку за руку, потрясла ее и что-то сказала, показывая на памятник. А две девочки, быстро подбежав, забрали букеты, оставленные у памятника. Они стали предлагать купить их прогуливающимся.

Одна из них подошла и ко мне.

– Купите своей жене цветы! – фамильярно, как старому знакомому, коверкая русские слова, сказала мне девочка-подросток.

– Твои цветы краденные, – сказал я. – Они мне не нужны.

– Я их не крала, а взяла вон там, – девочка указала на памятник.

– Значит, это его цветы, а не твои. Иди и положи их на место.

– На что памятнику цветы? Он же не живой, – посмеявшись над моей наивностью, девочка отошла.

Компания попрошаек направилась в глубь бульвара, где людей было больше. Белолицая девушка почему-то не пошла с ними. Оглянувшись по сторонам, опустив глаза, она несмело зашагала в мою сторону. По ее поведению было видно, что она хотела уйти от своей компании и нуждалась в помощи.

Щеки и лоб девушки были в густых комариных укусах, значит, ночевала с малыми удобствами.

Остановившись примерно в трех шагах от меня, она приподняла голову и хотела что-то спросить, но только посмотрела на меня своими большими, красивыми, серовато-зелеными и полными печали глазами.

Видимо, она заметила, как я изменился в лице.

А мне показалось, что я знаю эти глаза, что они мне близки. И черты ее лица тоже. По моему телу пробежала холодная дрожь. Я вскочил.

Голос девушки, заговорившей по-русски, заставил меня вздрогнуть, он тоже был знакомый.

– Дядя, вы не лезгин? – спросила она.

У меня не было причин не верить своим глазам и ушам. На глаза мои навернулись слезы, к горлу подступил ком, который мне с трудом удалось проглотить, запинаясь – мне не хватало воздуха – я выговорил:

– Ты же дочь Эдгема и Дилясы? Эсмер!

Девушка, никогда в жизни не видевшая меня, но которой внутренне чувство подсказало, что я свой, зарыдала и бросилась мне на грудь. Я не знал, какими словами ее успокоить, да и не нужны ей были сейчас слова...

Глава 3

Я привел Эсмер к себе домой.

Мы с женой оказались первыми, кто как-то постарались ее успокоить и утешить, и это было нелегко. Эсмер была точной копией своей матери – такой же умной и красивой, но как она ни старалась собраться силами, слезы все равно катились из ее глаз. После того, как она сумела вынужденно сбежать из дома, у нее не было возможности даже выплакаться. Нам оставалось одно: не мешать ей...

Мы не решались расспрашивать ее о беде, которая случилась с ее семьей.

Мы ждали, и она сама рассказала обо всем, что знала и видела:

– Я в нашем саду сидела под деревом и читала книгу. Я знала, что у нас гости. Они пришли не так давно. Вдруг в окне, выходящем в сад, появилась голова бабушки. Она громко, страшным голосом закричала: «Беги, дитя, беги! Нас убивают! Уезжай в Дагестан! В село!» Я увидела, как голова бабушки упала на подоконник. Какая-то сила подхватила меня, и я побежала. Я не подумала о знакомых родителей, в голове у меня было одно: «Уезжай в Дагестан! В село!»

...Надо было исполнить последний наказ бабушки. Но у Эсмер не было ни денег, ни документов. Она нашла единственный выход: примкнуть к группе попрошаек, которых теперь стало много. На такую группу она натолкнулась на вокзале: женщины в длинных, пестрых, старых платьях, с детьми. Они привычно просили подаяния. Они говорили на азербайджанском и других языках, может быть, персидском и курдском, в этом Эсмер не разобралась. Но по разговорам она поняла, что группа собирается перебраться в Россию. «Хозяевами» группы были двое мужчин, черных, худощавых, с синими губами, с маслянистыми и хитрыми глазами. Одного из них Эсмер попросила, чтобы ее вместе с другими взяли в Россию. «Деньги есть?» – спросил мужчина. «Нет». – «Ты армянка?» – «Нет». – «А кто же?» Эсмер хотела сказать, что она лезгинка, но что-то ее удержало. «Я сирота», – ответила она. Скажи она, что лезгинка, те могли остеречься и не взять ее с собой понимая, что и тут, в Азербайджане, и там, в Дагестане, у нее найдутся заступники. «По-русски говоришь?» – спросил другой мужчина. «Говорю», – ответила она. «Документы есть?» – в руках у нее ничего не было. «Нет. Я сирота. Бегу из детского дома». Первый мужчина с головы до ног окинул ее взглядом и на своем языке что-то сказал товарищу и женщинам. Эсмер поняла только одно слово: «кахба» – «проститутка».

Эсмер поняла, что у этих людей недобрые помыслы, но ей во что бы то ни стало надо было перебраться за границу. А на той стороне, она знала, найдется человек, на которого можно будет положиться.

– Мы повезем тебя в Дагестан. Но ты сделаешь все, что мы скажем.

– Хорошо, – склонив голову, согласилась она.

– Ты учи их, – мужчина показал на детей, – русскому языку. Таким словам: «дай», «я голодный», «ради Аллаха» – и другим подобным. И сама показывай пример, проси, если не хочешь умереть с голоду.

– Хорошо...

Чтобы их взяли в российский поезд, с проводниками говорили те двое мужчин. Их пустили в проход последнего вагона и только. Здесь народу набилось много, стоял шум и гам. Даже на самых верхних багажных полках лежали люди. Двое синегубых тоже поднялись на такие полки и легли. Женщины сложили свои узлы в углу прохода.

– Пойдем, – сказала одна женщина с младенцем на руках Эсмер, когда поезд тронулся.

– Куда? – не поняла она.

– Как куда? Пойдем работать! Просить!

Эсмер взглянула на мужчин на полках. Они жестами подтвердили: иди, иди! И она пошла с остальными женщинами, иного выхода у нее просто не было. Однако подавали плохо, их вышучивали. Детей просили петь или показать, на что они способны. Они пели и показывали всякие трюки, за что получали какие-то копейки.

Эсмер не могла просить, она просто так следовала за остальными...

В одном вагоне она почувствовала на себе взгляд пожилой женщины и испугалась, что она будет бранить ее за попрошайничество, и опустила глаза.

– Ты русская? – спросила женщина. Она и сама была похожа на русскую.

– Нет, – ответила Эсмер.

– Сбежала из дома?

– Нет, я еду к родственникам. В Дагестан.

Женщина, видимо, ей не поверила, под ее взглядом она вновь потупилась, скрывая появившиеся на глазах слезы.

– Едешь без вещей, без ничего? – не отставала женщина. – Не говори, если не хочешь... Ты не голодна?

Эсмер ниже опустила голову.

Женщина дала ей ломоть хлеба с сосиской.

– Поешь, деточка... Весь мир сошел с ума...

На границе поезд стоял долго. Вывели всех безбилетных пассажиров. По вагонам прошли люди в униформе. Когда они ушли, все полезли обратно в вагоны.

Эсмер хотела, никому ничего не говоря, в Белиджах сойти с поезда. Оттуда она готова была даже пешком отправиться в Мамух. Но присевшая в тамбуре с остальными, утомленная и ослабевшая, укачанная движением поезда, она заснула. А когда проснулась, узнала, что они проехали Дербент. Оставалось дождаться приезда в Махачкалу. Она подумала, что там она найдет меня. Обо мне она знала от отца с матерью, знала также, что я живу в Махачкале.

В Махачкале двое мужчин повели их всех на лужайку на окраине города, у самой железной дороги. Из шалей и какого-то тряпья, натягивая их на палки, они устроили подобие палаток. Под таким навесом можно было сидеть вдвоем или втроем, поджав ноги.

Двое мужчин в тот вечер куда-то ушли и вернулись довольные.

– Мы нашли для тебя работу, – сказал один из них Эсмер. – Завтра вечером сюда придут твои хозяева. Ты будешь жить у них и помогать по дому. Голодной не останешься. Они не хотят чернявых девушек, как у нас, а хотят белую. Просить ты стесняешься, тебе так будет лучше...

Эсмер понимала их замысел, помнила и слово «кахба», произнесенное в ее адрес. Но она решила остаться

здесь до утра, в незнакомом городе ночью ей некуда было идти.

И она переночевала на стоянке попрошаек. Ее разместили в палатку с двумя девочками-подростками. Но спать ей не дали комары. Удивительное дело: они без конца нападали на нее, а девочек, казалось, вовсе не трогали, так крепко они спали.

На другой день двое синегубых мужчин привели их компанию на бульвар имени Сулеймана Стальского, а сами ушли, перед тем предупредив Эсмер:

– Смотри, учи наших детей русским словам, каким – тебе уже сказано...

У памятника Сулейману Стальскому Эсмер решила действовать и освободиться...

Глава 4

Эсмер надо было приодеть, прежде чем везти ее в село. Заботу об этом взяла на себя моя жена, повела ее на базар (тем самым давая ей хотя бы немного и развеяться), а базары в ту пору были особенно богатыми как никогда.

Девушка, совестясь, противилась тому, чтобы мы ей что-то покупали: «Не надо, все нужное мне купит дедушка Джебес, а вы не утруждайте себя. Купите только черный платок, больше мне ничего не надо».

Однако моя жена с материнской заботой купила ей не только траурное одеяние, но и все то, во что она оденется после окончания траура.

К вечеру следующего дня мне позвонил учитель Ингар и сообщил, что они приехали в село. Я же сообщил ему, что нашлась Эсмер. «А все-таки есть Всевышний, парень!» – вырвалось у учителя, привыкшего объяснять мир физическими законами. Что я мог сказать? Тут я думал так же, как и он...

Через день мы с Эсмер поехали в Мамух. Все село побывало в доме дяди Джебеса, и из соседних сел приходили на соболезнование.

Мужчины с мрачными лицами, сидевшие во дворе старого канатоходца, увидев Эсмер, встали и расступились, давая ей дорогу (все знали, что она дочь Эдгема Шахшана).

Терраса вокруг большого дома была заполнена женщинами в черном. Они смотрели на нас через перила, били себя в грудь. Эсмер, до сих пор державшаяся, зашлась в рыданиях, она побежала и бросилась к дедушке. Дядя Джебес молчал, прижимая к себе Эсмер... Тут появилась его жена, тетя Тургуя. Плача и проклиная врагов, оставивших племянницу сиротой, она оторвала ее от дедушки и увела к женщинам на террасу. А там поднялось такое, что я даже испугался за Эсмер. Хорошо, что там была моя бабушка. Умеющая быть терпеливой, как никто другой, умеющая утешить и сердце, обугленное горем. Она знала, что я приехал и, прислонив к глазам ладонь, искала среди мужчин меня. Я помахал ей рукой, и она увидела меня. В плаче и причитаниях услышать сказанное было невозможно, но мы, как всегда, без слов понимали друг друга. Я жестами дал ей понять, что надо взять Эсмер под свою защиту. Она кивнула головой: поняла, – повернулась и пошла. Я почувствовал некоторое облегчение...

Глава 5

Поздно вечером, когда народ разошелся, дядя Джебес пригласил тех мужчин, которые еще оставались во дворе, к столам, расставленным на той стороне террасы, откуда виднелась вся нижняя часть села и ведущая к нам главная дорога.

– Вы весь день простояли во дворе, поешьте! – предложил хозяин и, показывая пример, положил в

рот кусок хлеба. Съестного и вкусного на столах было больше, чем достаточно, однако к нему рука ни у кого не потянулась. Угощаться по такому поводу мужчинам казалось даже чем-то зазорным... Гнев и боль – вот чем были полны их сердца. А еще они испытывали чувство унижения из-за своего бессилия, потому большей частью молчали, хмурясь и склоняя головы.

Оставалось еще много женщин, уже не было прежнего горестного плача и причитаний, суетясь, они перекидывались короткими фразами. После пребывания в доме большого количества людей прибавляется хлопот, а тут надо было подготовиться и к завтрашнему дню.

Бабушка ушла, а перед тем наконец-то сумела обнять меня. Прильнув к моей груди, проговорила: «Горе какое, сынок! Великое горе! Словами не передашь...» Потом она ответила на мой не заданный вопрос: «Эсмер успокоилась... Умный и совестливый ребенок, да воздастся ей счастьем, не полученным матерью и отцом... Шуая нет, они остались без его молитв... Его, святого человека, молитвы охраняли и это село, и его людей... что делать, сынок? Случившееся не исправишь... Мы обо всем поговорим дома...»

У меня было много вопросов к дяде Джебесу по поводу случившегося. Я понимал, что он успел со многими переговорить до моего приезда. И те вопросы, которые волновали меня, ему наверняка задавали и другие сельчане. Вновь беспокоить его сердце, и так переполненное горем, я не хотел, а потому молчал...

Молчание за столом становилось слишком тягостным, надо было что-то говорить, хотя бы словами облегчая сердца.

– Получил телеграмму от Андрея с Песеном, – сказал дядя Джебес. – они тоже знают...

– Об этом знают все, – сказал я, – и пишут, и говорят...

– Вероломные негодяи, на что оказались способными! А ведь хорошие знакомые...

– Как? – оторопел я.

– Расскажу с самого начала, чтобы все знали... Чтобы не хранить только в своем сердце... О случившемся мне сообщил телеграммой сосед и близкий человек Эдгема. Лезгин... Поехали мы: я, Балак, Ингар на машине Ходжи до «Золотого моста». На ту сторону машину не пустили, на нее не оказалось документов...

– Зачем мне документы на своей земле?.. У моей машины их никогда и не было! Пусть сторонние имеют документы и показывают их, когда надо! – Дядя Ходжа сегодня целый день молчал. А тут не удержался, выплеснул свое возмущение по поводу того, что ему не дали проехать через границу. – Как будто все остальные, кто проезжает через этот мост, имеют документы! Требуемый там главный документ – деньги! Сунул бы им, без слов пропустили бы, кабаньи дети! – Дядя Ходжа так и закипел. – Ничего! Мы посмотрим, как долго все это продлится. Тем, кто там сторожат, я обещал: когда-нибудь я все равно проеду по тому мосту на своей старой машине, посадив в нее людей с флагами! Пока этого не сделаю, я не умру!..

Дядя Джебес продолжил:

– Нас долго продержали на таможне... Ну да, я не выдержал... В конце концов, меня поняли, не тронули... Может, остереглись или оказали уважение моему возрасту, но нас пропустили.

Семья Эдгема жила в поселке на окраине Баку, на большой улице, проходящей по косогору, где были частные дома. Мой брат купил там дом незадолго до своей смерти. Сам не успел там пожить... Просторный, хороший дом, в два этажа, с подвалом...

Когда мы приехали, покойников там уже не было, их увезли в морг. Оставались следы крови. В гостиной на столе стояла чайная посуда с недопитым чаем. Четыре стакана. Двоих гостей и Эдгема с Дилясой. Вдова моего брата, уединившись в своей комнате, смотрела телевизор. Сосед мне сказал, что потом он выключил

телевизор... По тому, как гости вошли в дом, как вместе с хозяевами сидели и пили чай можно предположить, что они были хорошо знакомы. К этой мысли пришло и следствие. Но кто они, откуда, почему приходили – никто не знает. И нет никаких следов, которые вели бы к ним... Приехали они в солнечный день, на черном джипе, на нем потом и уехали. Из свидетелей одни утверждают, что на нем не было номеров, другие – что они были прикрыты... И на стаканах гостей не осталось отпечатков... Из вещей они ничего не тронули, если не считать, что исчезла книга, подготовленная Эдгемом к печати, и рукописи Шуая...

После развала советской страны я просил Эдгема приехать. Колесо мира неверно закрутилось, сынок, говорил я, вернись на родину. «Милый дядя, отвечал он, – в древности здесь тоже жили наши предки, эта земля полита их потом и кровью. Если я уеду отсюда, не получится ли, что я их бросил, предал?» Как мне показалось, он по-своему был прав, но это не успокоило мое сердце.

Как-то я поехал к нему в гости. Услышанное тогда от вдовы брата и от Дилясы не могло меня не встревожить. Оказывается, Эдгему звонили неизвестные и угрожали. Не называя себя, они предупреждали: «Не пиши об истории Кавказско-Албанского государства! Оно было не лезгинское, теперь оно наше...» Другие звонили и настаивали, чтобы он продал им древнюю рукопись, полученную от Шуая. А он, вместо того чтобы быть осторожным, вел себя независимо, предаваясь минутным радостям... Не следовало ему кому-либо показывать эту рукопись... Теперь, когда изменилось время, изменился и тот, на кого опирался Эдгем. («Неправильно, – подумал я, – он не изменился, а всегда был двуличным».) Тот человек не забыл про драгоценную рукопись, широко оповестил о ее существовании. Появились те, кто хотел использовать ее в своих целях, затем продать за большие деньги или просто «затерять»... Хотя Эдгем начал говорить, что рукописи у него уже нет, он вернул ее хозяину, ему не поверили.

Тогда я ему твердо сказал: «Вернись, парень, в Дагестан! Или уезжай, в какое хочешь, другое место. Но здесь не оставайся! Здесь наступит беззаконие, не будет справедливости, плохо придется и лезгинам, и другим малым народам. Здесь не дадут тебе жить». А он мне ответил: «Мне нет места роднее, чем здесь, дядя! Это ведь наша земля, родина наша. Так было и до прихода иноземцев, которые стали чувствовать себя хозяевами». Потому-то мы и решили похоронить их там, а не везти через границу, через этот грязный и продажный «золотой мост», опозорившийся на весь мир беззаконием, которое там творится по обе стороны. Государственные служащие, там находящиеся, облеченные властью ответственные лица превратили мост в кормушку для себя, у них не осталось ничего праведного, они даже за провоз покойников взимают деньги... – Дядя Джебес, покачивая головой, горестно вздохнул. – Я предложил Эдгему увезти рукопись, чтобы хранить здесь в безопасном месте. Он сказал, что перенесет ее в компьютер, потом сам привезет ее и оставит мне на хранение. Не сумел. Не успел... Что теперь делать? Как справедливости, так не найдешь и исчезнувшей рукописи, из-за которой погибли люди...

Старый канатоходец опять замолчал. Лицо его покрылось морщинами, седые брови нахмурились. Заметно было, что он изо всех сил пытается унять внутренне волнение, однако это ему не удалось.

– Да, братья, сыны мои. На той стороне те, кто возвысился и чувствует себя хозяевами жизни, возгордились, ставя себя выше коренного народа, творя неслыханное. И так, в одночасье, люди разве могут перемениться, оглупеть?! Для них все кругом, весь мир, вся история, начиная с Адама, и будущее, никому еще не ведомое, все стало «бизимдиром»[1]. Они, высосав из пальца свое величие, знаете, на чем это основывают? Считают, что наши отщепенцы, забывшие родной язык

[1] *Бизимдир (азерб.)* – это наше.

и корни свои, наделили их народ «албанским геном»!.. И пыжатся, считая себя потомками древних кавказских албан... Но как, скажите, те, кто оторвался от своих корней, забыл свою историю, могут передать ее другому народу? И они, отступники и изменники, «сделают» историю тому народу? Ведь они стали такими именно потому, что потеряли тот самый «ген». Тут нет, чем гордиться, безмозглые! Бедолаги, создавая себе историю, опирающиеся на тех, кто потерял себя!.. И получится ли у них? Нет, не получится! «Албанский ген» – это наше. Это наше семя... – Дядя Джебес вздохнул, покачал головой. – Но это еще не все. Они, те самые «бизимдиры», предательство наших представляют «братством». Нашим, иным лезгинам, ничего не имеющим за спиной кроме чистоты и человечности, преклонение перед «старшим братом» кажется делом добрым... Нам некуда стало деваться от своих добрых дел! А что мы, кроме вреда, получаем взамен? Ничего. И не получим никогда! Забраться бы на высокую гору и крикнуть: бросьте быть добрыми, лезгины!.. – Резко качнув головой, дядя Джебес замолчал. Затем спокойно добавил: – Мой племянник Эдгем ни перед кем не преклонялся, не предавал, не забывал про свой «албанский ген», поэтому его и уничтожили... Теперь по ту сторону от Срединной реки двумя способами будут изводить лезгин. Одних «бизимдиры», называя «братьями», усыпляя сладкими речами, лисьими чарами сольют с собой. Других, кто не забудет про «албанский ген», будет отстаивать свое, уничтожат ударами в спину. Вот этим «братья-бизимдиры» нам говорят: «Не вы нужны, а ваш ген»... Неужели так и будет продолжаться? Нет же, нет! Всему этому придет конец... Должен прийти конец...

Сидевшие за столом слушали молча. Они хорошо понимали, что творится в сердце старого канатоходца, полного и собственным горем, оскорбленного и тем унижением, которому подвергался народ. Никто не мешал ему излить душу, своим молчанием и поддержи-

вая, и утешая старика. В молодости много ездивший с выступлениями по селам по обеим сторонам Срединной реки, он лучше некоторых историков знал жизнь своего народа... На следующий день во дворе дяди Джебеса вновь собралось много людей. Он, по обычаю, зарезал несколько голов скотины и роздал мясо сельчанам. За поминальный обед мужчин усадили за столы, вынесенные в сад, а женщин на террасе и в комнатах.

После обеда, когда я собрался уехать в Махачкалу, у нас с дядей Джебесом состоялся отдельный разговор.

– Ты, сынок, один из тех, на кого Эдгем возлагал большие надежды, – сказал он. – Наверное, не случайно в тяжелый час его дочка встретила именно тебя. Разве тут не чувствуется рука провидения? Эсмер, как говорится, перо, оставшееся там, где сел орел. У меня нет своих детей, теперь она будет моей дочерью. А ты будь ей старшим братом. Я старик, неизвестно, сколько мне еще осталось жить. Сынок, будь опорой моей дочери. Она умная, как ее мать и отец, тянется к знаниям. Помоги ей достойно идти по жизни, не дай ей чувствовать себя обездоленной сиротой. Школу она окончит здесь, в селе. Потом я поручу ее тебе... Жизнь настала тяжелая. Будь опорой для Эсмер. Это моя просьба к тебе.

Слова дяди Джебеса, доверие, мне оказываемое, потрясло меня до глубины души. Я ему твердо ответил:

– Можешь не сомневаться, дядя. Я все сделаю так, как ты говоришь.

Больше мне нечего было сказать, я не находил слов для его утешения.

– Когда тебе исполнится тридцать три года? – Вдруг задал он неожиданный для меня вопрос.

Зачем он спросил об этом? Спросить его я счел неуместным и ответил:

– Через полтора года, – и назвал день и месяц своего рождения.

– Здоровья тебе, сынок... Правильно делаешь, что не спрашиваешь, почему это мне понадобилось... Столько, значит, и мне придется еще пожить...

– И после живи долго, дядя Джебес! Что значит полтора года?..

– Там видно будет, – сказал он, светлея лицом. – Но пока мне довольно будет и полутора лет... Здоровья и благополучия и тебе, и семье твоей! У тебя работа, тебе надо ехать. Так поезжай в добрый час! Да поведут тебя дороги всегда к добрым делам, сынок! – он крепко обнял меня своими большими руками и несколько раз хлопнул по спине.

Попрощавшись с бабушкой, дядей Балаком, учителем Ингаром, дядей Ходжей, я уехал в Махачкалу.

Глава 6

С развалом великой страны связано еще одно несчастье, постигшее наше село и лично меня: погиб Айсам, сын дяди Балака и мой друг детства.

Из пяти сыновей дяди Балака Айсам был самым младшим. Потому ли, из-за особого нрава ли Айсама, отец любил его больше остальных сыновей. Я прихожу к такой мысли: возможно, любовь отца к сыну с годами только окрепла оттого, что он стал офицером. С того дня, как его призвали в армию, отец в шутку называл Айсама своим «сыном-маршалом».

Еще в детстве Айсам верховодил мальчишками с нашей улицы, играя в войну. Детвора вооружалась самодельными деревянными ружьями и пистолетами, которые делать нас научил Айсам. И носились мы, разделившись в две «армии», по склонам и оврагам на окраине села, осыпанные пылью, оцарапанные колючками, растрепанные... Заметив голову скрывавшегося противника, кричали: «Ких!», – что означало, что он убит. Почему «ких!», а не «бах!» или «ба-бах!», я не знаю до сих пор. Но впервые так воскликнул Айсам и это восклицание всем понравилось. Чтобы убить противника, важно было воскликнуть первым и громко. Побеждала

та «армия», в которой оставался хотя бы один «живой солдат».

Удивительно: Айсам никогда не «погибал». И при этом не было случая, чтобы он словчил или обманул. Он всегда был справедлив, того же требовал и от остальных. Пока игра не заканчивалась, «погибшие», сидя в стороне, продолжали наблюдать за нею, но они не имела права что-то подсказывать или предупреждать. А если это случалось, то той стороне засчитывали поражение. Потом все бежали к ближайшему роднику, вдосталь напивались воды, ополаскивались и, во влажной и испачканной одежде, но считая себя чистыми, шли домой...

Еще в те детские годы «бессмертный» Айсам решил, что станет офицером. Он читал книги про войну, не пропускал ни один военный фильм, который шел в клубе. Во многих случаях не достигших шестнадцати лет не пускали на просмотр тех фильмов, но Айсам и тут находил какой-нибудь выход. Он брал у почтальона, который тоже был с нашей улицы, газеты и журналы, услужливо обещая отнести их в клуб, и сам оставался там в смотровом зале, спрятавшись за декорациями в углу сцены. Потом, когда в клуб набивались люди, он выходил из своего укрытия и смотрел фильм, стоя среди тех, кому не досталось сидячих места.

Старшеклассником Айсам уже твердо решил, что поступит в военное училище.

Окончив школу, он уехал в город Омск, где жил один из его старших братьев, и попытался поступить в военное училище. Но ему не повезло, и в ту же осень его призвали в армию.

Он оказался в Ташкенте, а после полугода в учебке, его отправили в Афганистан. В то время само слово это вселяло боль и тревогу в сердца советских людей. Как бы ни пытались это скрыть, все знали, что оттуда непрерывным потоком возвращаются на родину цинковые гробы.

Айсам заранее знал, что окажется в Афганистане и не боялся. В одном из своих редких писем мне он писал: «Парень, если ты боец, то должен понюхать пороха. Я только тебе одному сообщаю, что еду в Афганистан. Не проговорись нашим. Еще одна просьба к тебе. Ты знаешь, я не люблю писать письма. Писать – это твоя профессия. Когда будешь писать своей бабушке, напиши ей, что я жив и здоров. Это дойдет и до наших. Сам я написал домой, чтобы не ждали от меня писем, что у меня, возможно, часто будет меняться адрес. Отец меня поймет, но я не хочу, чтобы мать тревожилась».

Я сделал, как он просил.

Из Афганистана, почти год спустя, я получил от него одно-единственное письмо. Он писал:

«Здравствуй, дорогой друг!

Как живется-можется? У меня все нормально, если не считать, что не привыкну к здешнему климату: зимой, хотя и не особенно холодно, изводят ветры, а летом стоит невыносимая жара. Я пребываю недалеко от Кабула. Время от времени едем в афганские села, охотимся на душманов. Народ здесь бедный, изведенный тяжелой жизнью. А враг коварен: в лицо будет тебе улыбаться, отдавать поклоны, но не упустит случая выстрелить в спину. Я привык к свисту близко летящих пуль... Недавно я видел во сне нашего Шуая. Жив и здоров ли он? Теперь, вспоминая, мне стыдно, как мы издевались над ним в детстве. Если, когда поедешь в село, увидишь его, передай ему, что я об этом очень сожалею. Пусть простит меня. Передай от меня привет своей бабушке. Всего доброго, дорогой друг».

В ответ я написал ему и о себе, и о наших сельских новостях. Сообщил и о Шуае: «Не переживай из-за когда-то совершенных детских шалостей, дорогой друг. Шуай жив и здоров, человек большого сердца, он прощает всем, кто по каким-либо причинам был несправедлив к нему. Это его способ наставлять людей уму-разуму, таким образом он пробуждает в них совесть. Тебя

он тоже, без сомнения, давно простил. Когда мне выпадет случай встретиться с ним, я обязательно передам ему твои слова. Береги себя, мой друг».

Через два года Айсам благополучно вернулся из Афганистана. Помнится, я почему-то еще подумал, что молитвы Шуая сберегли его, так как знал об уважительных отношениях, существующих между дядей Балаком и Шуаем. И не могло быть, чтобы свет тех отношений не упал и на Айсама.

Вернувшись в село, Айсам попросил прощения у Шуая. Он же, как передают, при этом ему сказал: «Я знал, что ты на войне. Когда я услышал, что вести о тебе доходят через твоего друга в Москве, я обо всем догадался. И я молился за тебя, сынок. Счастье сопутствует тому, кто старается предохранить мать с отцом от тревоги и боли».

Тогда только в селе узнали, что Айсам воевал в Афганистане, а отец его получил в подарок от сына трофейный американский бинокль.

Из села он вновь уехал к брату в Омск. До лета работал там рабочим, потом поступил в военное училище в городке Чирчик под Ташкентом.

Оттуда от него я тоже получил одно письмо, в котором говорилось:

«Здравствуй, дорогой друг!

Наконец-то я добился своего: я поступил в Чирчике в танковое училище. Не скажу, что учеба дается мне легко, приходится попотеть, но ничего, я выдюжу. Отцу я обещал, что стану генералом. Сам же он хочет, чтобы я дорос до маршала. Чирчик – маленький уютный город. Рядом с ним протекает река с таким же названием. Мне в слове «Чирчик» слышится журчание воды. Еще у нас есть ресторан «Плакучая ива». Мы с товарищем посетили его один раз на увольнении. Там я выпил бокал вина и за твое здоровье. У нас в училище каждый воскресный вечер бывает дискотека. Приходят красивые девушки из города. Так что, жизнь совсем не скучная.

Надеюсь, тебе в Москве тоже живется неплохо. Вот так, дорогой друг! Здоровья тебе!»

Читатель может и не поверить, что один раз и я оказался в ресторане «Плакучая ива», что в городе Чирчике. Вот как это произошло.

На следующий день после сдачи выпускных экзаменов в институте я получил повестку из военкомата. Свои книги, небогатые пожитки я оставил у Андрея. Бабушке написал письмо: «Милая бабушка, институт я окончил, диплом получил. Его вышлет тебе почтой мой друг Песен.

Меня призвали в армию. Очень прошу тебя не тревожиться. Служить я буду не два года, как все остальные, а только полтора. Считай, что мне предстоит учиться еще один год.

Я знаю, что ты у меня самая лучшая бабушка на всем свете, сильная и терпеливая, которая ни при каких обстоятельствах не склоняет голову. Об этом знает не только я, но и все наше село Мамух. Поэтому, милая бабушка, не обижайся на меня за то, что не приехал к тебе. Мне велит долг перед Родиной, это не пустые слова. Потерпи еще немного и жди меня, я приеду к тебе!»

В армию меня проводили Андрей с Песеном.

И я, как и Айсам, оказался в Средней Азии, в туркменском городе Теджен. И я, как и он, на себе испытал, какова летняя жара в тех краях. Раскрыв рот, изо всех сил вдыхаешь и вдыхаешь в себя воздух, а легкие никак не наполняются, сердце подкатывает к горлу, в голове стоит туман... Вот каковы те места.

В Теджене солдат готовили к отправке в Афганистан. А готовили нас по ускоренному и краткому курсу. Не за полгода, как обычно, а всего за три месяца из нас делали солдат, умеющих воевать.

С одной стороны, меня, выпускника Литературного института, собирающегося стать писателем, привлекало предстоящее: через три месяца оказаться в Афганистане, увидеть большой мир, самому побывать и изу-

чить людей на войне, мысли обо всем этом понятно волновали меня.

А с другой стороны, разве я мог предугадать свою судьбу? Айсам про Афганистан мне не писал, но в полученном мной оттуда одном письме друга скупые намеки говорили о многом. И в нашей части много ходило слухов о происходящем в соседней стране, не скажу, что они не тревожили и не пугали солдат. Кто захочет погибнуть в мясорубке где-то на чужой земле? Мы были молоды, и нам очень хотелось жить. А меня, кроме всего прочего, ждала еще бабушка...

Бабушке я написал о городе, где находился, но ничего не сообщил о том, где могу оказаться завтра. Она себе плохо представляла, где Туркмения, а где Афганистан. Мои письма ей сначала читали дядя Балак, учитель Ингар или молодые соседки. А после бабушка заставляла детей их себе перечитывать. И свои письма ко мне она диктовала соседским детям. В одном письме она даже спрашивала: «Милое дитя, а Туркмения находится рядом с Афганистаном или нет?» Я, конечно, ей ответил: «От нас Афганистан находится очень далеко, милая бабушка. Ты ни о чем не беспокойся». Получив потом другие ее письма, тоже написанные соседскими детьми, узнав, что они перечитывают ей мои письма, я понял ее хитрость. Взрослые могли, стараясь не особенно ее беспокоить, на «трудные» вопросы бабушки давать обтекаемые, малозначащие ответы. А она знала, что дети на это не способны. В другом письме она меня упрекала: «Почему ты меня обманываешь, дитя мое? Говорят, что Туркмения и Афганистан находятся рядом. Дети мне показали по карте. Не обманывай меня. Как есть, так и пиши обо всем. Ты не думай, что твоя правда убьет меня. Дай мне слово, что больше не будешь обманывать. Сынок, я постоянно читаю молитвы за тебя Всевышнему. Я пойду и к склепу Шуая, попрошу, чтобы его дух покровительствовал тебе».

Что мне оставалось делать с бабушкой?

За три месяца, проведенных в учебке, я немного привык и к туркменскому зною, научился и танком управлять, и стрелять. Правда, бабушке о своих успехах не писал...

А от Афганистана меня, прежде всего, уберегла безвременная кончина матери.

Комиссаром нашей роты был лейтенант Николай Беседин – мой ровесник, с которым у нас установились чуть ли не братские отношения. Он знал, что я окончил Литературный институт, это нас и сблизило. Дело в том, что Коля писал стихи. Он показывал мне их, просил дать оценку. «Только говори правду! – предупреждал он. – Мне не надо пустых похвал». «Хорошо, – соглашался я, – любители пустых похвал не должны писать стихи...» На мой взгляд, его поэтические способности были весьма скромны, но у него встречались редкие строки, которые брали за душу. И когда я указывал на них, Коля радовался: «Значит, если постараться, то получится?» – с надеждой в синих глазах спрашивал он. «Получится! Только надо стараться, товарищ лейтенант», – подбадривал я его. «Когда рядом нет солдат, можешь назвать меня Колей», – разрешал он, показывая свое расположение ко мне.

Однажды он у меня спросил:

– Скажи откровенно: ты хочешь попасть в Афганистан?

– А как мне отказаться? – ответил я. – Кто меня спросит?.. За себя я не боюсь. Мужчина через все должен пройти. Погибнуть на справедливой войне и не стыдно, и не жалко... Но у меня есть бабушка...

– Разве не больно будет матери и отцу?

– Мама умерла... С отцом я не общаюсь. Они разошлись, когда я был еще маленьким.

– Братья, сестры есть у тебя?

– Нет.

– У отца другая семья, есть дети?

– Нет. Он один...

Глаза Коли неожиданно заблестели, он обнял меня, несколько раз приподнял и опустил.

– Почему ты раньше не сказал мне обо всем?

– Да с чего вдруг? Что случилось?

– Афган тебе не грозит, друг мой! С чем и можешь поздравить свою бабушку.

– Как?! – в груди у меня точно огонек вспыхнул: значит, можно будет не обманывать бабушку?

– Вчера я слышал в штабе. Согласно приказу по армии, единственного сына родителя, оставшегося в одиночестве, не отправлять в Афганистан.

– В таком случае, дорогой друг Коля, от Афганистана меня спасает мать, которой у меня нет. Может быть, она второй раз дает мне жизнь...

– Ты прав. Так получается...

Об этом я и написал бабушке, успокоив ее сердце. Не сомневаюсь: в том, что все устроилось именно таким образом, не обошлось без помощи ее молитв. Думаю, еще меня оберегает то, что в детстве не кидался камнями в Шуая. После учебки в Теджене я, уже сержантом, попал в другой туркменский город Иолотань. Там мы большей частью жили не в казармах, а в походных условиях, в палатках, в бескрайней пустыне, где не на чем было остановиться глазу, если не считать редких кустов саксаула. Вокруг было одно песчаное море.

Каждый день солдаты подметали у палаток, однако на следующий день песок снова засыпал нас.

Но нельзя сказать, что в этой пустынной местности нам было скучно.

Здесь было очень жарко. В лагере невозможно было усидеть на занятиях в классах, состоящих из одной только крыши. Бывали случаи, когда солдаты, непривычные к такой жаре, падали в обморок. Поэтому часто сразу после завтрака офицеры уводили солдат в разные бункеры, расположенные под песчаными барханами в отдаленном поле, совсем незаметные для посторонних. Там солдаты могли отоспаться. На обед возвращались

в столовую, потом опять уходили в бункеры спать до ужина.

Наш танковый батальон состоял при пехотной части. Однако танков там не было. Вместо танков солдаты водили машины «Урал». На этих тяжелых машинах мы часто ездили в соседние села и города и на учения в далекие горы. Проблемой была нехватка питьевой воды. Солдаты за день трижды могли наполнять свои фляги: во время завтрака, обеда и ужина. Воду отваривали на верблюжьей колючке, пить другую воду было запрещено из-за опасения заболеть желтухой.

Утешение солдаты находили в расположенном недалеко от военной части винодельческом совхозе «Москва». У нас шутили, говоря, что служим в Подмосковье.

Иногда втайне от командиров более шустрых солдат посылали в «столицу» – винсовхоз; несмотря на то, что денег было мало, скинувшись, мы могли купить две-три канистры виноградного вина. Ночью пили, а бывало, оставалось, чтобы налить и во фляги на следующий день.

Иногда, оказываясь в Иолотани, солдаты привозили бутылки красного вина «Чашма» («Источник»). Его тоже производили в совхозе «Москва».

Словом, можно сказать, что из-за близости к «Москве» боевой дух нашей части был достаточно высок...

И здесь, в песках, как и в Теджене, солдат готовили для переброски в Афганистан.

Здесь я почувствовал, что это значит – Афганистан.

На этих пустынных просторах, в учебных целях, достаточно далеко друг от друга, были построены «афганские села» – кишлаки. Маленькие саманные сакли производили на нас угнетающее действие: трудно было привыкнуть к мысли, что в таких условиях могут жить люди. Впервые увидев кишлак, я даже подумал: «Если советские солдаты воюют за то, чтобы вывести бедных афганцев из таких дыр на светлый путь, то это война справедливая».

Улочки «афганского села» были до того узкими, что по ним прошелся бы лишь один ослик. Удивляло и другое: почти все сакли были соединены друг с другом подземными ходами. Человек мог, войдя в одну саклю, под землей пройти в другой конец села.

Тогда я и подумал о том, каково было на войне в Афганистане моему другу Айсаму и тысячам другим нашим бойцам и командирам...

В нашей части было немало солдат и офицеров, раненных и контуженных в Афганистане, но выписавшись из госпиталей, продолжавших службу на родине. О них трудно было бы сказать, что они совсем оправились от физических и душевных увечий. Увиденное и пережитое на войне нанесло им непоправимый вред. Они были нервны и не сдержанны, легко выходили из себя, часто склонны к жестокости.

Офицеры предупреждали нас, чтобы мы осторожнее были с такими «афганцами».

Мне запомнился один случай.

Я стоял на посту у склада с вооружением. Перевалило за полночь. Стояла зима, а зимы там, хотя и малоснежные, но холодные, с ветрами, постоянно дующимися с севера на юг. Так и кажется, что ветер, свистя, пробирает тебя до самых костей.

Оттого, что на сторожевой вышке не было спасения от ветра со снежной крупой, я решил спуститься на землю и постоять с внутренней стороны ворот, сваренных из металлических прутьев. На вышке находился телефон, на который при необходимости звонили начальнику караула или он сам звонил часовым. Но в такую пору мне едва ли позвонили бы из караульной. Обычно звонят днем, если кто-то едет за оружием. Да если и позвонят, решил я, услышу от ворот (Впрочем, мог и не услышать: у ворот тоже сильно дуло).

Я стоял, повесив тяжелый автомат на шею, прыгая то на одной, то на другой ноге, мурлыча про себя слова лезгинской народной песенки: «Что такое, что такое,

Мулейли? Слово дала же, слово дала же, Мулейли...» Почему-то и в годы учебы в Москве, каждый раз, страдая от холода, я вспоминал песенку «Мулейли». «Наверное, ее сочинил кто-то, кого эта самая Мулейли от своего натопленного очага прогнала в зимнюю ночь», – пытаясь быть веселым, подумал я.

Но и мое пение, и попытки развеселить себя продалжались недолго.

Хотя лампа на сторожевой вышке освещала не очень далеко, вокруг что-то все же можно было различать. И я увидел, что по дороге к посту идет кто-то высокий уверенными и быстрыми шагами.

– Стой! Кто идет? – привычно крикнул я.

Высокая фигура на мгновение остановилась, потом, наклонившись и раскачиваясь, направилась ко мне.

– Стой! Стрелять буду! – опять крикнул я.

Фигура уже медленнее, но продолжаела двигаться ко мне. И тут он сам крикнул:

– Солдат, сдай оружие!

Голос его показался мне знакомым. Вгляделся, действительно, знакомое лицо: подполковник из штаба.

Среди офицеров части он выделялся своим видом, статным сложением и хорошо подогнанным обмундированием, четкими движениями. Говорили, что он вернулся из Афганистана. Увидев его впервые, я даже подумал: «Друг Айсам, наверное, тоже станет вот таким офицером, который вызывает восхищение у людей».

И вот этот подполковник поздней ночью появился здесь босиком, в одних кальсонах, вооруженный большим ножом.

– Сдай оружие! Ты арестован! Почему ты спал на посту?

– Я не спал, товарищ подполковник, – ответил я. И с нажимом, еще громче, показывая, что я узнал его, и чтобы он мог вспомнить меня, добавил: – И не сплю! Это я вам кричал: «Стой! Стрелять буду!» уходите домой, вы замерзнете!

– Бросай оружие! Ты спал, сукин сын! – он сделал вперед еще два шага. – Из-за тебя моих пацанов вырезали!

Я никак не мог решиться: что делать? Стрелять в воздух? Или стрелять в него? Устав разрешает... «Нет, он в невменяемом состоянии. Видно, что и пьян. Ему представляется, что он в Афгане...»

– Товарищ подполковник, я стреляю! – предупредил я, не снимая автомат с предохранителя, но с силой рванув на себя и отпустив затвор, чтобы он слышал.

Неожиданно подполковник замер на месте. В его больших глазах, сверкавших безумной злобой, мелькнуло что-то осознанное. Видимо, к нему возвращалась способность думать, и он посчитал, что я дослал патрон.

– Где я? – спросил он, бросая взгляды по сторонам.

– Вы в Иолотани, в Туркмении, товарищ подполковник. А здесь оружейный склад... Идите домой, отоспитесь.

– Тьфу! – сплюнул он. – Проклятый Афган!.. Извини, сынок.

Повернувшись, он быстро зашагал обратно.

И тут на вышке громко зазвенел телефон.

Я поспешил, схватил трубку.

Звонил начальник караула, командир нашего взвода. Он предупредил: может появиться подполковник из штаба, чтобы его не трогать. «Контуженный в Афгане. Однажды ночью душманы полностью вырезали его роту. Спали и рота, и часовой. А сам, командир, в это время пошел по нужде, и спасся. Не может забыть... Ходит на посты и кричит на часовых... И не впускай его! Как-нибудь уговори, чтобы ушел. И не стреляй!»

Я сказал, что подполковник был и ушел, начальник караула успокоился...

Здесь, в мирной Туркмении, этот случай словно принес с собой ощутимое дыхание афганской войны.

А сколько всего повидал мой друг Айсам... Хотя и не писал, и не рассказывал об этом.

Рассказывать не выпало случая: после его возвращения мы не встречались.

Но однажды чуть было не представился такой случай, когда он учился в военном училище в Чирчике, но в последний момент судьба, шутя вильнув, развела нас.

В самом конце моей службы, как солдата с высшим образованием, меня решили направить на месячные офицерские курсы. Я не поверил своим ушам, услышав в штабе части, что учиться на курсах я буду при военном училище в Чирчике.

– В Чирчике? – даже переспросил я: может, есть и другое место с таким названием: – А где это?

– В Узбекистане, недалеко от Ташкента. Знаменитое училище. Туда недавно приезжал наш министр обороны.

– Да ну! – обрадовался я.

– Да, вот так, – подтвердил штабной офицер. – Ты что, не знаешь биографию министра обороны? А еще имеешь высшее образование...

– Я очень рад, товарищ капитан, что наш министр обороны побывал в этом училище, а теперь туда и я поеду... Там учится мой односельчанин... Маршал, правда, будущий...

– Какой еще маршал будущий? – серьезно спросил капитан.

– Мой одноклассник. Учится там... «Афганец»...

– Ну ты закрутил!.. Художник слова хренов! – покачал головой капитан.

Собираясь в Чирчик, уверенный, что встречу там друга, я положил в свой вещмешок и завернутый в белье подарок для Айсама.

Когда он ненадолго вернулся в село после Афганистана, мы не виделись, – стояла осень, я еще учился в Москве. О войне он никому не рассказывал. Я его понимал: во-первых, его рассказы разнеслись бы уже «переработанными», что могло ему навредить, во-вторых, из села в армию уходили молодые ребята... Вот от меня, друга детства, он бы ничего не скрыл.

Чирчик мне понравился: красивый и спокойный городок.

Место, где расположилось военное училище, мне тоже понравилось. Впрочем, после песчаных пустынь под Иолотанью мне везде нравилось. Но что правда то правда: здания училища и казарм, площадки вокруг них, дворы – все было устроено удобно и красиво.

Мне было приятно, что мой друг учится в таком месте.

На офицерские курсы со всего Туркестанского военного округа прибыло примерно двадцать человек, слушателей. Мы быстро познакомились, пошли расспросы, и выяснилось, что все до этого в своих частях жили, как и я, в полевых условиях, в палатках. Здесь, хотя и было много красивых зданий, удобных казарм, но для нас поставили палатку поодаль от казарм, на учебном танковом полигоне. «Взвод сирот...» – невесело подумал я, когда узнал, что все мы единственные сыновья, лишившиеся одного из родителей, и потому не отправленные в Афганистан. Так стали называть наш взвод и офицеры.

Здесь меня ожидала радость встречи с Николаем Худолайненом из Карелии, с кем мы прошли учебку в Теджене, добрым и веселым парнем, поющим под гитару.

Устроившись, войдя в ритм новой жизни, в выходной мы с Колей пошли на дискотеку, заодно чтобы расспросить об Айсаме. Я собирался поразить друга своим появлением, которого он никак не мог ожидать.

К сожалению, мы не встретились. От курсантов на дискотеке мы узнали, что курс Айсама уехал то ли на учения, то ли на сельскохозяйственные работы в какой-то совхоз.

В такие минуты понимаешь, что жизнь устроена несправедливо, она не умеет щадить. Жизнь точно смеется над человеком: вот как я могу!..

Но жизнь здесь все же не шла ни в какое сравнение с пребыванием в пустыне под Иолотанью. Было и

свободное время, я шел в библиотеку и брал книги, удовольствие, которого я был начисто лишен в полевом лагере. За короткое время я прочитал до десяти книг, в том числе и три объемистых романа.

Месяц прошел незаметно.

Курс Айсама так и не приехал, и неизвестно было, когда приедет.

За день до окончания армейской службы, получив офицерские военные билеты и все положенные демобилизационные бумаги для приобретения авиабилетов домой, уже в штатской одежде, присланной нам из дома, мы с Колей Худолайненом пошли в ресторан «Плакучая ива». О том, что я служил в армии, говорил лишь вещмешок, прошедший со мной пустыню под Иолотанью.

– Зачем тебе вещмешок? – спросил Коля, заметив, что он достаточно увесист. – В ресторан идешь со всем своим?

– Нет, – ответил я, – тут подарок другу, привез из Туркмении.

– Надеешься, что друг детства дожидается тебя в ресторане? Романтик ты! – засмеялся Коля, накидывая на плечо ремень гитары.

– Но когда-нибудь он зайдет в ресторан.

– Вот оно что... Я тебя понимаю. Оставишь на подоконнике с запиской: «Подарок моему другу».

– Там видно будет.

Перевалило за полдень. В небольшом зале ресторана «Плакучая ива» было немноголюдно: за отдельными столами сидели несколько юных пар.

Хотя мы и стали офицерами, но деньги нам выплатили как рядовым. Соразмерно тому, что было в кармане, мы поели, выпили, поговорили по душам.

Потом Коля запел под гитару. И его песни сблизили посетителей, они перезнакомились. Коля, чувствуя себя в центре внимания, объявил:

– Товарищи чирчикцы! А теперь новоиспеченный лейтенант Советской армии Николай Худолайнен готов

исполнить песни по вашим заявкам! А другой новоиспеченный советский офицер Антер Мазанов будет отбивать ритмы на столе – за неимением барабана!

Последние слова Коли удивили меня: он никогда не видел, как я играл на барабане...

– Я готов! – подстраиваясь под мотив его гитары, мои пальцы защелкали по столу.

Веселье разлилось по ресторану...

Официантки, слушая и наблюдая за всем происходящим, выстроились у стены...

Уходя, я чуть было не забыл про вещмешок, оставленный под столом. О нем мне напомнила официантка Валя, которая обслуживала нас.

– Его надо здесь оставить, сказал я.

– Как оставить? – не поняла Валя.

– Ну, не вещмешок, а что в нем, – попробовал я объяснить. – Здесь, в училище, учится мой друг. Его сейчас нет. Он бывает здесь, может, вы его и знаете...

– Как его зовут.

– Айсам.

– Кавказец. Лезгин, – сказала девушка. – Знаю его. Танцует лезгинку.

– Пожалуйста, принесите плитку шоколада.

Валя принесла шоколадку, я ее оплатил.

– Валя, милая, это вам, – сказал я. – У меня просьба: это передайте моему другу. Я мечтал вместе с ним посидеть в вашем ресторане, но видно, не судьба. Но я знаю: вы умеете исправлять ошибки, которые допускают людские судьбы. Мой друг сюда обязательно зайдет.

Две бутылки «Чашмы» из вещмешка я передал Вале.

Увидев их, Коля возопил:

– Даже не тронул! И выдержал... Да лишить тебя лейтенантского звания!..

Валя, пожав плечами, поглядывала на нас.

– А если он не придет? – спросила она.

– Придет... Если вдруг не придет, поступайте по своему усмотрению.

Забрав бутылки, Валя пожелала нам доброго пути...

Через полмесяца, уже в селе, я получил телеграмму из Чирчика: «Подарок получил. Спасибо тебе. Привет селу. Айсам»...

Окончив училище, Айсам служил в Туркестанском военном округе, обзавестись семьей он не успел (не потому ли, что всего себя отдавал службе?..), дослужился до звания майора, а после развала страны вместе с армией вернулся в Россию. Его часть (он был командиром танкового батальона) перевели на Кавказ, в Чечню.

Больше мы друг другу не писали. Видимо, в обстановке всеобщего развала и растерянности всем стало не до писем, люди жили и перебивались каждый как мог. Как-то Айсам позвонил мне из Грозного.

– Здесь творится нехорошее, друг, – сказал он. – Пахнет войной. Увидим... Помнишь нашу игру в «ких!» Я привык к таким играм...

– Бог даст, не дойдет до худшего, – только и нашел я что сказать. – Думаю, что люди до того лишатся ума.

– А когда люди были умными? Те, кто управляет народами, считают, что все решается силой и оружием. А у человека нет иного оружия для самозащиты, кроме ума и совести. Но большинство об этом не догадывается...

– Береги себя, друг. Будем жить с надеждой на лучшее.

– Моим ничего не говори. Я им сказал, что переведен в Кабардино-Балкарию. Узнает, где я, отец и сюда заявится.

Вскоре в Чечне началась война...

В Дагестане пока было более благополучно. Наша республика на фоне соседей была особым местом, где сохранилась атмосфера мира и дружбы прежней великой страны.

А вести о повсеместно происходящем доходили и до нашего села, и его жизнь подспудно менялась.

Сельский клуб из здания старой мечети перенесли в маленькое помещение бывшего сельмага. А из вновь

открывшейся мечети зазвучали призывы муэдзина. Прежний наш парторг, любивший носить шляпу, теперь преобразился в муллу в тюбетейке.

Открылись частные магазины, появились в селе и маршрутные микроавтобусы, казалось, что надо ожидать и других удобств для людей и перемен, облегчающих жизнь.

То на одной, то на другой крыше стали появляться телевизионные «тарелки», мамухцы следили за происходящим в мире и проникались противоречивыми чувствами и мыслями. Однако постепенно они привыкали ко всему новому.

Первая «тарелка» украсила крышу дома учителя Ингара. И соседи стали по вечерам собираться у него, чтобы смотреть новости и обсуждать их. Российские телеканалы не вызывали доверия: «Показывают и говорят одно, а делают... развалили страну», – нет, таким нельзя было верить.

По всем, местным и прочим, каналам передавались сообщения из соседней Чечни, где шла война. Чего нельзя было увидеть на российских каналах, этими сообщениями щедро делились с миром зарубежные каналы. Хотя и не владели иностранными языками (кроме учителя французского языка), сельчанам хватало и увиденного на экране. А когда приходил учитель французского языка, учитель Ингар переключался на французские каналы, а того просил перевести передаваемое.

Война в Чечне болью отзывалась в сердцах, тревожила: она могла перекинуться и в Дагестан.

Как-то поздней осенью, когда выпал снег, вечером к учителю Ингару пришел дядя Балак. На душе у него было неспокойно: ведь Кабардино-Балкария, где, как он считал, служит его сын, находится рядом с Чечней.

По телевизору передавали сюжет о чеченских событиях. Бородачи с автоматами на груди, с пистолетами и кинжальными ножами в руках, осыпая бранью, стреляли в трех военнопленных, поставленных на колени,

без обуви, в форме, но без погон. Один из пленных был с седой прядью... Сидевшие у учителя Ингара, привычные обсуждать и комментировать увиденное, внезапно смолкли, еще не до конца все осознавая. А дядя Балак вскочил с криком:

– Айсам?!

Сюжет был короткий, его сменили другие новости, но их уже никто не видел и не слышал...

Заговорить решился хозяин:

– Твой Айсам служит в Кабардино-Балкарии. Мы видели не его. Да мы что, не знаем своего Айсама?

– Да, этот был другой... – сказал еще кто-то.

– За кого вы меня принимаете? – глухо заговорил дядя Балак. – Разве я не отец, чтобы не узнать своего сына?.. Айсам... Что ты со мной делаешь?..

Он ушел, и никто не посмел его остановить, что-то сказать...

С того дня дядя Балак, мучимый судьбой сына, неизвестностью (жив ли он?), стал заметно сдавать. Несколько дней он совсем не выходил из дома.

Но вот как-то его, с ружьем за плечом, увидели идущим в клуб, где собирались молодые сельчане.

Сельчане старались быть особенно предупредительными с дядей Балаком, даже делали вид, что не знают о его беде, а сам он при встрече проходил, не обмолвившись ни словом.

Увидев дядю Балака с двустволкой в клубе, находившиеся там встали, приветствуя его, потом выжидающе помолчали. Для чего ему потребовалось ружье, не понимали: уже несколько лет он не охотился.

Дядя Балак снял со стены портрет Ельцина, взял и портрет Горбачева, поставленный в углу на полу, и собрался выйти.

– Дядя, куда ты их уносишь? – стараясь не злить старика с ружьем, спросил работник клуба. – Я за них отвечаю.

– А я у тебя не спрашиваю! Отойди! – хмуро ответил он. – Тебя тут ничего не касается.

Работник клуба только плечами пожал.

Выйдя на улицу, дядя Балак поставил портреты у стены.

Молодые люди тоже вышли из клуба, смотрели: что же будет? Но все молчали, они понимали душевное состояние старика.

– Дядя, дорогой, – работник клуба направился было к портретам.

– В сторону! – крикнул дядя Балак. – Ружье у меня заряженное!

Работник клуба отпрянул назад.

Дядя Балак дважды навскидку выстрелил, и пули попали точно в лоб одному и другому на портретах.

Никто не верил, что ружье может быть заряжено. От выстрелов парни как будто опомнились: они схватили дядю Балака, отобрали у него ружье – в своем отчаянии от горя как бы он не натворил еще чего-нибудь.

– Отпустите меня! – кричал дядя Балак. – И отдайте ружье! В сельсовете еще висят портреты этих врагов!.. Они враги! Разрушили страну! Отняли у меня сына!..

Парни вытащили у него из кармана еще два патрона. Потом отвели его домой, и попросили, чтобы ему не давали ружье...

Дядя Балак жил вместе со своим старшим сыном Палчой, другие три его сына разъехались по разным российским городам.

И никто не доставил ему такую боль, как младший и самый любимый Айсам...

Жена дяди Балака, тетя Нурге, была женщиной тихой и бессловесной, согласная с каждым словом своего мужа, заботливо следящая за каждым его шагом. И весть о беде с сыном она приняла по-своему: закрыла ладонью рот, не вымолвила ни слова, опустилась на пол у стены и так и сидела, покачивая головой...

Узнав об Айсаме, приехали все братья. Не знали, что делать, как узнать о судьбе брата? Побывали в государственных учреждениях, но нигде не получили ни

утешительного ответа, ни полезного совета. То им говорили, что нет данных о пленении Айсами, а о сюжете зарубежного информагентства они ничего не знают, то им сообщили, что он считается пропавшим без вести.

Время шло. Об Айсаме не было никаких вестей.

В махачкале мысли о дяде Балаке не оставляли меня.

Как-то я позвонил учителю Ингару в школу, расспрашивая о сельских новостях.

– Что тебе сказать, парень? – невесело отозвался он. – Не могу простить себе, что купил ту «тарелку». И на что она мне далась? Чтобы узнавать черные вести? Не было печали, навлек на свою голову...

– Напрасно ты изводишь себя, учитель, – я его понял. – Твоей вины нет, не мучай себя.

– Если бы я ее не купил, не произошло бы столько всего... У Балака, бедного, совсем ум за разум зашел...

– Что-то еще случилось?

– А что еще может случиться?.. Неделю назад босиком направился в Гору, я вернул его с полпути. Оказывается, ходил в Дом Вече...

– Босиком? Когда на Горе выпал снег?

– Домашние прячут от него обувь, чтобы он не выходил из дома. Вот он и пошел босиком. Не знаешь, что он еще выкинет...

Неделю спустя на работе один из моих коллег спросил:

– Ты знаешь, что сегодня происходит на центральной площади?

«Наверное, очередной митинг. Или опять пикеты...» – подумал я.

– Там один мужчина играет на барабане! – сообщил коллега. – А на груди у него плакат: «Верните из Чечни моего сына-офицера». Бедный человек...

«Дядя Балак...»

Я поспешил на центральную площадь.

Увиденное еще издали сначала заставило мое сердце сжаться, потом наполнило его гневом.

Два милиционера, держа под руки, вели дядю Балака, а рядом с ними вышагивал Сардар, размахивая руками, что-то громко выкрикивая. «И этот собачий сын направлен сюда представителем государственной власти... Неужели другого не нашли?.. Видимо, выбрали лезгина, посчитав, что он быстрее найдет общий язык и уговорит дядю Балака...».

...Это один из приемов, взятых на вооружение местной властью: своими давить своих, что делается осознанно. У тех, кто сидит в высоких кабинетах, ум, дух, кровь, словом, все, даже внешний вид, освобождается от национальных признаков, они перестают быть представителями своего народа, превращаются в отщепенцев, у них не остается ничего «своего», своими для них становятся себе подобные... Зато какие метаморфозы с ними происходят, когда, что случается, из-под них вышибают кресло! И в каком свете они начинают себя выставлять: герои и патриоты! Больше них никто не делал для своего народа! Без них народ совсем бы пропал! Да они достойны того, чтобы их носили на руках... Напомнишь такому, указывая место и время, кое-что из его деяний, не признается: «Нет, не было!» – и посмотрит на тебя ясными глазами. Скажешь ему, что, пребывая во власти, он лишь сам жирел, тоном мудрого человека заметит: «Иначе тоже нельзя». Я знаю много таких, это самый распространенный тип власти предержащих нового времени...

Одним из тех стал и Сардар из Мамуха.

Сегодня ему поручили приструнить своего односельчанина – честного и старого горца.

Я видел, что движения Сардара становились все быстрее и решительнее. Старался показать: он представляет власть! Но кому он это показывал? Старику с раной на сердце?..

Он сорвал плакат, висевший на шее дяди Балака, порвал и бросил его. На этом представитель власти не успокоился: со злостью дернув за ремень барабан, ви-

севший на плече старика, его тоже швырнул на землю и ударом ноги отбросил в сторону. Вырвал из рук дяди Балака барабанные палочки, также бросил в разные стороны.

– Эй! Что ты делаешь, негодяй?! –подбегая, закричал я на своем языке.

Сардар остановился, узнал меня. Нашей встречи, конечно, он никак не ожидал.

Остановились и милиционеры, продолжая держать дядю Балака за руки.

– Тебе не стыдно, идиот? – взяв его за грудки, я оттолкнул Сардара в сторону. – Нашел, кому показывать свою власть?

– Пусть ему будет стыдно, позорит народ! – засопел, растеряв свой боевой дух, проговорил Сардар.

– А ты возвышаешь народ, который он позорит?

– Я исполняю свой долг, у меня есть свои обязанности.

– Вижу, какой у тебя долг... У него горе... Он хочет достучаться до власти! Разве он на это не имеет права?

– Как власть вернет ему сына? Если такой сильный, пусть едет в Чечню и отыщет его.

– Ты всегда был пакостником, но теперь ты вырос в настоящего подлеца, на высоком уровне... Ты ведь не подумал, как ему помочь. Даже не попытался узнать о судьбе его сына. А ведь вы с Айсамом односельчане, в одном классе учились. Для чего ты сидишь в этом здании, которое называется Домом правительства? Чтобы расправляться со слабыми?..

Я был удивлен тому, что он не отвечает тем же на мои резкие высказывания. Впрочем, и это было в его характере... Его несколько утешало то, что мы говорили на своем языке и милиционеры нас не понимали.

– Если бы он обратился к нам по-человечески, мы бы постарались сделать, что в наших силах... Меня он ни во что не ставит. Второй день, как барабанит перед Домом правительства... Я старался объяснить ему

по-доброму, но мои слова до него не доходят, – он пытался даже оправдаться.

И тут вспыхнул дядя Балак:

– Я? Чтобы пришел к тебе? Ты хотел бы, чтобы я пришел к тебе просить? Да мне легче умереть... И ту власть, которую представляет такой, как ты, ненавижу... – Он по-русски обратился к милиционерам: – Его дедушка в тридцать седьмом году сгубил моего отца... Так ведите и меня, куда вам надо...

– Отпустите его, – сказал я милиционерам.

Они вопросительно посмотрели на Сардара.

– Отпустите, – кивнул тот головой...

Дядю Балака я увез к себе домой. А на следующий день мы вместе поехали в Мамух...

Больше дядя Балак не выходил из дома. Он ушел и с работы в библиотеке. Он убедился, что его сил не хватит, чтобы искать сына, без вести пропавшего на войне. Обычно он сидел в конце террасы на стуле. Он не любил, когда его навещали. «Не надо ко мне ходить, – говорил он. – И жалеть меня не надо. Я вас приму, когда вернется Айсам». На перилах террасы всегда лежал бинокль, привезенный сыном из Афганистана. Как только на далеком первом изгибе дороги, ведущей снизу в село, появлялась машина или человек, он приставлял бинокль к глазам и смотрел, кто там идет или едет.... Бинокль, видимо, служил ему утешением, напоминая о сыне: если он из Афганистана вернулся живым, не может быть, чтобы не вернулся и из Чечни... Сыновья, родственники и близкие постарались, кажется, даже убедили его в том, что по телевизору он видел не сына. «Наверное, я видел не Айсама, – пытался он убедить и самого себя. – Тот выглядел старше возрастом... Ведь они, в армии, все похожи друг на друга...»

Где-то через год горе как будто решило отпустить дядю Балака.

Из своего далекого города вернулся один из его сыновей с женой и с годовалым ребенком.

Малыш, казалось, и вернул дядю Балака к жизни.

– Кто это? – спросил он, когда невестка подала ему внука.

– Это Айсам, – ответил сын.

– Айсам! – дядя Балак даже привстал. – Айсам! Мой милый Айсам! Кто говорил, что он не вернется?..

Несколько дней он не отпускал от себя ребенка. С ним на руках выходил во двор, прогуливался по своему большому саду.

Потом наказал сыну:

– Пригласим соседей, сельчан, накроем столы, ведь Айсам вернулся. Завтра сходи на пастбище, пригони быка.

Но в ту ночь дядя Балак тихо скончался во сне.

...У изголовья могилы дяди Балака поставили два камня: один с его именем, другой с именем его сына Айсама. На этом втором камне под портретом подполковника российской армии был указан только год его рождения...

Он продолжает оставаться в списках пропавших без вести. И я не могу привыкнуть к тому, чтобы друга, «бессмертного» Айсама, вдохновителя наших детских игр, считать погибшим.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава 1

В тот день, когда мне исполнилось тридцать три года, на работу мне позвонил дядя Джебес. После того, как убили Эдгема Шахшана и Дилясу, и я поехал в село вместе с Эсмер, он у меня спросил: «Когда тебе исполнится тридцать три года?» – о чем я помнил, и еще подумал, что же в этот день меня ожидает нечто неожиданное.

После приветствий и взаимных расспросов о житье-бытье, он сказал:

– Поздравляю тебя с днем рождения, сынок! Здоровья тебе, радости сердечной, семейного благополучия. Да продлит Всевышний жизнь твою, и накинет тебе тех лет, которых не довелось прожить твоим друзьям. – Дядя Джебес, конечно, имел в виду Эдгема, Дилясу и Айсама, погибших безвременно. И он знал, что я его понимаю. – Слава Всевышнему, давшему мне дожить до этого дня... Тебе надо приехать в село. На твое имя имеется очень важная бумага... Я не решился послать ее почтой, как бы не затерялась. Теперь к почте нет доверия...

– Что за письмо? – удивился я тому, что письмо на мое имя пришло в село. – От кого?

– От Шуая.

Я замер, потом проронил:

– От Шуая?

– Да, от него... Парень, долгие разговоры тут ни к чему. Ты приезжай, я тебе все расскажу, как есть... Не медли... И молодая крапива растет...

Имелось в виду, что при приезде я получу и письмо от Шуая, и отведаю афар с начинкой из молодой крапивы. Дядя Джебес хорошо знал: не найдется мамухца, который отказался бы от такого угощения.

В тот же день я поспешил в село и сходу направил машину к дому дяди Джебеса.

Вечерело. Дожидаясь возвращения скотины домой, хозяин сыпал соль в кормушки, сделанные из отработавших автомобильных шин.

Заметив подъезжавшую к воротам машину, он вышел навстречу, продолжая держать тазик с солью в руке.

– Ого! – удивился он, увидев меня за рулем. – Купил машину? Поздравляю! Да будешь ты ездить на ней по добрым делам, по приглашениям на радостные события!

– Спасибо, дядя!

– Я не надеялся, что ты приедешь так скоро. Все же, человек на работе...

– Теперь демократия, дядя Джебес, свободного времени стало много.

– Это не свободное время, сынок, это время горечи... – подняв голову к балкону, по привычке он крикнул жене: – Невеста! Гость у нас, устрой-ка там все, как надо! Гость-то желанный...

На веранду вышла тетя Тургуя:

– В чем дело? Что за гость? – При виде меня ее лицо посветлело. – Сынок Антер? Твой приход, что солнца восход, милое дитя! – И тут же упрекнула старика: – Он же не гость, мой муж, он свой. Чего медлите, поднимайтесь наверх.

Дядя Джебес провел меня в гостевую, усадил за стол и сам сел.

В комнате у одной стены стояла кровать с богато уложенными для гостей постельными принадлежностями под узорчатым покрывалом.

Рядом приткнулся сундучок, украшенный орнаментом из серебряных пластинок.

Заметив, что сундучок привлек мое внимание, дядя Джебес пояснил:

– Это сундучок моей невесты, сынок. В наше время у невест бывали такие вот сундучки... И до него мы дойдем...

По двум стенам висели фотографии в рамках. С отдельных больших фотографий смотрели Джебес с женой в молодости, брат канатоходца со своей женой, то есть отец и мать Эдгема, Эдгем и Диляса.

Я задержался взглядом на фотографии Эдгема и Дилясы, а дядя Джебес сказал:

– У вас, поэтов и писателей, очень чувствительное сердце. Я понимаю тебя. Не позволяй тосковать сердцу, сынок... Когда мы тоскуем, им тоже нехорошо там, куда они ушли, они чувствуют горе, до них доходит... Сиди здесь с просветленным сердцем. Считай, что они тоже здесь, с нами.

– Из Баку больше не поступало никаких вестей? – спросил я.

– Парень, откуда ты хочешь утешительных вестей? Из Баку? Справедливости?.. Нет никаких вестей... Как будто ничего и не случилось... Как будто Эдгем Шахшан и его семья там и не жили, вообще не было их на земле...

Я пожалел, что своим вопросом затронул кровоточащую рану дяди Джебеса и поспешил спросить о другом:

– Как Эсмер? Пишет?

– У нее все хорошо. И пишет. Учится с увлечением, пошла в родителей, – с довольным видом сказал дядя Джебес, лицо у него опять прояснилось. – Мы продали дом в Баку, а деньги отправили ей. Пришлось продать за бесценок, не было покупателей... А Эсмер сказала, что не вернется туда... Спасибо тебе, сынок, что повез ее в Москву и помог поступить туда, куда она хотела... Правда, я бы желал, чтобы она была недалеко, в Махачкале. Но мне это было не по карману... У нас и поступать надо за деньги, и потом платить на каждом шагу. Об

этом и ты меня предупреждал, и другие, кто обжегся, рассказывали. Вот до чего испакостились. За каждый экзамен и зачет, говорят, надо платить. А то, что ты стараешься, что знания тебе даются, это не в счет. Вынь деньги! Без них твои старания и способности ничего не значат... Мне приходилось бы ездить и ездить туда, спорить и ссориться. Будь моложе, так бы и делал. Но теперь у меня силы не те, сынок.

В словах старого канатоходца была правда, что я понял, когда, по его просьбе, взялся помочь Эсмер поступить в институт. Я побывал в нескольких вузах в Махачкале, чтобы ознакомиться с положением дел. А положение везде было одинаковое, как будто договаривались и пришли к единому решению. Без денег, сдав экзамены, можно поступить или нет? На подобные вопросы абитуриентов в приемных комиссиях шепотом советовали: «Идите к проректору, к декану факультета, к заведующему кафедрой – и договаривайтесь». Но к кому бы из них ты не пошел, тебе показывали заранее приготовленную бумагу, на которой ясно было напечатано, на какой факультет, по какой специальности сколько стоит поступить. А цены доходили от трех до пяти тысяч долларов.

В одном институте я пошел к проректору. Краснолицый мужчина с маленькими серыми глазками, острый взгляд которых так и пронизывал, по одному виду которого можно было догадаться, что он не имеет ничего общего с наукой. За его спиной на стене красовались страница Корана, портреты президента страны и главы республики. И страница святого писания, и портреты как будто говорили: «Доверьтесь ему, несмотря на его серые глаза с острым взглядом». «Кто установил эти цены?» В ответ проректор молча указал пальцем вверх. «Сам Аллах?» Проректор, сохраняя молчание, покачал головой: нет. «Президент?» Покачал головой. «Глава республики?» То же самое. «Ваш ректор?» Наконец он утвердительно кивнул головой и вытер платком

вспотевший лоб. Я видел, как он вскипал от моих вопросов, но нет слов, сдерживался. Но и я не отставал: «Не заплатив, но успешно сдав экзамены, можно в ваш вуз поступить?» Проректор покачал головой: нет. «Разве не бывает никаких послаблений?» Покачал головой. «Кому надо передать деньги?» Он шепотом спросил: «Разве вам не сказали в приемной комиссии?» «Сказали, – решил я схитрить. – Но как оставлять немалые деньги у незнакомых людей?» Он пожал плечами. Как это понять, я не знал. Да, нельзя доверять, но иного выхода нет? «А нельзя принести вам?» Лицо проректора прояснилось: «Почему нельзя? Несите!» Я помолчал, ожидая, не скажет ли он еще что-нибудь. И он сказал: «Я-то не убегу, оставив такое место...» Гарантия великолепная! Я знал, что тех, кто покупает и продает, ничто иное лучше не убеждает. «Я еще подумаю...» – проронил я, выходя, и больше никуда не пошел, рассуждая: не лучше ли оставаться без образования, чем унижать себя учебой в подобном заведении?..

Обо всем этом я и сообщил тогда дяде Джебесу. Оказалось, о неписанных правилах приема в дагестанские вузы Эсмер знала лучше нас. Она просто молчала, дожидаясь результатов моей «разведки» и надеясь, что я сумею убедить дедушку в том, что ей лучше учиться за пределами Дагестана. Когда обстановка выяснилась, она промолвила:

– В Дагестане в институтах хуже, чем даже в Баку.

– Где ты сама хотела бы учиться? – спросил я.

– Я хочу учиться в московском университете, где учились мои родители.

– Туда ты разве сумеешь поступить? – засомневался дядя Джебес.

– Я постараюсь! – ответила она.

– Кто знает, каково теперь там? – дядя Джебес с внучки перевел взгляд на меня.

Эсмер тоже посмотрела на меня.

– По крайней мере, там не будет того, что творится у нас, – сказал я. – Не должно быть.

– Ты сумеешь повезти ее в Москву? – дядя Джебес опять посмотрел на меня.

– Почему бы и нет? – сказал я. – Мне нравится настойчивость Эсмер.

Со слов учителя Ингара я знал, что за год учебы в сельской школе Эсмер своими стараниями и способностями приводила всех в восхищение. В этом нежном сердце, глубоко израненном, жили и высокие стремления, которые порадовали бы ее покойных родителей. Она считала, что ради спокойствия их душ не имеет права быть слабой.

– Тогда поступайте, как знаете, – выразил свое согласие дядя Джебес.

И мы вместе с Эсмер поехали в Москву к Арине Федоровне и Андрею.

О наших намерениях я им сообщил заранее по телефону.

– Как поступишь учиться, – сказала Арина Федоровна Эсмер, – я не отпущу тебя в общежитие. Наш дом станет и твоим домом, – наверное, она вспомнила, как сама, юной девушкой, попала в Мамух и как ее приняли старуха Лизе с Шуаем.

Чего оставалось желать лучшего в Москве для приезжей шестнадцатилетней девушки? Я понимал, что неожиданное решение Арины Федоровны благотворно для Эсмер и внесет спокойствие в сердце дяди Джебеса.

Сдав вступительные экзамены, Эсмер стала студенткой исторического факультета университета. Жила она под теплым крылом Арины Федоровны. Как выяснится позже, беря Эсмер к себе, Арина Федоровна, мудрая женщина, заглядывала в еще неблизкое будущее. И об этом мы, постараемся не забыть, поговорим, но позже...

Тетя Тургуя вынесла к чаю хлеб, испеченный в харе, брынзу, масло и мед.

– Ты после дороги, сынок, перекуси пока. А я спущусь в сад.

Хотя и была в годах, жена дяди Джебеса своей статью и ловкими движениями могла еще оправдать прозвище «невеста», данное ей мужем.

– Иди, милая невеста, иди, – поощрил ее дядя Джебес, и подмигнул мне: учись, как надо обращаться с женщиной. – Муж должен воодушевлять жену, поднимать у нее дух, чтобы она чувствовала крылья за спиной. Когда жена падает духом, благодать уходит из дома. Жена всегда должна быть в духе. Так что, не жалей доброго слова для жены.

– Не жалею, дядя. Я стараюсь...

– Молодец! Ну, угощайся... – Я между тем расскажу тебе одну притчу. – Повелитель какой-то области выстроил мужчин в ряд и приказал: кто не боится жены, шаг вперед! Вышел вперед самый никудышный из мужчин, измызганный и оборванный: я не боюсь! – и вызвал у всех смех. А повелитель сказал: «Потому ты и пришел в такой вид. Бойся! Хотя бы делай вид, что боишься. И ты станешь мужчиной».

Дядя Джебес старался, чтобы я чувствовал себя свободно. Увлекшись разговором, мы пили чай и ели свежеиспеченные лепешки. Тетя Тургуя принесла и афары с крапивой. Я даже не заметил, когда она успела их испечь.

– Попробуй афары, парень, – сказал дядя Джебес. – Я знаю, чего ты дожидаешься. Таких ты не найдешь в Махачкале.

Действительно, афары тети Тургуи оказались выше всех похвал. Они утоляли аппетит и радовали глаз своим видом.

– С такими афарами грех не опрокинуть по стопке коньяка, – заметил хозяин. Когда тетя Тургуя принесла и поставила на стол бутылку и рюмки.

– Можно подумать, что я дожидался этой бутылки, – попробовал было я воспротивиться. – Мне еще обратно ехать. Я за рулем.

– Не относить же ее обратно, парень, – голос дяди Джебеса прозвучал осуждающе: стыдно должно быть.

– И почему сегодня ехать обратно? Завтра утром встанешь пораньше и в путь... Ведь есть повод, чтобы раскупорить эту бутылку.

– Что за повод?

– А твои тридцать три года!

– Дата не круглая, дядя, – сказал я, понимая, что он искренне хочет оказать мне уважение, и дожидаясь, куда же он, хитрец, теперь повернет разговор, разбавляемый шутками.

– Исполнение тридцати трех лет, сынок, по мнению покойного Шуая, является одним из главных пределов в жизни человека. Разве я не имею право выпить за этот предел в твоей жизни? И разве ты позволишь мне выпить в одиночку? Ты же не захочешь, чтобы твой родич Ходжа посмеялся надо мной?

– Тут, вижу, нечего тянуть, наливай, – сказал я, находя его доводы неопровержимыми, а также, при упоминании имени Шуая, догадываясь, что мы близко подошли к главному, к его письму ко мне.

Дядя Джебес снял с бутылки колпачок, налил, поднял рюмку и заговорил без тени шутки:

– Ты не знаешь, сынок, и в институте вас едва ли этому учили. Иисус Христос, которому поклонялся покойный Шуай, прожил в этом мире тридцать три года. Вот почему эта цифра много значила для Шуая. Как я понимаю, Всевышний, определив своему Сыну тридцать три года жизни среди людей, и дав ему испытание мукой во имя их спасения, указал людям: если вы захотите, то и за короткую жизнь можно успеть сделать добрые дела во имя человечества, которые останутся в веках... Ты должен помнить опоры, на которые натягивают канат для представления канатоходцев. А канат натягивается с востока на запад. Канатоходец поднимается на него с восточной стороны. Так вот, опора под канатом на той стороне, это как бы тридцать три года в жизни человека, сынок. С этой опоры Иисус Христос ушел в небо... Канат между двумя опорами подобен

жизни обычного человека. Другая опора – как знак конца его жизненного пути. С нее канатоходец, показав, на что он способен, спускается на землю. Вот так человек уходит из жизни, точно заходит солнце за гору. На этом пути бренно лишь тело человека, но дух его неугасим и остается на пределе той первой опоры... чтобы пройти путь между двумя опорами, необходим балансир. Без него не пройдешь по канату. Балансиром человеку служит его вера, а также честь и совесть, ум, знания, жизненный опыт. Без них человек не дойдет до второй опоры. И какой цифрой устанавливается этот второй предел его жизни, человеку не дано знать. Но кто дошел до него, тот счастлив, сынок!.. Ты поднялся на первую опору, дошел до своего начального предела. С этим и поздравляю тебя! Да дойдешь ты до своего второго предела во славе добрых дел! И пусть будет большой цифра, его обозначающая! Пью за тебя.

Чокнувшись со мной, дядя Джебес залпом выпил коньяк.

Для меня его рассказ был занимателен, и я помедлил, пытаясь найти нужные слова и выразить свое отношение к услышанному.

– Выпей, парень, не дай остыть тосту, – засмеялся дядя Джебес, заметив мое промедление.

– Спасибо, дядя. Спасибо на добром слове! – наконец сказал я и выпил.

Коньяк мне помог, точно балансир канатоходцу. Я стал легко находить нужные слова.

– А ведь, дядя Джебес, я действительно не все знал... Да, не слышал и от наших профессоров...

– Ты и от академиков не все услышишь... Для этого надо сидеть с канатоходцем, – пошутил дядя Джебес. – Скажу тебе еще, о чем не каждый знает. Ты помнишь мое одеяние канатоходца?

– Помню. Яркий костюм, увешанный амулетами...

– Да, тот самый. В первый раз такой костюм с амулетами (их было десять) ко мне перешел от дедушки.

Костюм был уже ветхий, и когда я собрался в нем в первый раз подняться на канат перед народом, отец мне сказал: «Нельзя в таком старье выступать перед людьми. И костюм, и амулеты должны быть новыми». Мне сшили новый костюм. И амулеты, не меняя, можно было обтянуть новой тканью. Но меня разобрало любопытство, захотелось узнать, что в них зашито. Распорол один, потом остальные, и удивился: я приготовился скорей всего увидеть сложенные бумажки с арабской вязью, а увидел на поблекших бумажках письмена, совершенно мне незнакомые. Показал их нашим учителям: один решил, что это буквы армянские, другой сказал, что похоже на грузинское письмо, однако никто не мог в них разобраться. Покойная мать мне посоветовала: «Покажи-ка их Шуаю». Я показал. Шуай удивился и сказал: «Это строки из Библии, а написаны они кавказско-албанскими буквами на лезгинском языке». Я попросил его переписать их, и мою просьбу он с радостью исполнил. Те бумажки моя мать заново зашила в ткань, и я получил новые амулеты. Вдобавок она попросила нашего муллу, старого Нурмагомеда, написать несколько аятов из Корана по-арабски и из них тоже сделал амулеты для моего костюма. «Правильно ли это, мать?» – спросил я. «Чем больше амулетов, тем лучше ты будешь защищен», – пояснила она...

– Я помню, бабушка рассказывала: каждый раз, поднимаясь на канат, стоя в развилке первой опоры, ты читал стихи, посвященные Сталину... – наверное, на меня подействовало выпитое, по-ребячески захотелось узнать, как в его сознании соотносились христианские и мусульманские амулеты и стихи о Сталине.

Дядя Джебес меня сразу понял:

– Парень, и Иисус с Мухаммедом, пророки, и Сталин хотели одного: достойной жизни для людей, они учили человека тому, как ему правильно пройти путь между двумя пределами его жизни... В мое время не жили без имени Сталина. Его имя вдохновляло людей...

Люди не знали о всех его делах, но имя его внутренне их очищало... Ну, этот разговор оставим. Теперь наливай-ка ты сам.

Я наполнил рюмки.

– У меня один вопрос, связанный с тем, о чем мы говорим. Если можно...

– Задавай свой вопрос, – поощрил меня дядя Джебес.

– Я о шуте, который сопровождает канатоходца. Чем можно объяснить его необходимость?

– Шут, сынок, олицетворяет людей, которые не сумели достичь второго своего жизненного предела. Или тех, кто не хотел дойти, тех, кто не нашел себя, заблудших, увядших раньше времени... Шут, давая смеяться над собой, как бы говорит: не будьте такими, как я... Кроме того, он выступает и в роли оберега, отводя от того, кто на канате, дурной глаз... Но человек, представляющий шута, сам отличен от него. Он жизнерадостен, артистичен, остроумен, умеет веселить своими шутками. Он из тех, кто знает, как дойти до второго жизненного предела.

Я вспомнил дядю Шибита, который был при нем шутом, и как однажды в детстве вручил ему помятый рубль. Без маски шута он был обычным общительным человеком. Но как только надевал маску, менялся неузнаваемо. Чего только он не вытворял, сыпал шутками, плясал, представляя как мужчину, так и женщину, изображал зверей...

В дверях показалась тетя Тургуя.

– Не надо ли чего? Принести вам чаю?

– Милая невеста, где коньяк, там чай подождет! – сказал дядя Джебес, подмигнув мне. – Вот что: неси-ка ключ от этого сундука. Можешь принести и еще одну рюмку.

– А рюмку зачем? Собираешься пить из двух рюмок, держа их в обеих руках? – тетя Тургуя, конечно, поняла шутку мужа.

– И тебе налью граммов пятьдесят, милая невеста!

– Нет, милый муж, мне не надо наливать, – улыбаясь, ответила тетя Тургуя. – Вдруг тебе не хватит.

– Если и не хватит, разве магазин далеко от нас, невеста? – дядя Джебес опять подмигнул мне.

– Все равно, милый муж. Пусть магазин и не далеко. Но довольно и того, что пьешь ты. Я не дам разыграться аппетиту. – Тетя Тургуя обратилась ко мне: – Правильно я говорю, сынок?

Конечно же, она говорила правильно. Я поднял свою рюмку.

– Дядя Джебес, можно мне сказать слово?

– Парень, ты можешь сказать свое слово, и даже не одно!

– Дорогой дядя Джебес! Милая тетя Тургуя! Здравствовать вам обоим! – Я повернулся к ней. – Дядя Джебес, без всякого сомнения, прекрасный канатоходец. Как на канате, так же он хорош и в повседневной жизни. На канате его поддерживает балансир, а в жизни для него балансиром являешься ты, тетя Тургуя! Не случайно он называет тебя «невестой». Здоровья тебе! И тебе, дядя Джебес! Я пью за вас! – чокнувшись с дядей Джебесом, я выпил до дна.

– Это так, ты прав, сын, – сказал дядя Джебес. – Мы вдвоем теперь – как одна душа. Один не может без другого. Спасибо тебе, сынок! Спасибо и тебе, моя невеста! – он опустошил свою рюмку.

Тетя Тургуя, со слезами на глазах, поблагодарила меня, вытерла уголком платка слезы, кивнула в сторону мужа и шутливо добавила: – Он, сынок, меня называет невестой, чтобы себе самому казаться молодым!

– Нет, не так! – не согласился дядя Джебес. – Сначала я возвращаю в молодость тебя, потом ты мне отвечаешь тем же!

– Хорошо, пусть будет по-твоему, милый муж. Если душа одна, она не может быть одной частью старой, а другой молодой... Так же, сынок? – вновь обратилась она ко мне.

– Все правильно, тетя, и красиво сказано!

– Пока не забыла, принесу ключ от сундука...

Она принесла ключ, отдала его дяде Джебесу и ушла.

– Я же тебе обещал, что и до сундука дойдет очередь... Вот, твоя почта здесь, парень... Может, сначала еще по одной?

– Нет, довольно, дядя.

– Пусть будет по-твоему... Чуть подождем...

Дядя Джебес занялся сундуком, вынул оттуда большой запечатанный конверт из оберточной бумаги и положил передо мной. – Шуай, перед тем, как он в последний раз поднялся в Гору, оставил его, сказав, чтобы послали адресату, когда тому исполнится тридцать три года... Я тебе говорил, послать почтой остерегся. Мы и так много чего потеряли... Ну, я свое выполнил, вздохну с облегчением...

Я взял конверт в руки. На нем был мой махачкалинский адрес.

– Написано рукой Шуая?

– Да. Сидел за этим же столом, под мою диктовку и написал. Что в конверте, я не стал спрашивать... Хотя и посоветовал: «Что за игры такие? Он приедет скоро на каникулы, тогда сам и передай ему». – «Он приедет, ответил он. – Но неизвестно, вернусь ли я с Горы». – «Да что за слова такие?» Он в ответ: «Предчувствие меня гнетет... Но если вернусь, я не отдам ему конверта. Дождусь, когда ему исполнится тридцать три года». Он читал твои рассказы и стихи. И Эдгем ему хвалил тебя. И тогда он сказал: «Мальчишкой он, в отличие от других, никогда не кидался в меня камнями. Помню, как я поймал его, когда он в первый учебный день сбежал из школы». Наверное, было и такое?

– Да, было. Я бежал в сторону склепа Шуая. А бабушка – за мной, крича: «Шуай! Держи его!» Именем Шуая она хотела припугнуть меня. А он тут как тут, точно из земли вырос.

Дядя Джебес, улыбаясь, покачал головой:

– Про это я не знал...

Мне нечего было говорить, чувствуя себя протрезвевшим, я поблагодарил его. Он разлил по рюмкам коньяк.

– Ну, держи. За то, что послание дошло до тебя благополучно. Открой конверт в Махачкале, где – указано в адресе...

Мы чокнулись...

...Когда я уходил от дяди Джебеса, уже была ночь. Тетя Тургуя хотела, чтобы я остался. Ей было неприятно оттого, что я ухожу в пустой, без бабушки, дом.

– Если он не уйдет, бабушка обидится там, у себя, – сказал дядя Джебес, указывая пальцем в небо. – Пусть уходит: воздух, застоявшийся, в доме освежится. Хозяин ведь... Дом тоже живой, он не любит оставаться пустым. Ему надо, чтобы кто-то зажигал там свет. Иди без печали, сын.

– Надо еще повидаться с учителем Ингаром и дядей Ходжой, – сказал я, желая услышать его совет. – Обидятся, если уеду, не повидавшись.

– Их ты не увидишь. Учитель Ингар, каникулы ведь, поехал в Дербент навестить дочь. А Ходжа как отправился на север продавать капусту, так еще не приехал. Иди, и спокойно ложись спать.

И я пришел в дом, где родился и вырос. Включил свет, открыл окно, комната наполнилась свежим воздухом. Мне почудилось, что дом, когда там появился человек, облегченно вздохнул и задышал.

Все было на своих местах, как при бабушке. Но мне казалось, что каждая вещь здесь чувствует свое сиротство. И печь для выпечки хлеба, и ручная мельница, что под крытым навесом, а в холодной комнате пять пчелиных пустых ульев, поставленных один на другой, и рамы от них, и сепаратор, которым отжимали из сот мед, и пустые бурдюки – их тоску и сиротство я чувствовал не только сердцем, но и всей своей кожей. И мне казалось, что на мне лежит большая вина...

В общей комнате со стены на меня смотрели родные – те, кого я знал, и другие, кого подзабыл – смотрели осуждающе, с упреком в глазах... Сердце мое застучало, а конверт от Шуая, который я продолжал держать в руке, прибавлял волнения.

Сев за стол, несмотря на сказанное дядей Джебесом, я раскрыл конверт.

В конверте я нашел толстую тетрадь, а в тетради отдельный лист бумаги, видимо, из нее же вырванный. Сначала я вытащил этот лист, который выглядывал из обреза тетради. И замер. Задрожавшими руками я полистал тетрадь.

Волнение мое усилилось и в то же время пришло чувство, похожее на разочарование. Я невольно проговорил: «Ну вот, послание Шуая дошло до тебя. Но тебе, парень, еще расти до него».

И отдельный лист бумаги был испещрен, и тетрадь заполняли незнакомые мне письмена, видимо, кавказско-албанские.

Мне потребуется время, чтобы изучить кавказско-албанский алфавит и прочитать, что написано в письме и тетради.

Эдгем Шахшан и Диляса хорошо освоили такую письменность. Жаль, что в ту пору я не научился у них. Ведь можно было хотя бы попросить их написать и выслать мне параллельные кавказско-албанский и наш алфавиты, о чем я тогда не подумал. Теперь мне предстояло сделать это самостоятельно.

Одно я понял: Шуай, конечно, знал, что я не могу прочитать написанное им. Но он как бы говорил мне: учись кавказско-албанской письменности.

И это походило на завещание, сделанное мне человеком, с которым мне никогда не приходилось иметь дело, но который, имея на то свои причины, верил мне, возлагал на меня надежду.

Возможно, он верил мне, помня о том, как, когда его отец Чайгун прятался в погребе с картофелем, моя

бабушка догадалась снять его брюки, вывешенные сохнуть после стирки, и, подвергая себя опасности, пыталась спасти его...

Однако прошло время, и я узнал, что были и другие причины тому, что он оставил свои записи на незнакомой мне письменности.

Глава 2

А жизнь продолжалась...

Я вникал в тайны кавказско-албанской письменности. Теперь возможности для этого имелись, хотя не скажу, что дело это для меня оказалось легким.

Выходили книги по истории Кавказской Албании, и я с ними знакомился. Я жалел, что в их числе не было книг Эдгема Шахшана, наша древняя история предстала бы перед нами более полной и достоверной. Но он не успел издать свои книги, ему этого не дали сделать... Не нашелся и древний манускрипт, переданный ему Шуаем и украденный из его дома.

Я утвердился в мысли, что с Эдгемом Шахшаном и его семьей расправились для того, чтобы лишить наш народ его прошлого, богатой истории, или чтобы продать манускрипт и заработать большие деньги. Тем самым недруги нам как бы говорили: «Нет у вас никакой истории, оставьте ваши старания, в противном случае вот что с вами будет. Ваша история будет такой, какой мы пожелаем ее видеть».

Можно оставить какой-то народ без его истории, сделать так, чтобы новые поколения забыли его язык. Но те, кто становится врагом для другого народа, не понимают, что своей враждебностью они у того народа в сердца вселяют неутихающую боль по своей истории. И с этой болью еще глубже познается свое прошлое. И пишется история народа, которую окончательно уничтожить невозможно. Боль, которой болеют все сердца,

когда-нибудь сольется, разрушив все преграды, вырвется наружу. Поняв, что эта боль общая для всех, народ ощутит стремление найти от неё средство. Он осознает, что с этой болью ему нет движения вперед, нет процветания его родине, нет наследия и надежды для его новых поколений. Один только путь останется для народа: объединиться и подняться на защиту своего прошлого, и сегодняшнего дня, и будущего... Иного пути нет, хотя кое-кто склонен утверждать и обратное. По тому пути, что они указывают, идут слабые, разуверившиеся в себе, предавшие себя и свой народ...

Как-то ко мне на работу заглянул учитель Ингар.

Меня это удивило: в Махачкале он появлялся нечасто, а тут приехал в сентябре, когда в школе начались занятия. «Что-то случилось?..»

После приветствия и обычных вопросов-ответов, словно прочитал мои мысли, он сказал:

– Оставил я школу. Не пойду больше, хватит.

– Что случилось? Почему?

Взгляд учителя Ингара, с хитрецой, задержался на мне.

– Теперь я хочу стать поэтом, – заявил он.

– А разве ты и так не поэт? – сказал я. – Ты же сочиняешь стихи.

– Сочиняю. Но то легкие опыты. Теперь у меня намерения серьезные.

– Что ж, это в обычае у лезгин, – сказал я. – Как выходят люди на пенсию, так начинают писать стихи. Наверное, думают, что без их помощи в наше трудное время лезгинская поэзия совсем захиреет... Но ты, учитель, к ним не относишься, – спохватился я. – Я знаю, твои стихи со смыслом.

– Насчет смысла не мне судить... – он вынул из своего портфеля тоненькую рукопись. – Но ты эти стихи прочти. Больше нет. Тебе и решать, стоит ли их издавать? Если не стоящие, выкинь. Сам не сумею.

– Прочитаю, – заверил я учителя, взяв рукопись. – Издадим твою книгу.

Ясно было, что его уход из школы никак не связан с пробудившимся даром стихотворчества. И я решил не задавать никаких вопросов, а дождаться, пока он сам разговорится.

– Поедем ко мне домой, учитель, – предложил я, – там и посидим спокойно.

– Не то время, чтобы ехать домой, – отклонил он мое предложение. – К тебе пойдем вечером. А теперь поищем другое место, где можно посидеть.

– Тут в парке, недалеко от нас, есть хорошее кафе. Там можно посидеть под тополями. У них хорошее сухое вино...

– Посидеть в кафе – дело благое, – заметил учитель Ингар. – Но кафешек стало много. Куда ни глянешь, зазывает кафе. Трудно стало из них выбирать.

– Там, куда мы пойдем, собираются поэты, – сказал я.

– А меня, еще непризнанного, пустят туда? – и тут же привел веский довод, который не позволил бы его туда не пустить: – Теперь ведь я перешел на сухое вино.

– Учитель, для тебя распахнуты все двери...

– Шахбал Камкам ходит туда?

– Иногда бывал. Но теперь он живет в селе, женился.

– О нем много говорят, и всякого вздора... Но поэт он хороший.

– Истинный поэт!

– В том, что становишься поэтом (истинным, конечно), виноваты женщины или тут причина другая?

Задавая этот вопрос, не хотел ли учитель Ингар разобраться в собственном желании стать поэтом?

– Женщина может быть и ни при чем. Важен сам талант...

Беседуя, мы дошли до кафе.

Под громадными тополями, на огражденной летней площадке за столами посетителей было мало.

Рядом возвышалось округлой формы массивное строение ресторана.

– Не посидеть ли нам в ресторане, учитель? – спросил я.

– Нет, лучше здесь, на открытом воздухе.

Мы устроились за столиком в уютном углу, подальше от движения и снующихся людей.

Подошла официантка, мы сделали заказ.

И увлеклись беседой...

Учителя Ингара, вместе со всем происходящим в стране, особенно удручало падение престижа педагога: знания обесценивались, молодые не хотели учиться.

– Вот почему ты решил оставить работу в школе, – понял я.

– Нет, – сказал он, – у меня была другая причина.

Я удивился:

– Какая?

– Выпьем по стопке, и я тебе расскажу. Не короткий выйдет разговор... И рукопись, что я привез, лишь для того, чтобы был повод. Я приехал к тебе с другим, со своей печалью. Ты был моим любимым учеником. Ты меня слушался и понимал...

– Спасибо, учитель, что помнишь меня таким!

Я разлил вино, мы чокнулись и выпили.

– Бог есть, парень, да. Он велик...

Такого начала от учителя я никак не ожидал и невольно прервал его:

– Вот тебе на... Не помню, чтобы ты был тверд в вере.

– Вот что я тебе расскажу, парень... Это случилось, когда весной еще не пахло, лежал снег, держались холода. Как-то в полночь в комнате, где я спал, со стены упал портрет моего отца, погибшего на войне. От звона разбитого стекла в рамке я проснулся. Столько лет прошло после войны, портрет висел да висел себе, а теперь вдруг упал. Я был неприятно поражен. Гвоздь оставался на своем месте в стене, бечевка же от портрета оборвалась.

Я вспомнил про мать... Не захотела она переехать ко мне, ты это знаешь... Проводила жизнь в одиночестве: мол, дом, куда ее выдали, дом мужа, останусь пре-

данной дому, там и умру. Да какой там дом? Ты знаешь, в один этаж, маленький, хибарка... Спросишь: «Как ты не боишься жить одна?» Она в ответ: «Я не одна, с мужем». Хранила маленькую фотографию отца, полученную с фронта. Вот с этой фотографией и говорила, как с живым человеком... Она боялась, что без нее дом обвалится...

Мы ее уговаривали: «Вот вернется, отучившись в городе, твой внук, поселим его здесь, не дадим обвалиться твоему дому, возведем и верхний этаж...» Ни в какую: «Пока я жива, сама останусь хозяйкой в своем доме. А когда меня не будет, тогда и поступайте по вашему усмотрению».

И что ты ей еще скажешь? Мать – она и есть мать, с нею не поспоришь, ее слово не переборешь.

Упавший портрет наполнил мне душу тревогой, согнал с постели. В мороз, по полуночным заснеженным закоулкам я поднялся в Верхний квартал. Вижу еще издали: у матери на террасе горит свет. Сердце у меня упало: что же могло случиться? Старая женщина, сил как у цыпленка...

В доме людно. Сама мать, как обычно, лежит на постели у стены, поближе к печи. Собравшиеся соседки утешают ее: «От предписанного тебе не уйдешь... Хоть так обошлось, могло быть и хуже...»

Махмуд, сосед матери, мне сказал:

– Я собирался к тебе. Мать твоя не пустила: «Не стоит будить, утром и так придет». Кто тебе сообщил?

– Отец...

У Махмуда округлились глаза.

– Какой еще отец?

– Мой отец, мой... Потом расскажу. Что тут произошло?

Махмуд пожал плечами:

– Вчера выдавали пенсию... Вор решил завладеть богатством твоей матери. Пришел в маске. Взял деньги из-под подушки.

Тут мать сама обратилась ко мне:

– Вор залез в мой дом, сынок. Унес пенсию... Я уже задремала, но почувствовала, когда он сунул руку под подушку. При спущенном свете керосиновой лампы, мои слепые глаза не видели его лица. Но моя рука нащупала, кажется, маску. Я схватила топорик, которым рубила кизяк, и, не задумываясь, замахнулась в его сторону. Наверное, достала сына кабана. Он крикнул... Потом я позвала соседей.

Мать была возбуждена и, как я чувствовал, довольна тем, что не поддалась страху.

Я осмотрел топорик, на нем действительно остался след крови.

Мать всегда держала этот топорик у печи. Только кизяк она и рубила сама. Все остальные домашние дела у нее выполняли мы с женой, помогали и соседи.

– Топорик не вытирайте! – наказал я, вскипев после услышанного. Я надеялся, что личность негодяя будет установлена...

Утром я пошел на работу в школу. В одном из старших классов вдруг вижу ученика с забинтованным ухом. Не стану называть его имени. Посмотрел я ему в глаза. Долго смотрел... В классе ничего не понимали. Но тот ученик все понял, он опустил голову.

Когда урок кончился, я учеников удалил из класса, кроме него. Мне очень хотелось и взять его за грудки и хорошенько стукнуть об стену, но сдержался, все же не где-нибудь, а в школе находились.

– Иди, – сказал я ему, – верни моей матери деньги, которые ты у нее украл прошлой ночью, и попроси у нее прощения.

Он начал, правда, не очень решительно, от всего отнекиваться, сделал вид, что ничего не понимает.

– На топоре, который чуть не отсек твое ухо, сохранилась кровь, – сказал я. – Установить, чья эта кровь, будет нетрудно.

Тут он, струхнув, сдался:

– Учитель, простите меня! Черт меня попутал, сделал глупость. Деньги я отдам, – вынул из нагрудного кармана и положил деньги мне на стол.

– Ты вернешь их тому, у кого взял, – сказал я.

– Я не могу... Учитель, хоть убейте меня... Любое наказание от вас приму, но не это...

Забрав материнские деньги, я пошел к двери. На сердце стало так тяжело, что ни на что больше я не был способен...

Ученик взмолился вслед мне:

– Учитель, прошу вас, не говорите никому... Ни в школе, ни моим родителям...

Я остановился и сказал:

– Послушай меня хорошенько. Сделаешь, как я скажу, быть по-твоему.

– Сделаю, учитель, я все сделаю...

– Так вот, чтобы больше я тебя не видел! Понял? Не попадайся мне на глаза!

Выйдя из класса, я направился к директору. Попросил у него лист бумаги и написал заявление об увольнении по собственному желанию. При этом думал: «Проживу на свою пенсию...» Потом рассказал директору о случившемся. Он убеждал меня остаться, хотел порвать мое заявление, но я предупредил:

– Ты порвешь, я снова напишу. В школу больше не приду.

– Брат мой, – заклинал меня директор, – на одну оставшуюся четверть откуда я возьму другого учителя? Доработай хотя бы до конца учебного года.

На это я согласился. Возвращаясь домой, по дороге я говорил самому себе: «Вот, сегодня один из твоих воспитанников стал вором. А завтра, кто знает, не станет ли другой убийцей? Новое время – новые люди... Время, когда попирается все доброе, каждый поступает, как может... Вернее будет, отойти в сторону, дождаться, пока все не схлынет... Не дать, чтобы и тебя самого затянуло, как в болото...»

Я рос без отца, недоедая, оборвышем. Мать – на колхозной работе, а я с младшими сестренками, полуголодными, во дворе и на улице. От голода на Зеленом току траву ели, но чтобы украсть – такая мысль и в голову не приходила. Мать внушала: «Смотрите, дети, и хворостинку не смейте брать у чужих. Воровство – это грех».

Окончив школу, уехал в Махачкалу. Даже рейсовых автобусов еще не было. Но повезло, в соседнем селе сел в полуторку, как у нашего Ходжи, которая ехала в Дербент. В кузове, среди других попутчиков, напротив меня сидела красивая девушка одних со мной лет. В цветастом платочке, через плечо на колени спускалась тугая черная коса. А у меня штаны на колене были продраны. Мать, чтобы зашить, не нашла черной нитки, а белой я ей не позволил. Дырка, вначале не очень заметная, пока я спускался по тропинке в соседнее село распоролась шире. Стесняясь девушки, я сидел, обеими руками прикрывая колено, отчего не мог, для устойчивости, держаться за борт, только бился об него головой. Грузовик без конца трясло и подбрасывало на ухабистой дороге. Рядом с девушкой сидел старик с тростью в руке, в папахе, в брюках галифе, в хромовых сапогах с галошами. Он поглядывал на меня, но ничего не говорил. Мне казалось, что порой под его закрученными усами, густыми и седыми, проскальзывает улыбка. Когда приехали в Дербент, он меня напутствовал словами: «Выше голову, сынок, не печалься! У тебя все будет хорошо». Видимо, он догадался, что я из тех, у кого отец не вернулся с фронта. А девушка, как я догадывался, была его внучкой. Кто знает, может быть, и ее отец не вернулся с войны?.. На поезде я добрался до Махачкалы. Там я свел знакомство с юнцами, подобными себе. У одной старушки мы сняли угол в полуподвальном помещении. Попросив у нее иголку с ниткой, я зашил свои штаны. Вот так жили, но чтобы брать чужое... Отвлекся я...

В ночь после того, как я обнаружил вора, укравшего пенсию матери, мне приснился отец, которого я никогда не видел. Он ушел воевать на второй день моего рождения. И знал я отца только по портрету на стене.

Но этот портрет имеет свою историю.

С фронта отец прислал матери свою маленькую фотографию, такую, что клеят на документы. Слишком маленькая была фотография, а мать хотела иметь большой портрет отца. И тут, вот счастье-то, подвернулся случай. В ту пору в нашем селе оказалась одна женщина – беженка с далекой Украины. Она была художницей и стала вести уроки рисования в школе. Ей выделили и комнатку в интернате при школе. Звали ее Татьяной, но и в школе, и все сельчане вскоре привыкли звать ее просто Таней. Вот к ней и обратилась мать с просьбой с фотографии нарисовать портрет отца. Таня, не чинясь, взялась за работу. Ватмана нигде не могли найти, тогда мать уступила один из образцов ковровых узоров, которыми дорожила: «Рисуй на обратной стороне...»

Почти месяц, пока портрет не был окончен, мать содержала Таню у нас дома. Не оконченный портрет она никому не показывала. Возвращаясь с уроков, приступала к работе в отдельной комнате, где запиралась. Мать удивлялась этому, иногда и злилась, но Таня успокаивала ее: «Наберись терпения, еще немного, потом увидишь...»

А когда она, наконец, увидела готовый портрет, счастливее матери, наверное, не было человека. Она, плача, целовала изображение мужа. «Ты вернулся – как солнце взошло...» – при этом приговаривала она. Потом, так же осыпав поцелуями, она приголубила Таню, как будто та вырвала ее мужа из пламени войны и вернула к родному очагу. На портрете, выполненном акварельными красками, отец выглядел как живой. Работа кисти эвакуированной художницы Тани обладала такой силой, что привносила в сердце моей матери чувство присутствия мужа в доме.

Когда я, застроившись, переселился в новый дом, мать сама принесла туда портрет отца: «Пусть висит у тебя на стене. Не вспоминай о том, что ты вырос без отца. Считай, что он всегда с тобой. Пусть внуки видят его, а он смотрит на своих внуков». Но я ведь знал, что значит для нее портрет моего отца. «А как же ты, мама? Пусть висел бы на своем месте». – «Нет, мне достаточно старой маленькой фотографии, – сказала она. – Не всегда же твоему отцу оставаться в лачуге. Он намеревался построить новый двухэтажный дом. Его намерение ты исполнил, сынок. И теперь его место здесь». – «В таком случае и ты переселяйся сюда вместе со своим мужем», – я попытался воспользоваться случаем, но, как и прежде, ничего не добился. «Я не могу. Он мне наказывал хранить дом. Я должна выполнить его наказ. Там витает его дух. Меня не трогай, сынок, оставь в покое»...

С чего я перешел на историю портрета?.. С моего сна. Так вот, мне приснился отец.

Он, хмурый, шагал по сельской улице. В шинели, на голове пилотка с пятиконечной звездой, без оружия. Туго затянут ремень на шинели. На ногах блестят черные с глянцем сапоги. Я следую за ним. И мне удивительно, что отец моложе меня. Я не осмеливаюсь заговорить с ним. Он же идет в свой дом. В тот, старый, одноэтажный. Идет к матери. Он открыл дверь и вошел в дом. А я, замерев, остался во дворе. Потом они выходят во двор вместе с матерью. Я не верю своим глазам: они оба моложе меня! Мать, вся иссохшая, согбенная, как могла так помолодеть? Потрясенный, я радуюсь такому чуду. У меня, бедного, даже промелькнула мысль: «Вот, наступит пора, когда и мы с женой вот так же помолодеем...» И вижу я: отец за руку подводит мать ко мне и недовольным голосом говорит: «Если хочешь, забери ее в свой дом, иначе я заберу ее с собой!» – «Нет, я заберу ее, папа!» – говорю я и делаю шаг вперед, чтобы обнять отца... Сделав шаг, я проснулся.

Что делать? Затосковал я сердцем: отец недоволен мной. Значит, я допустил ошибку, провинился и перед ним, и перед матерью.

И вот, поспешил я к матери, своим видом вызывая у встречных сельчан удивленные вопросы: «Куда ты, учитель? Что-то случилось?» Наверное, им на ум приходила мысль о моей старой матери, я же в ответ только отмахивался.

Дошел до дома матери, и что вижу? Она собирает вещи в узел.

– Куда это ты? – спросил я.

– В твой дом. Твой отец мне наказал, чтобы я переехала к тебе. Он был недоволен мной.

– Как так?

– Он мне приснился прошлой ночью. Во сне и сказал: «Иди к сыну, там живи. Здесь тебе делать нечего». Я спросила: «Но кто присмотрит за этим домом?» Твой отец мне ответил: «Пусть решает наш сын. Он знает».

– Знаю, мать, знаю! – несказанно обрадовался я. – И этот дом мы не бросим. Уж ты будь спокойна.

– Твои желания одно, сынок, да исполнит их Всевышний! Я же хочу другого.

– Чего другого? – не понял я.

– Дай мне слово: пока я не умру, на террасе этого дома ночами будет гореть свет, а зимой ты будешь топить здесь печь.

– Я даю тебе слово: сделаю так, как ты хочешь. Еще обновлю забор, установлю новые дверь и окна. Возведем здесь и второй этаж... Но зачем здесь жечь свет, топить печь? В пустующем доме так не делают. Это нам обойдется в копейку...

– Нет, так я не соглашусь! Здесь сохранишь тот порядок, какой был. Обязательно: ночью на террасе – свет, зимой в печи – огонь. Это мое слово. Это и значит хранить дом. Иначе на нашей террасе не заворкуют голуби, сюда не вернутся ласточки. Ночью в селе на всех террасах горит свет. Как же без света на террасе твоего

отцовского дома? Не дай здесь затосковать духу твоего отца, сынок.

– Хорошо, мать, будь по-твоему, – мне ничего другого не оставалось, как согласиться. – А теперь давай ко мне на закорки.

Она ахнула:

– Что ты говоришь, милый? Да я пойду на своих двух.

– Нет, милая! – тут уже я уступил. – Для твоих ног дорога длинная. Меня маленького ты, бывало, не спускала со спины. А теперь дай и мне понести тебя.

– Люди застыдят, сынок!

– Пусть! Такой стыд, мать, я приму на себя! – Я взял ее на закорки, подхватил и ее узелок, и понес из одного конца села в другой... И никто меня не застыдил. На киме мужчины сказали: «Если есть на свете настоящий мужчина, вот он». А женщины, вытирая глаза концом платка, вознесли мне хвалу: «Всевышний да не оставит тебя, учитель! Да будешь ты здоров до конца дней своих!..»

И я придерживался слова, данного матери: по ночам в старом доме горел свет, а зимой топилась печь. А когда мой сын, отслужив, вернулся из армии, мы там справили ему свадьбу, там же и поселили молодых. Наконец-то мать успокоилась, заявив, что теперь не боится смерти. А то от нее только и слышали: «Иди, растопи там печь... Не забудь про свет... На террасе насыпь зерна голубям...» Удивительная женщина – моя мать...

Учитель Ингар, расчувствовавшись, покачал головой, на глазах у него блеснули слезы.

– После того, как получила похоронку на отца, она никогда не танцевала на свадьбах... Ты знаешь, лезгинка, когда погибает отец, муж, брат, сын, по обычаю обрезает свои косы. Моя мать тогда на этом не остановилась. Каждый раз, когда волосы у нее отрастали, она просила меня вновь отрезать их, после чего укрывала голову под шутку́[1] ... я хочу сказать, что она траур

[1] *Шутку* – женский головной убор, под который прячут волосы.

по мужу носила всю свою жизнь... Да ты знаешь таких: твоя покойная бабушка так же поступила...

Рассказ учителя Ингара потряс меня. Каждый раз при наших встречах, любя и ценя его, мне казалось, что он растет в моих глазах. И теперь я чувствовал, что мое уважение к нему возросло неимоверно. Я жалел, что слушал его один. Многим следовало бы внимать рассказу учителя Ингара...

– Теперь я понимаю тебя, учитель, – вымолвил я. – Но вот что скажу: даже оставив школу, ты остаешься учителем. Я пью за тебя!

– Громких слов не надо... Я себя успокоил, рассказав тебе о наболевшем. Спасибо, что выслушал...

Тут он, неожиданно для меня, переменил тему разговора:

– Говорят, Шуай оставил тебе письмо... Прочитал? Что он написал?

– Пока я учусь древней кавказско-албанской грамоте. За чтение его записей еще не брался.

– Удивительный был человек... После того, как его не стало, наше село начало пустеть... Молодые не остаются, уезжают. Добрых вестей приходят мало, а недобрых – хоть отбавляй... Как будто нас наказывают за большой грех... Народ испортился... Верховодят, кто может, но не кто достоин... Если так продолжится и дальше, куда они поведут народ, вконец сбитый с толку?..

В знак согласия я только молча кивнул головой. Учитель был прав, а я не знал, как выразить то, что наболело у меня на сердце. Все же я проронил:

– Не одно наше село... Вся страна рушится.

– Страна рушится, когда забывают про честь и совесть... Когда устраняют людей, подобных нашему Шуаю... В течение полутора тысячи лет его род хранил Дом Вачe и древний манускрипт, там находящийся... А мы не сумели сберечь его одного. Теперь не осталось ни Дома Вачe, ни древнего манускрипта... И село уподобилось бескрылому орлу...

– Ты считаешь, что Шуай погиб не от несчастного случая, а его убили? – спросил я.

– Да, парень, да. Я тогда еще пришел к такой мысли, и теперь я так считаю. Сельчане просто поверили словам начальства о землетрясении, которого не было... Дом Вече взорвали. Тот взрыв и сорвал не ко времени «накидку» с Ледовой горы. Я все ощущаю сердцем. И сердце мне подсказывает, кто устроил взрыв.

– Кто же это может быть?

– Кому же еще? Есть только один...

– Сардар?

– Да, он, собачий сын! Имени хоть его не называй здесь, сидя перед хлебом!

– Нет фактов, подтверждающих, что это он совершил преступление.

– Нашли бы, если бы поискали. Мы не искали... Все из-за нашей доверчивости, точнее глупости... Верим начальникам, власть предержащим и лишаемся прошлого, исторической памяти, чести и достоинства... Когда-то, по молодости и глупости, я смеялся над Шуаем, говоря, что нет Бога... Знаешь,что он мне однажды сказал? Он спросил: «Хорошо ли ты знаешь лезгинский язык?» Я ответил: «Знаю, конечно». Он говорит: «Что значит «хьухь»? Я отвечаю: «Это значит «будь». «И всё? – спросил он. – А что еще значит «хьухь[1]»? Думаю-думаю и отвечаю: «Дыхание». Он говорит: «Задумайся теперь над тем, что слово «будь» было тем самым первым словом, что было вначале, когда Бог вдохнул дыхание жизни в человека. Наш язык сохранил в едином слове заложенное в него таинство творения...» Теперь стыдно вспоминать. Не знаешь, перед кем бы повиниться... Я не об аде или рае... Но столько всего непонятного че-

[1] Звук «хь» в лезгинском слове «хьухь», одновременно означающем «будь» и «дыхание» – это глубокий, глухой придыхательный звук, который физически имитирует выдох человека или дуновение ветра. То есть само слово родилось из физического акта дыхания, которое затем трансформировалось в абстрактное понятие «Бытие» («Хьунухь»).

ловеку, недоступного его разуму. Все, что непонятно и недоступно человеку, не объясняется нашей наукой, то и есть Бог. Есть некая неведомая нам сила. Есть сила, которая, когда на земле попирают справедливость, восстанавливает ее, когда пытаются установить право сильного, показывает всю тщету и слабость таких попыток... Шуай знал про ту силу...

Глава 3

Однажды мне позвонил Андрей из Москвы.

После последовавших обычных расспросов он интригующе сказал:

– Тебе надо будет приехать в Москву, брат.

– К добру ли? – напрягся я.

– Я приглашаю тебя на свою свадьбу.

– Это правда?! – обрадовался я. – Поздравляю! Даже по голосу твоему чувствую, что ты вырос, друг... И как ты решился? Никогда не слышал от тебя, что хочешь жениться.

– Яда[1], – произнес он на лезгинском языке, – мать поставила мне ультиматум: или женишься, или ты мне не сын!

– Ну и молодчина же Арина Федоровна! Вот это мать!.. Иначе получалось несправедливо: некоторые при жене и детях, как стреноженные, а другие пасутся себе на воле!

– Парень, у меня же были свои планы... Мой бизнес... Ну, ты знаешь.

– Разве женитьба навредит твоему бизнесу?

– Не делай вида, что не понимаешь...

– Где состоится свадебное гуляние? Дома? Или в ресторане?

– Рядом с нашим домом открылся новый ресторан – «Сакля горца». Вот там. Ресторан небольшой, да и

[1] *Яда* – парень.

приглашенных не очень много: мои близкие и соседи, друзья.

– Отсюда ты не хотел бы чего-нибудь?

– Нет... Если не считать двоих хороших зурначей и барабанщика. Их здесь не достанешь.

– Что же это за «Сакля горца» без зурначей?

– Так получилось...

– Как было бы хорошо, если бы Песен оставался в Москве. И ты не узнал, куда он уехал?

– Он уехал, когда меня призвали в армию. Наверное, потому не оставил своего адреса... Я не сумел найти его. Мое письмо к нему вернулось обратно. Кто знает, куда позвали его пути-дороги.

– Бог даст, как-нибудь встретимся... А зурначей и барабанщика я тебе привезу из Махачкалы.

– Сахрай, чан дуст![1] – вновь по-лезгински, четко выговаривая слова, сказал Андрей. – Мы ждем тебя вместе с женой и детьми.

– Получится ли привезти их, не знаю. Жена на работе, ее едва ли отпустят, а дети в школе. Один я, как вольная птица. Ну, спасибо, друг. Увидимся...

После техникума Андрей отслужил в армии, потом некоторое время работал по своей профессии. В новое время ушел в бизнес. Что-то связанное с компьютерами, с их продажей и технологиями. Андрей благополучно прошел все перипетии того беспокойного времени и теперь его дело набирало обороты. Но про женитьбу он никогда не думал, похоже, Арина Федоровна и вправду крепко взялась за него. Видимо, с головой уйдя в записи Шуая, я упустил многое, связанное с Андреем...

Музыкантов, зурначей и барабанщика, я нашел заранее, договорился с ними и в назначенный день свадьбы мы прилетели в Москву.

Не теряя времени, чтобы заехать к нему домой, мы направились прямо в ресторан «Сакля горца». Я купил и два больших букета – для Арины Федоровны и для

[1] Спасибо, милый друг!

невесты. Арина Федоровна, помолодевшая и нарядная, с высокой прической, в синем, спадающем до пола платье, предназначенном для торжественных случаев, дожидалась нас у дверей ресторана.

– Сынок, не дождешься тебя! – бросившись навстречу, она обняла меня и поцеловала.

Вручая букет, я поздравил ее с женитьбой сына.

– Почему не привез жену с детьми? – пожурила она меня. – Я хотела повидать их.

– Жену не отпустили с работы, но она передает вам большой привет и поздравления.

– Спасибо...

– В этот раз, думаю, вы остались довольны сыном?

– Да, в этот раз да! А сколько пришлось уговаривать, у меня, как выражаются лезгины, аж язык выпал. Мне уже давно надо было стать бабушкой. Разве я не заслужила? Не имею права?

– Вы имеете все права, Арина Федоровна!

– Тетя Ширинат! – поправила она меня, подняв голову, радуясь и гордясь, с лицом, излучающим свет.

– Да, милая тетя Ширинат! Есть у вас, кто помогает здесь? Почему не видно Эсмер, моей сестренки?

– Как? – удивилась Арина Федоровна. – Разве ты не знаешь?

– Что? – я непонимающе посмотрела на нее.

– Эсмер же невеста! Невеста Андрея!

– Как?!

– А вот так! Разве я настолько глупа, чтобы упустить такую девушку?.. В тот самый день, когда ты привез ее к нам, я так и подумала, что она станет моей невесткой... Ты своему другу сделал хороший подарок, сынок. Спасибо тебе!

– Сестренка выходит замуж, а брат об этом и не знает. Удивительно! – я попытался пошутить, но вышло серьезно.

– Ну, об этом спроси у них самих, когда они сюда подъедут, – посмеиваясь, сказала Арина Федоровна, и

добавила в оправдание молодых: – Наверное, они думали, что тебя поставит в известность Джебес.

– Хорошо, если он знает.

– Знает, конечно. И благословил. Сегодня от него пришла и телеграмма с поздравлениями... Ты у жениха *устаг*[1], – Арина Федоровна обрадовав меня тем, что помнила это слово. – Если пожелаешь, будешь сидеть рядом с ним.

– Но на наших свадьбах устаг не сидит рядом с женихом...

– Я знала, что ты так скажешь. И Андрей знает.

– Устаг должен заводить свадьбу, прибавлять огонька, танцевать... Но я ведь и названный брат Андрею, и Эсмер – сестренка. Сегодня мне много придется танцевать...

– На тебя, по-родственному, ложится еще одна обязанность! – лукаво взглянула на меня Арина Федоровна.

– Какая же? Я уже не удивляюсь: сегодня для меня день сюрпризов.

– Потом узнаешь, – она увлекла меня и приехавших со мной музыкантов к отдельному столу. – Здесь вам будет удобно.

Не очень просторный зал ресторана и вправду постарались уподобить горской сакле. Столы отделяли друг от друга оградки, имитирующие сельские плетеные заборы. На них красовались глиняные жбаны и ковши, медные водоносы и кувшины. Одна стена представляла собой кавказский ковер с висевшими на нем кинжалом и винтовкой. Другие стены и простенки были украшены изображениями гор, орлов, чабана с отарой, всадников. В углу в очаге «горел» электрический огонь. Официанты красовались в черкесках...

Жених с невестой вошли в зал под звуки зурны с барабаном, той самой мелодии, которая на горской свадьбе возвещает о прибытии невесты в дом жениха.

---

[1] *Устаг* – друг, доверенное лицо жениха.

У Арины Федоровны на глазах были слезы, которые она вытирала маленьким белым платочком.

Про себя я отметил, что Андрей с Эсмером очень подходят друг другу. Обняв обоих, я поздравил их, вручил невесте букет цветов и, приблизившись вплотную, чтобы слышно было в шуме, сказал: «Тем, что скрывали от меня, вы проштрафились. Готовьтесь, с вами у меня будет отдельный разговор!»

Они, смеясь, заявили, что готовы.

Хотя гостей было не так уж много, веселье прошло бурно.

Тамада, после начальных велеречивых здравиц, прочитал длинную, составленную, не жалея как слов, так и денег, телеграмму дяди Джебеса с благопожеланиями молодым и выражением своей искренней радости. Дядя Джебес не только от себя, но и от имени всех мамухцев поздравлял Арину Федоровну, Андрея и Эсмер. «Вы дети Горы Алпан, – гласила телеграмма. – Её чистоту храните в ваших отношениях, в ваших желаниях и делах. Все остальное наладится само собой. Походите на нас с женой, будьте вдвоем как гора, которую никакая сила не обрушит. Такую гору называют Счастьем».

В конце телеграммы было написано: «На этой свадьбе в числе первых и я должен был произнести тост и станцевать. Но мы с супругой не можем приехать. (Тут тамада прокомментировал: «Гора не должна трогаться со своего места», – вызвав смех и аплодисменты.) Пусть за меня, под мелодию «Рипе кюл», станцуют Антер с дорогой нашей Ширинат».

Дядя Джебес в телеграмме свою супругу не назвал невестой, видимо, ему отсоветовали на почте. Хотя, возможно, он сам решил, что Арина Федоровна с Андреем могут его не понять.

Я же понял, что обязанность «по-родственному», на которую намекнула Арина Федоровна, и состояла в исполнении просьбы о танце, высказанной дядей Джебесом в телеграмме.

А название мелодии, которую обычно исполняют на зурне, как я догадался, он указал потому, что был уверен: Песен будет присутствовать на свадьбе. Но Песена не было...

Мы с Ариной Федоровной уже вышли к тамаде, а он во всеуслышание продолжал вызывать в микрофон:

– Ширинат, просим вас! Ширинат, где вы?

– Я здесь! – отозвалась Арина Федоровна.

– Но вы – Арина Федоровна...

– И Ширинат тоже! – улыбаясь, добавила она в микрофон и взглянула на меня.

Я шепнул тамаде: «Я все объясню».

– Не буду спорить! – тамада обратился к Арине Федоровне: – Ваше слово!

Арина Федоровна сказала в адрес сына и невестки то, что матери и положено говорить в таких случаях.

Я же коротко, но стараясь быть понятным, рассказал гостям об истории Арины Федоровны и Андрея. Меня выслушали молча, даже официанты перестали сновать по залу, и я замечал, как возрастало уважение к Арине Федоровне у сидевших здесь, как у них восхищенно заблестели глаза. Не успел я закончить, как весь зал зааплодировал. У Арины Федоровны в руках опять появился белый платочек, она вытерла мокрые от слез глаза.

Я заказал музыкантам мелодию «Рипе кюл».

У Арины Федоровны словно и не было слез на глазах. И я не сразу поверил своим глазам, когда она, подобно лезгинке, горделиво и сдержанно, плавно водя руками, прошлась в танце. Мне и в голову не приходило, что она так мастерски может исполнить лезгинский танец. Едва ли догадывались об ее умении танцевать и Андрей с Эсмер. И они, и все гости встали, хлопая ей. «Ради одного этого танца матери стоило Андрею жениться...» – пронеслась у меня в голове мысль. И себя я чувствовал окрыленным. Наверное, подобное чувство испытывал в молодости дядя Джебес, поднимаясь на натянутый канат.

Долго продолжалась свадьба...

Ближе к концу, выйдя подышать и оказавшись на улице вместе с Андреем, я сказал ему:

– Не забывай, что с тебя штраф: без ведома брата женился на моей сестренке...

– Считай, что твою сестренку умыкнули, по горскому обычаю... Но ведь мы уже помирились, разве не так?

– Только ради уважения к Арине Федоровне!

– Вот и хорошо... А штраф все равно получишь, по окончании нашего медового месяца.

– Ничего не поделаешь. Да будет так... Как бы то ни было, я и горжусь тобой, и завидую тебе...

– Завидовать зачем?

– Женился на девушке, почти вдвое моложе себя...

– А гордишься чем?

– Тем же самим. Еще раз поздравляю, и будьте счастливы!

– Ты настоящий друг! – он по-братски хлопнул меня по плечу.

Глава 4

Не могу не рассказать и о старшем моем друге Песене, о лезгинском зурначе, скитающемся на чужбине, покоряющем сердца тут и там встречающихся земляков мелодией «Одинокий луг».

Так случилось, что в лихолетье распада страны мы потеряли связь.

Песен еще продолжал жить в своем рабочем общежитии, когда я оканчивал Литературный институт. Почему-то он не решался создать семью. Если в беседе вдруг затрагивался этот вопрос, вопросом же и отвечал: «Куда спешить-то?» – «Смотри, потом поздно будет». – «Встретится подходящая для меня, и я, чтобы для нее подходил, тогда и подумаю. Я не знаю никого, кто, женившись, обрел бы счастье».

Хотя со мной и с Андреем он поддерживал дружеские отношения, самим близким его другом, кому он, в минуты печали, изливал свое сердце, оставалась зурна.

В последний раз мы с Андреем виделись с ним перед моим уходом в армию. На следующий же день после вручения мне диплома об окончании института, меня нашла и повестка из военкомата. Большая страна как будто говорила мне: «Я взрастила тебя, сынок, ты отучился в столице, повзрослел, теперь исполни свой долг передо мной». Тут воспротивиться я не смел, Родина была права.

У автобусов, которые увозили нас на призывной пункт, собрались провожающие, близкие и родственники.

Но кто мог в Москве провожать меня? Только Андрей с Песеном. Мои сокурсники, получив дипломы, уже разъехались по домам. Да и ребята, с кем я учился, все были старше меня, в институт они поступили, уже отслужив в армии. В Литературном институте я был одним из тех нескольких исключений, кто поступил туда сразу после школы.

О службе в армии я думал, не особенно утруждаясь. Тогда меня угнетало другое: безвременно скончалась мать. Как она ждала, что я окончу институт и получу диплом, но не дождалась... Потому мне очень хотелось показать диплом бабушке, хотя бы ее порадовать, но и так не получалось.

На сердце у меня было тяжело, я старался не показывать вида, однако Песен почувствовал мое состояние. На прощальном застолье в общежитии, когда я сказал, что все свои вещи и книги оставляю у Андрея, Песен меня поправил:

– Так не пойдет, парень. Книги и вещи оставишь у Андрея. А диплом надо будет отослать бабушке. Оставь у меня, я вышлю. Она ведь ждет его, пусть порадуется. Это придаст ей сил, чтобы и тебя дождаться из армии... Ну, ни о чем не думай, будет сделано.

Андрей поддержал его предложение.

На следующий день у автобуса, когда провожал меня, я чувствовал в Песене старшего брата. Я чувствовал его заботу (что, впрочем, для него не было характерно). Он старался подбодрить меня, травил анекдоты, сыпал шутками.

Андрей всучил мне в дорогу немалый пакет с едой, приготовленный Ариной Федоровной (Прощаться с нею я зашел к ним домой в тот день, когда получил повестку).

У автобуса Песен из своего «дипломата» вынул зурну, и призывники пошли отплясывать. Хотя кавказцев среди них я не заметил, лезгинка увлекла всех, особенно девушек. Пример показал Андрей, который не был похож на горского парня.

Не прерывая игры, Песен коротким жестом указал мне в круг: давай же! Глаза его приказывали. Видимо, он считал это необходимым: хотел, чтобы я уходил в армию, окрыленный лезгинским танцем.

И я исполнил его желание. Я танцевал так, словно всю жизнь жаждал этого, но что-то мне мешало, а теперь получил возможность утолить свою жажду. Круг, сомкнувшись, мне хлопал. В глазах Песена, я видел, сверкала радость, что меня еще больше раззадоривало.

В конце Песен сыграл мелодию «Одинокий луг». Потом убрал инструмент в «дипломат», взял меня за плечи и сказал:

– Доброго пути тебе, братишка! И не бойся ничего! Ни перед кем не пасуй! Иди, как мужчина, и мужчиной возвращайся! У кого голова на плечах, армия хорошая школа, тому она идет на пользу. В армии мужчина закаляется, как нигде. – Он крепко, как старший брат, обнял меня и добавил: – Как прибудешь на место, сообщи о себе в двух словах, без лишнего.

Потом я оказался в объятиях Андрея.

– А если захочешь излить душу, пиши мне, – сказал он. – Песен знает, что такое армия. Мне тоже придется

узнать скоро. Так что, сообщай обо всем, может, успею подготовиться...

Из армии Песену о себе я написал, как он и просил, в двух словах: где служу, и что жив-здоров.

В ответном письме он сообщал, что с обещанным ему жильем в коммуналке ничего не получается, а продолжать жить в общежитиях ему надоело, и что он намерен уехать из Москвы.

Больше мы не общались. Не прошло и полгода, уже осенью, Андрея тоже призвали в армию. В то время и Песен куда-то уехал. Он не был любителем писать письма, что, на мой взгляд, стало причиной тому, что мы потеряли друг друга.

Письмо, которое из армии Андрей послал ему на московский адрес в общежитие, вернулось обратно.

Песен, конечно, не мог знать, где я окажусь после армии, но он мог бы написать мне в село. Однако не написал.

Он мог написать Андрею, его адрес он знал. Но и ему не написал.

Разные мысли приходили мне в голову. Для нас с Андреем он был как старший брат. Не посчитал ли он, расставшись с нами и оказавшись далеко, что мы достаточно возмужали и теперь не нуждается в его опеке? Не потому ли не писал, что не хотел быть нам в тягость? Больше всего я склонялся к этой мысли...

Спустя много лет, когда не стало большой страны, которая нас объединяла, уже в новое время и при новых порядках, когда нередко люди менялись до неузнаваемости (знаю таких, выглядели ангелами, а обернулись волками), когда сам прошел через многое, остался ни с чем, познал нужду, боль и разочарование, я вспоминал Песена, в моей голове звучали мелодии его зурны, и я тосковал о нем, как о старшем брате. Но я хотя бы жил в родной стороне, он же продолжал пребывать на чужбине, без близких и родных. Видимо, и близких, и братьев-сестер ему заменяла зурна.

Но вот появился Интернет! И стал обратно соединять людей, потерявших друг друга.

Несколько освоившись в виртуальном мире, я начал искать Песена. И нашел его на далеком севере, в поселке под городом Сургутом.

В Фейсбуке я наткнулся на страницу «Уткемов Песен». Без ожидаемого портрета, но увидел фотографию трех мальчиков пяти-семи-десяти лет и женщины, видимо, их матери. Женщина по облику была славянкой. В мальчиках я пытался уловить черты Песена и никак не мог решить: похожи они на моего друга или нет? Может же жить на свете и другой Уткемов Песен. Фотографий на странице было немного, и на всех те же мальчики и их мать. Но вот, наконец, черно-белая фотография, которая заставила мое сердце вздрогнуть. Это было фото, которое сделал Андрей на посиделках в общежитии Литературного института! С фотографии смотрели Песен со своей неизменной зурной, я собственной персоной, поэт Шабал Камкам и красавица Ландыш, которую он приобнял за плечи. С Шабалом я как-то познакомился в Махачкале, когда приехал на каникулы, несколько раз мы виделись в Союзе писателей. Он учился на филологическом факультете Дагестанского государственного университета. Он был на два года старше меня, в Дагестане уже получил известность как молодой поэт. Славу ему прибавляли бесшабашное поведение, пьяные загулы и любовные похождения. И в Москве, в нашем общежитии, он заставил о себе заговорить, и даже получил прозвище «Великий поэт нашей эры». Но это другая история...

Я немедля написал Песену, и наши отношения возобновились. Теперь мы созваниваемся, поздравляем друг друга с праздниками. Но почему-то он никак не приедет на родину. Все собирается, но что-то его удерживает. Он работает. Ведь надо содержать большую семью. (Трое мальчиков – не шутка!) А женился он позже меня.

«На зурне еще играешь?» – написал я ему. И получил ответ: «Играю. Здесь много лезгин. Я играю на наших застольях, даже на свадьбах. Когда просят, не могу отказать». Я догадался об одной причине, которая позволяла ему не спешить домой: он и там, в далеком краю, нашел земляков, таких же, как он сам, волею судьбы оказавшихся вдалеке от родных мест.

Главное же, он продолжал играть на зурне. Я представляю себе, как его зурна вдали от родной земли собирает и объединяет лезгин, пробуждает в них дух отцов, напоминает им о своих корнях. И еще я не сомневаюсь: там, на севере, когда лезгины собираются на праздники или на свадьбе, Песен исполняет им такие древние наши мелодии, как «Одинокий луг», «Хеб царакай»[1], «Лезгинский марш» и многие другие. И эти мелодии на глазах у поседевших лезгин вызывают скупые слезы, а молодых заставляют думать: «Почему они, седовласые, тайком утирают слезы?» – и доискиваются причин такого поведения. И они оказываются на верном пути. И рано или поздно настает пора, когда к ним приходит понимание: слезы в глазах седого отца говорят о неугасаемой любви к родной земле, о тоске по ней, о жажде видеть ее процветающей, о готовности встать на ее защиту... Да, благородным делом занимается Песен. Он привносит в сердца своих соотечественников дух древних предков. Песен понимает: в кого заложит этот дух, тот никогда не навредит своему народу, не предаст родину, не забудет о прошлом родной земли... Иметь в себе частицу духа предков – это значит при разных жизненных ситуациях сохранять свои честь и достоинство, быть чистым в своем деле, к человеку, независимо оттого, велик он или мал, относиться с должным уважением, гордиться своим народом и приумножать его славу...

Та черно-белая фотография, которая помогла мне найти Песена, не сохранилась ни у меня, ни у Андрея, и

[1] «Овцы по склону».

я даже забыл о ней. Однако незабываемо время, когда у нас появился Шабал Камкам. И наша история будет неполной без рассказа о нем. Кроме того, много лет спустя после тех событий в столице, я узнал о любопытном факте из его жизни, связанном с судьбой Шуая...

Итак, как-то раз Шабал Камкам приехал в Москву.

Было начало апреля. В столице было еще холодно и сыро. Еще лежал снег, то подтаивая, то схватываясь морозцем. С неба давили, тяжело нависая, свинцовые тучи. У нас в селе про такие дни говорили, что надо сидеть дома и варить картошку. В такие дни меня навещали Андрей и Песен. Порой они приносили с собой и картошку, которую мы варили в мундире, и прочую закуску, нет-нет и водку. В тот день, когда приехал Шабал, Песен также появился с картошкой (и с зурной во внутреннем нагрудном кармане). Оттого, что он был старше, а мы с Андреем были студентами, заботу о закусках обычно он брал на себя, поясняя при этом, что он получает не стипендию, а зарплату. Запрещая нам тратиться, он советовал на наши деньги покупать книги. Впрочем, к его запретам мы не всегда прислушивались.

Андрей в тот день взял с собой новенький фотоаппарат. «Парни, у нас происходят исторические встречи, а они остаются не запечатленными, – заявил он. – Вот почему мне пришлось купить фотоаппарат на свою последнюю стипендию. Исторические моменты надо увековечивать».

День был воскресный, я знал, что придут друзья, к чему тоже приготовился, купил бутылку водки и две бутылки вина. Застолье, пусть и не праздничное, требовало некоторых стараний. Могли заглянуть и наши студенты, а у нас не было привычки запираться. «Веселиться надо не скрываясь, – говорил Песен, – иначе веселье не во благо». С его мнением нельзя было не согласиться.

Не успели мы сесть за стол, как в дверь постучали. Сосед, живущий в другой комнате в нашем «сапожке» общежития, сказал мне:

– Спустись на вахту. К тебе гости, да еще издалека.

Незнакомых посетителей вахтерша пропускала, только удостоверяясь, к кому они пришли и кто за них, в случае чего, будет отвечать. Хотя я никого не ждал (да еще издалека), вниз спустился.

Увидев меня, Шабал Камкам, широко улыбнулся, кинулся мне навстречу:

– Дорогой друг, неужели я вижу тебя!

– Почему бы и нет, разве я пропадал?

В серой кепочке, в пиджачке с поднятым воротничком, в легких, не по столичной погоде, полусапожках – я сразу смекнул: нелегкая занесла его сюда. Да и заговорил он не как обычно, пафосно и точно не замечая собеседника, что-то неуверенное просквозило в его словах:

– Почти год прошел, как не виделись... Соскучился по другу... Товарищу по перу... брату по духу...

– Ну, не тяни, говори, в чем дело... А почему ты не на занятиях? Как ты оказался здесь?

– Долго рассказывать, да и не здесь.

– Так поднимайся ко мне, – пришел, назвав мое имя, да еще, видимо, попал в какую-то передрягу, не мог же я оставить его на улице.

– Я не один, со мной еще вон та красавица, – он указал на светловолосую девушку в голубой курточке, и вправду красивую, сидевшую у столика, на котором раскладывали почту – студенческие письма и газеты. – Мы познакомились сегодня утром у памятника Пушкину... Зовут ее Ландыш...

– Здесь негде будет переночевать с нею, – решительно заявил я, догадываясь, что у него на уме.

– Дорогой мой, за кого ты меня принимаешь? – он сделал обиженный вид. – Я остановился в гостинице. В «Центральной». – И, развеивая мои сомнения, он пояснил: – На номер в гостинице у меня есть деньги. В журнале вышла моя поэма. Деньги получил. Теперь, вот, решил расслабиться, повидаться с другом, посидеть...

Шабал подозвал Ландыш.

Без преувеличения, она была красива, эдакая милая и нежная штучка.

– Я прочитал ей стихи Есенина, выдав их за свои. Теперь от меня не отстает.

– Если бы прочитал свои, не покорил бы ее сердце. Так ведь? – не удержался я.

– И своими покорю! – он поцеловал подошедшую девушку и экспромтом выдал на лезгинском две строки: – Ширин Ландыш, масан Ландыш! Ни лугьуда вун зи чан тыш?[1]

– Что-что? – колокольчиком прозвучал голос ничего не понявшей девушки.

– Воспеваю тебя при друге, – шепнул ей Шабал.

– Надеюсь, в хороших стихах?

– Без всяких сомнений! – я поспешил ее заверить. – Стихи прекрасные.

– Я надеюсь...

Мы поднялись ко мне. Новые гости познакомились с Песеном и Андреем. Застолье удалось на славу. Пели песни, танцевали под зурну. Шабал Камкам учил Ландыш лезгинским танцам. Андрей нас фотографировал. Потом сам садился со всеми и просил сфотографировать кого-нибудь из нас. Впоследствии выяснилось, что фотографом он был еще неопытным. Когда снимки проявили, почему-то удачной получилась только та фотография, которая помогла мне найти Песена. Мы решили ее отдать ему как старшему...

Как оказалось, очень серьезная причина занесла Шабала Камкама в Москву: его исключили из университета. Об этом он поведал мне вечером, перед тем как уехать в гостиницу.

– Да, парень, выгнали меня... Из-за женщины... В Махачкале ты бывал в ресторане гостиницы «Ленинград», в Европейском зале?

[1] Перевод: Сладкая Ландыш, милая Ландыш! Кто скажет, что ты не душа моя?

– Один раз довелось...

– Зашел я туда, в надежде развеять сердечную тоску, и увидел там знакомого студента. Сам черный, как кизяк, смотреть не на что, но такая девушка с ним была! Тоже студентка, я сам к ней приглядывался, а этот урод успел первым... Хотя на кизяк походил он, загорелся я. Да и выпито было... Не стерпел я, пошел и взял этого парня за грудки: «Исчезни! Этой девушке ты не пара!» И ей сказал: «Как тебе не стыдно с таким обезьяноподобным появляться в ресторане? Ведь есть такие парни! Есть молодые поэты!» А тот вместо того, чтобы исчезнуть, послал меня с моими стихами куда подальше... Ну, подрались мы... И менты нагрянули... Словом, дошло до ректора. Нас всех троих за нарушение общественного правопорядка... Еще не было приказа о нашем исключении, когда меня нашла та девушка. Она сказала: «Совесть не мучает тебя? По твоей вине исключают и меня, и моего друга...» Ее слезы вызвали у меня жалость. Я направился к ректору. Он меня принял. Оказывается, читал мою поэму. «Одаренный поэт, а что себе позволяешь?» – «Допустил я глупость, – признался я. – Я заслужил исключение из университета, но те двое не виноваты. За все должен ответить я один. Если из-за меня пострадают безвинные, это будет горем всей моей жизни. Прошу внять моим словам и не исключать их...» – «Поэт ты настоящий, – растрогался ректор. – Ты стоишь за справедливость, я тебя понимаю. Я бы и тебя не исключил, но у меня нет выхода, закон не позволяет». Вот так, те двое остались в университете, а меня исключили. А сюда я приехал, спасаясь от призыва в армию. Летом попробую поступить в ваш институт.

– А до тех пор собираешься жить в гостинице? – полюбопытствовал я.

– Найду уголок, где приютиться, – отмахнулся он. – Поэтам помогают небеса.

Ландыш, живущая где-то в Подмосковье у бабушки, приютила у себя и Шабала Камкама. Поистине, небеса не оставляют поэтов...

Перед вступительными экзаменами в Литературный институт требуется пройти через творческий конкурс. Стихи, предоставленные Шабалом Камкамом, прошли конкурсный отбор, и его пригласили на вступительные экзамены. Два экзамена он сдал, а на третий его не хватило... Поэтам всегда мешают женщины.

В дни экзаменационной сессии Шабал Камкам проживал в общежитии института и тут сошелся с Эрой, женщиной лет под пятьдесят. Несмотря на возраст, она еще сохранила молодость и красоту, оставалась притягательной для мужчин и умела их завлечь. Эру хорошо знали в нашем общежитии, где ее высоко ценили. Работала она недалеко от нас в гастрономе и жила близко от общежития, куда часто наведывалась, охотясь за студентами. Ее чары особенно неотразимо действовали на новеньких, в числе которых оказался и Шабал Камкам. Он совершенно забыл о Ландыш, действительно напоминавшую цветок. Четверостишие, посвященное им Эре, в общежитии повторяли наизусть:

Краснею перед Вами,
Как галстук пионера.
В моей душе – цунами,
И звать цунами – Эра!

В общежитии, занимая часть третьего этажа, жили девушки-молочницы, направленные на Останкинский молочный комбинат (находящийся недалеко от нас) на практику из разных городов. Шабал Камкам тайком от Эры завязал знакомства и с молочницами. Он кружил им головы тем, что читал стихи. Жалуясь на плохое владение русским языком, просил у них помощи, давал им на чтение тексты якобы предполагаемых диктантов, делал вид, что усиленно готовится к экзаменам. Девушки жалели поэта-абитуриента, старались ему помочь, а все кончалось тем, что оказывались вместе с ним в постели. Обычно они не противились его

домогательствам, но в одном случае поднялся шум и крик, девушка позвала на помощь. Первой ей на выручку поспешила Эра, которой вздумалось, к несчастью, в тот момент оказаться в общежитии, где она искала Шабала. Он же выскочил ей навстречу из распахнувшейся двери с головой, облепленной макаронами (видимо, девушка угостила его сковородой), вслед ему из комнаты полетели книжка с тетрадкой. Что оставалось делать Эре? Она в свою очередь несколько раз ударила по непутевой голове Шабала пакетом с колбасой, сыром и маслом, при этом приговаривая: «Ты у меня как сыр в масле катаешься, а тебя потянуло на молочное!»

Собравшимся на крики студентам и молочницам с трудом удалось вывести разъяренную Эру из общежития.

А абитуриента Шабала Камкама на следующий день вызвали к ректору.

Покаянные речи молодого поэта никакого воздействия не оказали на ректора, он хотел лишь взглянуть в глаза тому, кто осмелился покуситься на честь молодой девушки.

– Немедленно убирайся из общежития! Убирайся подальше из Москвы, сукин сын! – грозно сказал ректор.

Этот «сукин сын», слетевший с уст пожилого джентльмена, не оставили Шабалу никаких шансов. Больше он не вымолвил ни слова. Если бы эти два слова (остальные не в счет) прозвучали в его адрес от другого лица, он не оставил бы их без ответа. Ответил бы или словами, или кулаками. Но их произнес ректор, человек с благообразным лицом, неизменно корректный в отношениях со студентами, в свое время (еще при Сталине) ведавший всеми театрами Москвы, и сегодня пользующийся большим уважением со стороны столичной интеллигенции. Последние два слова этого человека Шабалу Камкаму показались в высшей степени убедительными и справедливыми. В те минуты он осознал,

какую допустил глупость, пятно от которой никогда не смоется с его совести. С опушенной головой вышел он от ректора, забрал в институте свои документы, в общежитии забрал свой чемодан и поехал на вокзал...

Шабал Камкам попытался восстановиться в университет, откуда его исключили, но ему не удалось, он опоздал.

Опять отлынивая от призыва в армию, около года он чабанил в колхозе родного села (чабанов не хватало, юношей, выбравших эту профессию, вроде бы, временно освобождали от службы в армии). Каким образом знания, полученные на трех курсах университета, он использовал в работе чабана, кроме него самого никто не знает. Как бы то ни было, пребывание на лоне природы пошло на пользу его стихотворчеству. Из армии он привез такую фразу: «Волки – враги овец, критики – враги стихов. Волкам противостоят собаки. Вывести бы породу собак против критиков, и литература развивалась бы успешнее». Со смыслом были слова...

Вновь хотел вернуться в университет, но его не приняли. А в третий раз уйти от армии уже не получилось. Забрали его. Вернувшись, отслужив два года, он издал свою первую книжку. Большей частью в ней были стихи, написанные в ту пору, когда он чабанил. С этой книжкой и военным билетом, гордый своей армейской службой, даже не сняв форму, имея на то право, Шабал Камкам явился к ректору университета. «Теперь я чист от прежних грехов, – сказал он ректору. – Хотя бы теперь восстановите меня». Удовлетворению его просьбы помогли книжка и служба в армии. «На очное отделение не получится, продолжай учебу заочно, сынок, – сказал ректор Шабал Камкаму. – Теперь ты профессиональный поэт. Твои стихи любят наши студенты. И я их читал, неплохо. Ты возмужал, состоялся как человек».

Если бы ректор не удосужился прочесть книгу Шабала, может быть, его приняли бы на очное отделение.

Почтенный профессор, видимо, обратил внимание, что большинство стихов о женщине и ее прелестях, сладостной боли любовного чувства. А не выкинет ли он завтра еще чего-нибудь?..

Шабал Камкам окончил университет.

Как-то, предаваясь размышлениям о своей жизни, он мне рассказывал:

– Удивляюсь я: мне попадались женщины с особенными именами – Ландыш, Эра... Потом мне еще встретилась Паллада. Паллада Басруховна. Она преподавала в одном из университетов Махачкалы. Блондинка. Все ее прелести настраивали на творческий лад. А ножки... Обложки всех модных журналов поблекли бы перед ней... Думал, что ангелы на небесах завидуют ее красоте... Я даже намеревался жениться на ней. И она была согласна. Но до дела не дошло, я отступил. Она отличалась неимоверным аппетитом. Изводила студентов. Брала деньги за сдачу каждого зачета, каждого экзамена. И не стыдясь своего имени. Своей красоты. Скажешь ей: «Зачем так делаешь? Ты же педагог». В ответ: «Все так делают». – «Все? – не верилось мне. – Не может быть...» – «Да! – подтверждала она. – В учебных заведениях Дагестана берут все преподаватели... Разве что за исключением дряхлых профессоров, которые не в ладу со своей головой...» Тех редких старых профессоров, сохранивших честь и достоинство, соблюдающих устои советской морали, она принимала за умалишенных... Я решил, что лучше остаться одиноким, чем иметь такую жену... Видимо, брать деньги легче, чем давать знания. Их совесть не знает тяжести стыда. Откуда, если нет самой совести? Я пытался разобраться в их духовных хитросплетениях, а их просто не оказалось. У них в душе все гладко: неси деньги – получай оценку. Вот закон, которым они живут... Как-то я оказался в одном университете во время летней сессии. На спортплощадке преподаватель физкультуры принимал экзамен. Вернее сказать, принимал не зачет, а деньги. Он

сидел на стуле посреди площадки. А рядом, на другом стуле, коробка. Студенты выстроились в очередь. По одному они подходили к преподавателю, показывали ему деньги и опускали их в коробку. А преподаватель брал зачетку каждого и рисовал оценку. Смотря по тому, сколько получил денег... Счет шел от тысячи рублей, столько стоила троечка. Некоторые из студентов уходили опечаленные: им недоставало бумажки в пятьдесят или сто рублей. Преподаватель отличался твердостью своих принципов... Потом я узнал от своего знакомого, у кого сыновья учились в том университете: студенты стали расплачиваться за оценки фальшивыми тысячерублевыми купюрами, которые они по дешевке приобретали на черном рынке... У меня была мысль написать сатирическую поэму о таких преподавателях. Не написал, потому что я встретился с девушкой по имени Сатира. И мой сатирический пыл испарился...

– Девушка по имени Сатира? – не поверил я.

– Клянусь твоим Шуаем, ее так звали. А была таким милым созданием. Но из-за ее имени я не решился жениться на ней.

– Разве она не могла сменить имя?

– Я ей так и посоветовал. Она отклонила мой совет, дорожа именем, которым наделили ее отец с матерью.

Время шло, а Шабал Камкам долго еще оставался холостяком. Все его знали, везде читали его стихи. Однако молодые девушки не решались связать с ним свою судьбу. А с разведенной или вдовой он сам не желал связываться. В конце концов, не сумев заиметь в городе жилье (он всегда проживал квартирантом у чужих), так и не обзаведясь семьей, он вынужден был уехать в свое родное село. В городе еще можно вести холостяцкую жизнь, в селе же трудно без жены в доме, и это считается за чем-то постыдным. Как в родном, так и в соседних селах из уст в уста, да еще приукрашивая, передавались рассказы о его любовных похождениях. И таким образом проблема женитьбы поэта стала чуть ли неразрешимой.

Однажды на киме сельчане рассудили: «Как ни прикидывай, но Шабал Камкам – поэт, и наш односельчанин. Через него о нашем селе узнали во многих местах. Так разве его жизнь, проходящая в тоскливом одиночестве, не говорит о нашей недопустимой слабости? Надо как-то помочь ему!» Судили да рядили, и один из мужчин сказал: «В одном из сел вдоль Верхней реки живет отец пяти дочерей. К его младшим дочерям без конца ходят свататься, а старшая никого не привлекает. Отец же не хочет нарушить обычай предков: пока старшая не вышла замуж, не выдает остальных. Девица, как рассказывают, не красавица, высокая, как жердь, да и возраст подходит к сорока годам. Но, чего не бывает, вдруг понравится нашему поэту?» Предложение понравилось сидевшим на киме мужчинам, о нем сообщили поэту.

Шабал Камкам, у которого возродилась надежда, принял предложение односельчан, но после того, как поспешно спросил:

– А как имя той девушки? – опасаясь, что имя в очередной раз окажется необычным.

– Зовут ее Цюкер-Ханум, – ответили ему. – Госпожа цветов.

– Поэтичное имя, – добавили сельчане, не осведомленные о причине его интереса к имени девушки, опасаясь отказа. – Ты поднимись-ка сначала к Верхней реке.

– Имя красивое, – согласился Шабал, догадываясь и о красоте девушки, которая, не по своей вине, стала камнем преткновения на пути к счастью младших сестер.

И вот, на следующий день он отправился в село на Верхней реке, к отцу пяти незамужних дочерей. С ним они встретились у ворот обычного двухэтажного дома.

– Салам алейкум, дорогой дядя!

– Алейкума салам!

– Принимаешь гостя?

– Принимаю. Проходи.

Отец пяти дочерей был высоким, горделивого вида, с высокой папахой на голове горцем, еще не старый. Ничего больше не говоря, он пошел впереди, тем самым приглашая гостя следовать за ним.

Поднялись наверх, на балкон. Хозяин подвел гостя к столу в конце балкона, указал на стул:

– Присаживайся.

– Меня зовут Шабал Камкам.

– Наслышан.

– Хорошего или плохого?

– Говорят, что ты поэт.

– А это, быть поэтом, хорошо или плохо?

– Знать слова, уметь вдыхать в них жизнь – хорошо. Если еще с пользой...

Из последних недосказанных слов горца Шабал Камкам сделал такой вывод: «Если бы я был поэтом, моя дочь не засиделась бы в старых девах». С другой стороны, Шабала обрадовало, что этот горец, по всему видать – истинный, ничего не знал о его похождениях и связях с женщинами.

– Ты тоже подобен поэту, дядя.

– Как так? – поразился горец. Пожалуй, его неприятно тронуло свое уподобление поэту.

– А вот так, – сказал Шабал Камкам. – Поэту каждое стихотворение, написанное им, представляется дочерью, которую надо выдать замуж. Вовремя пустить стихи в печать, довести их до читателей – вот какая проблема встает перед поэтом. Он бы желал, чтобы написанные стихи тут же и печатались... Так, пока не увидели свет прошлогодние стихи, я не могу дать в печать стихи этого года. Не могу позволить себе этого. (Тут он лукавил.) Боюсь тем самым обидеть свои прежде написанные стихи... Вот ты, дорогой дядя, прежде старшей дочери не выдаешь замуж остальных. Во-первых, этим ты придерживаешься обычая отцов. Во-вторых, ты показываешь пример людям, заставляя их осознать: забвение обычаев ослабляет народ...

– Ну, не гони, парень! Иметь много слов еще не повод, чтобы их много изливать из себя... Выкладывай, за чем пришел?

– Дело в том, дорогой дядя, что я человек холостой. И я бы хотел иметь своей женой дочь такого настоящего горца, как ты. Твою старшую дочь – Цюкер-Ханум.

Отец дочерей молчал, точно решая про себя, верить или не верить словам поэта. Шабалу показалось, что его молчание затянулось, но он заставлял себя быть терпеливым.

Горец, должно быть, про себя задавался вопросом: «Разве возможно, чтобы известный поэт, ценитель красоты, из всех моих дочерей выбрал самую некрасивую?» Наконец он, желая приоткрыть сердце гостя, решил схитрить:

– Будь ты каким-нибудь трактористом, я бы выдал за тебя свою дочь. Но, сынок, ты поэт, находишься среди людей, и у тебя жена должна быть красавицей.

– Дорогой дядя, – Шабал Камкам опять начал издали, – в своей жизни до сих пор я замечал только видимое глазом, что и воспевал в своих стихах. Теперь я уже не молод, вошел в возраст, познал жизнь. Теперь я замечаю красоты, невидимые глазом. Вот их образец: твои младшие дочери, верные слову отца, не переступают через свою старшую сестру, дожидаются, пока ей не улыбнется счастье. Разве это не красиво? Тут плоды твоего воспитания дочерей. А если младшие сестры умны, почему в старшей нельзя предположить еще больше ума? Никто не знает, какие бури сотрясают ее сердце. Кто подумал о том, как тяжко ей осознавать, что закрывает дорогу сестрам? А разве совестливая душа не красива? Вот и другой образец, дорогой дядя.

– Забирай! – сказал горец.

– Что? – от неожиданности Шабал опешил.

– Забирай мою дочь, когда тебе угодно. Выдаю ее за тебя...

Вот так Шабал Камкам женился на Цюкер-Ханум. И остальные дочери того горца, точно ветром их под-

хватило, повыходили замуж. Без сомнения, их мужья спешили стать свояками Шабала Камкама. Как рассказывают, многие жалели, что опоздали стать его родственником...

Спустя много лет, когда повернулось колесо истории, распалась великая держава, о которой тоскуют народы, когда наступило новое время и мы оказались в другой стране, когда жизнь наконец-то с трудом стала налаживаться, ко мне в издательство заявился Шабал Камкам. Под мышкой он нес толстую папку.

– Парень, ты и не интересуешься обо мне. И не навестишь старого друга. Тебе знакома дорога только в свое село, как будто в Лезгистане нет больше других сел и городов...

– Не тяни. Давай сразу к делу.

– Жизнь проходит, друг, у нас не спрашивая, словно это и не наша жизнь, а чужая...

– Опять тянешь...

– Словом, парень, мне исполняется пятьдесят лет. Я привез рукопись. – Он открыл папку. – Это надо издать, как есть, не убирая ни строки, не меняя ни буквы.

– А так получится?

– Получится. Теперь же демократия... Впрочем, тут нет ни одной строчки, за которую тебе пришлось бы отвечать.

На первой странице рукописи было выведено: «Цюкер-Ханум».

– По заглавию видно, – заметил я, – что нельзя убрать ни строчки. Стихи про любовь.

– И про любовь, и про жизнь. Тут и сегодняшний уродливый день. Боль и печаль. Заботы. И лекарство от всего, утешение, чем стала для меня Цюкер-Ханум. Вот так, друг.

– Если ты счастлив, зачем тогда писать стихи?

– Сами собой идут... Сколько ни говорю себе: не буду писать, они идут... Не напишешь, так и кажется, что наносишь обиду чему-то святому. Это стало происходить после того, как я женился на Цюкер-Ханум.

– Верю. Теперь твоя муза носит имя Цюкер-Ханум...

– Я собирался вот о чем тебе сказать, чуть было не забыл. – Шабал Камкам закрыл папку, завязав тесемки, отодвинул ее в сторону, посмотрел мне в глаза, давая понять, что разговор будет серьезным. – Когда-то моя Цюкер-Ханум была активной комсомолкой... Я знаю, ты что-то пишешь о своем односельчанине Шуае. Вот почему в том, что я скажу, может быть, ты найдешь смысл. Разнеслись слухи, что Шуай погиб при землетрясении, заваленный камнями. Слухами тогда все и кончилось... Моя Цюкер-Ханум входила в группу, которую из района отправили на Гору Алпан, чтобы разрушать там святилища. Их было пятеро юношей и три девушки. Среди них был парень по имени Сардар из вашего села. Товарищи не знали, что он сын второго секретаря райкома. Моя Цюкер-Ханум узнала это теперь, когда он стал хакимом. Увидела по телевизору... Когда их группа приближалась к месту, их догнал всадник на взмыленной лошади. Он сообщил, что первому секретарю, который послал их в гору, неожиданно стало плохо. У него в проходе желчного пузыря застрял камень, вызывая невыносимую боль, и его срочно на вертолете увезли в больницу в Махачкалу. Передавали, что, где-то отыскав, он взял с собой Коран, завернув его в красную материю. Целуя Коран, он читал молитвы. Вот он и приказал святилища не трогать, а группе вернуться назад... Бедный секретарь, рассказывали, до смерти испугался, решив, что его настигла кара Господня... Группа комсомольцев повернула назад. Но не вся. Ваш односельчанин, у которого оставалась и сумка с динамитом, отделился от них, сказав, что пойдет в свой Мамух. Девушки задержались в лугах, собирая съедобные травы. И они видели, как Сардар, ушедший уже далеко, поймал в поле лошадь и поехал на ней, но не в село, а в гору... Кто знает, друг мой, не взорвал ли он на горе пещеру с Шуаем... Сыновья тогдашних начальников теперь сами стали начальниками. Все они одним миром

мазаные. Человек для них ничего не значит. Только и знают, что обдирать народ. В советское время, когда их опаляло, тайком целовали Коран. Теперь же грабят, берут взятки и, на всякий случай, ездят на хадж в Мекку... А веры ведь ни у кого нет, только вид делают. Они не понимают, что олицетворение Всевышнего – Великая Справедливая Сила находится здесь, на земле, она в том самом народе, который они обирают. Они не понимают, что бесчестят самого Всевышнего...

Я безмолвствовал.

– Почему молчишь? Мои слова тебе ни о чем не говорят?

– Твои слова мне много чего говорят, друг, – сказал я. – О том, что Сардар негодяй, я знаю давно. Его подозревали, в селе о нем плохо отзываются. Но я не думал, что он подлец до такой степени.

– Надо посадить этого собачьего сына! Я помогу тебе. Моя Цюкер-Ханум поможет, она свидетель.

– Думаешь, что справедливость, не найденная в советское время, восторжествует сегодня, когда попраны все законы?

Шабал Камкам глубоко вздохнул, помолчав, потом сказал:

– Ты прав. А жаль... Им ничего не стоит задавить, уничтожить без следа того, кто подаст голос за справедливость... Вот так они отторгают Всевышнего от народа, чтобы еще больше развязать себе руки... Ну, парень, своим рассказом я навел на тебя тоску. Так не пойдет! Расскажу-ка тебе и кое-что веселое, опять связанное с твоим «другом» Сардаром и его отцом. А я услышал от Цюкер-Ханум, у них в селе это было. Рассказать?

– Расскажи, так и быть.

– В летнюю пору женщины в поле убирали сено. Из района приехали посмотреть, как идут страдные работы. Приехавших возглавлял отец Сардара, секретарь райкома по идеологии. Выступает он перед женщинами, соловьем заливается. Поясняет, как надо придер-

живаться партийной линии при уборке сена. Советует выбирать колючки из сена, так как его будут поедать советские коровы. Женщинам его беседа почему-то не понравилась. И вот, одна из них, подмигнула остальным: «Девчата, поступайте с ним, как принято. Его нельзя так просто отпускать!» А женщины того села издревле знамениты тем, что могут раздеть чужих мужчин, которые им попадаются, и по-своему испытывают их. Отец Сардара ведь из другого села, и не знал про их обычай... Он себе говорит и говорит. И не замечает, что к нему с двух сторон медленно подступают женщины. Он упивается своей пустопорожней болтовней... Один из сопровождавших, знакомый с тем селом, догадавшись о затее женщин, крикнул: «Беги, старшой!» И сам, и все, кто его понял, побежали. А секретарь не мог последовать за ними: крупный был мужчина, да и не понял ничего... Женщины накинулись на него, потрепали изрядно, стянули с него белые штаны, даже трусов не оставили на бедолаге. Потом они, взявшись за руки, пошли вокруг него водить хороводы, напевая и приплясывая. Несколько девушек убежали, прихватив секретарские штаны. За ними пустились в погоню, но разве догонишь молодых девушек в поле, это же не в кабинетах их тискать... А секретарь то умоляет отпустить его, то стращает тюрьмой, но женщины не испугались и тюрьмы! Секретарь по идеологии, схватившись за голову, остался сидеть в кругу приплясывающих женщин. На его счастье, со склона горы спустились чабаны, они выручили бедолагу. Чабаны-то были свои, послушавшись их, женщины ему вернули и штаны. «Здесь не появляйся с такими лекциями», – напутствовали секретаря женщины. Больше о нем в том селе не слышали...

Шабал Камкам весело посмотрел на меня:

– Что скажешь, развеял я твою тоску? Вынул занозу печали из твоего сердца?

– Об этом я не знал...

– Дарю. Включи в свою книгу, – Шабал расщедрился.

– Почему сам не напишешь?

– Я же не пишу прозу, как ты. Это для прозы больше подходит.

– Да будет по-твоему, – я принял подарок друга. – И да воздастся тебе...

...Старая фотография, сохраненная моим другом Песеном, дала повод для длинного рассказа о Шабал Камкаме. Благодаря ему подтвердилось, что Сардар с динамитом поднимался на Гору. Больше узнал я и о его отце.

А свидетельство Цюкер-Ханум заставило меня поспешить с чтением тетради Шуая.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Глава 1

Пакет, дошедший от Шуая, нарушил спокойный ход моей жизни.

В конце концов я овладел древней кавказско-албанской грамотой, научился читать и писать. Переведя записи Шуая на современную лезгинскую графику, я получил две удивительные вещи: его письмо ко мне и рассказ о посещении царем Вache нашего края, Горы Алпан.

Вот они.

Письмо Шуая

Здравствовать тебе, Антер, сынок!

И это письмо, и записи я оставляю у брата Джебеса с просьбой передать их, когда тебе исполнится тридцать три года. Почему в тридцать три года, ты, вероятно, поймешь. А если непонятно, спроси у брата Джебеса или своего друга Эдгема. Это человек, как и его дядя-канатоходец, большого и чистого сердца и глубокого ума. Я передал ему и древнюю рукопись из Дома Вache, он владеет албанской письменностью. В той рукописи рассказывается о приезде царя Вache в наш край, о деяниях царя и его приближенных. Я предусмотрительно переписал рукопись на отдельные листы и, спасая их от мышей, каждый храню в отдельной бутылке у себя дома. Слава Богу, я успел ее переписать.

И Эдгем сделает копию с рукописи, изучит ее, подготовит научный комментарий и вернет в Дом Вече. Если со мной что-то случится, я поручил ему позаботиться о рукописи. Очень хотелось бы, чтобы и ты стал ему помощником. Я знаю, что он на тебя надеется, считает, что у тебя талант писателя. Это он предложил мне подготовить эти записи и передать тебе.

Я жду твоего приезда, чтобы обстоятельно поговорить. Помнишь, как ты в первый день сбежал из школы, а я тебя поймал? Теперь я это принимаю как предопределение свыше. Еще я помню, что ты был единственным из сельских мальчишек, кто не кидался в меня камнями.

А письмо это я решил написать тебе потому, что последние два дня на сердце у меня тревожно. Все время кажется, что меня зовут из Дома Вече. Когда просила душа, я ходил туда, но в последнее время стало тяжело, и вот – слышу зов... Недавно я встретил в селе Сардара. Он до сих пор злится на меня, за то, давнишнее. Он никогда со мной не здоровался и не говорил, а в этот раз, ехидно улыбаясь, сказал: «Больше тебе не понадобится ходить в Дом Вече». Эти слова не дают мне покоя. После них я слышу зов из Дома Вече. Еще от сельчан я слышал: районные власти хотят разрушить мусульманские святилища на нашей Горе, чтобы отвадить от них людей. Вот почему я думаю, что Сардар неспроста так выразился.

Я иду в Дом Вече. Эту тетрадь оставляю тебе на память. С моими записями можешь поступить по своему усмотрению. Историю посещения царем Вече Горы Алпан и его последующего отъезда я изложил своими словами. Здесь он пребывал года два, а уехал, когда в горах увеличилось число «сынов Вече», его сторонников, способных продолжать его дело. Остаток жизни он решил провести в поселении своих предков.

Как передают, уезжая, он сказал: «Как мне показалось, на этих людей Святой Дух снизошел давно, еще до рождения Христа, на что указывают их человечность,

почитание друг друга, доброжелательное отношение к приезжим, достоинство, умение постоять за себя и отсутствие стремления к унижению чужого. Много признаков, которые говорят, что они отмечены нашим небесным Отцом. И такой учитель, как я, им не требуется».

К сожалению, я не успел написать о его отъезде, мои записи не завершены, и теперь у меня нет уверенности, что сумею их завершить.

Вот о чем еще скажу: твое имя носил один из тех, кто пришел к нам вместе с Вачe. Ты отросток, поднявшийся от того корня. В нашем селе ваш род Антеров один из древних, наряду с родами Шахшанов (род Джебеса), Цандиев, Кумбаев, Камчихов, Эндиров. Это потомки тех, кто приходил сюда вместе с Вачe, и тех местных родов, которые отдали ему своих старших сыновей. Да, возник такой обычай: отдавать царю старшего сына, который перенимал его веру и следовал его путем. Их называли «сынами Вачe» и первый из них носил имя Эндир. Вачe крестил их в Хрустальном озере. Вот почему у нас до сих пор старшего сына порой называют «сыном Вачe». А впоследствии, когда Вачe удалился от нас, лезгины отдавали (можно сказать: посвящали) своих старших сыновей Богу. Соседнее с нами село Тагар почти целиком состоит из таких «посвященных». Ты обрати внимание на имена горцев из отдаленных сел, мало подверженных внешнему влиянию, они и являются исконными лезгинскими именами. Возможно, что среди них есть «сыны Вачe», о которых никто не знает.

Прости меня за длинное письмо. О многом хотелось бы написать. Но мало кому можно сказать.

Прощай.

Да хранит тебя Бог! Да будет с тобой Его благодать!

Аминь.

5 июля 1983 года

Из тетради Шуая

Все здесь написанное изложено мной на одном дыхании. Как все назрело в сердце, так и вылилось. Все это я слышал от отца и матери. Порой представлялось, что мне все подсказывает мой древний предок Шуай, чье имя я ношу, который пошел по пути Вече и разделил его судьбу. А он, оставив трон, принял веру в Иисуса Христа.

Я писал, всеми мыслями, всем своим существом уйдя в прошлое. И мне казалось, что я сам когда-то был свидетелем тех событий, которые описываю, что и участников их, пусть и не всех, но некоторых, я знаю...

* * *

Вече, прежний шах страны Алпан, теперь ушедший от мира, последователь Иисуса Христа, принявший веру в Него, не поступал очертя голову. Уйдя из тронного города Харум, он направил свои стопы к Горе Алпан. (Вече, воссев на трон, выказывая признательность своему шурину, шахиншаху Ирана Фирузу, переименовал Харум в Фирузабад и превратил его в громадный цветущий город. Позже он стал называться Партавом.) Святой дух снизошел на него: прошлая жизнь перестала что-то значить для него, он ее целиком перечеркнул, отказавшись от трона, страны, семьи. Теперь он думал только о Едином Боге, о преданном служении Ему, о великой свободе и любви, что давала вера во Христа Его последователям, местами пустившим крепкие корни в Алпане. Эти мысли окрыляли его, звали вдаль, на белых вершинах горы с такин же, как у всей станы, названием он видел свет, указующий ему дорогу. Гора Алпан, первая среди гор его страны, знаменита и считается священной, о чем он слышал еще в детстве. И с ранних лет он лелеял мечту подняться на Гору Алпан, но большие и мелкие государственные дела, войны

не позволяли ему исполнить свою мечту. Ему удалось лишь подняться в Шах-гору, откуда он смотрел на далекий Алпан, зов которого все неумолимее проникал в его сердце. Сколько раз и по пути в славный и древний город Цал, что на севере страны, в дальней дали ему представлялась Гора Алпан, а бесконечные заботы закрывали ему туда дорогу.

В ту пору он следовал вере магов. Хотя отец Урнайр уже принял веру в Иисуса Христа, после его смерти шахиншах Язкерт заставил его перейти к магам. Но после смерти самого Язкерта, он решил вернуться к вере, которую исповедовал его отец. Он больше не жалел, что до сих пор ему не пришлось побывать на Горе Алпан. Теперь, когда он стал новым человеком, заново вернувшись к вере отца, открыто объявив об этом шахиншаху Фирузу, вновь пробудившееся желание подняться на святую Гору он воспринял как небесное знамение. Он чувствовал, что время настало. Неведомая сила направляла в Гору его, оставившего шахский трон, для него уподобившийся оковам, свободного человека, увидевшего себя на новой и верной дороге.

Цанди, прежний писец шаха, оставшийся и при Ваче, когда он превратился в странника, не знал, кем он, писец, теперь является. Он еще не отошел от прежней жизни, в мыслях постоянно возвращался к ней. А думы о завтрашнем дне разрывали ему сердце, он несколько раз даже жалел, что не оставил Ваче, видимо, сошедшего с ума и не нашедшего себе места для безбедной жизни. И тут же корил себя за подобные заблуждения.

Ваче даже как-то сказал ему:

– Если не хочешь, можешь не следовать за мной. Ты человек, который нужен везде. Не останешься без куска хлеба. Да и отсюда тебя никто не прогоняет, можешь остаться на своем месте.

– Нет, шах, – ответил Цанди, – я последую за тобой.

– Я перестал быть шахом. Я Божий раб, преклоняющийся Иисусу Христу, слуга Его. Я странник, жажду-

щий снисхождения к себе Святого Духа, – Ваче говорил так, как будто не происходило ничего особенного.

Прошлой ночью Цанди сделал последнюю запись в свитке шахских записей: «В 20-й день пятого месяца 457 года властелин Алпана Ваче оставил трон. Печаль воцарилась в шахском дворце. Ваче отправил свою мать и жену на их родину, к шахиншаху Фирузу. И двое сыновей его, хотя и приняли веру в Иисуса Христа, теперь отказались от нее и решили вернуться к своему родственнику-огнепоклоннику».

Цанди мог бы продолжить запись, но он решил на этом остановиться: «Разрушится наша страна, обширный и красивый Алпан. Кому теперь понадобятся записи о нем?» Все же он поручил своему помощнику Камчиху: «Свиток с шахской историей вложи в шкатулку, а шкатулку запри в сундук. Спрячь сундук в таком месте, где его никто не сможет найти». Держа шкатулку со свитком подмышкой, Камчих спросил:

– Но разве я не пойду с вами? Я не останусь здесь.

– Ты оставайся до тех пор, пока не получишь от меня сообщение. А эту шкатулку береги! Если хочешь писать, то пиши. Но нужное, и правдиво.

– Что делать со свитком, на котором шах записывает свои стихи?

– Его тоже положи в эту шкатулку.

Много событий отметил Цанди в своих записях, но он почти не оставил сообщений о вере.

В одно время было запрещено говорить о том периоде, когда Урнайр, отец Ваче, возлюбил Иисуса Христа. Урнайр приложил много стараний, чтобы укрепить в стране новую веру, которой отдался всеми силами своей души.

Узнав о чудесных деяниях Святого Георгия в Армении, он отправился к шаху той страны в сопровождении многочисленной свиты, и там он вынужден был признаться, что пребывал в потемках язычества и много грешил по незнанию. Тогда его вдохновил Святой

Георгий, открывший ему и его приближенным врата новой жизни. Получившие эту радостную возможность Урнайр и его приближенные постились сорок дней, они отринули от себя прежние ложные представления. Их, поверивших в Святую Троицу, крестили в освященной воде в пятидесятый день.

После этого шах Алпана постарался ввести вероучение Иисуса Христа во всей своей стране. В духе этого вероучения он воспитывал и своего сына Вече. Но он не сумел привести к новой вере свою жену, дочь шахиншаха Язкерта, она продолжала твердо придерживаться веры огнепоклонников, какими были его предки. Таким образом, юный Вече рос под влиянием двух вероучений. В делах он следовал за отцом, а сердцем тянулся к матери. Когда его женили на племяннице Язкерта, дочери старшего брата Фируза, влияние на него со стороны матери усилилось. А после смерти отца Язкерт, хитроумный шахиншах, поставив Вече во главе страны Алпан, и вовсе склонил его к вере магов.

Вече был молод. Три установления Ахура-Мазды: чистая мысль, чистое слово и чистое дело он находил более понятными, чем три божественные ипостаси в религии отца: Бога Отца, Сына и Святого Духа. Он решил, что учение Ахура-Мазды открывает возможности для совершения великих дел.

– Религия твоего отца возвещает: возлюби ближнего своего и не убий, – сказал как-то ему Язкерт. – Но так может сказать тот, кто не в ладу со своим разумом: этого никогда не исполнишь. А от всякого зла нас оберегает и очищает огонь Ахура-Мазды.

Пока у шаха все шло хорошо. А у его шурина Фируза (они были ровесниками) усиливались подозрения по поводу того, что Вече хочет добиться независимости Алпана от великого Ирана. Фируз уже не мог приструнить гордого алпанца, ни ссылаясь на родственные отношения, ни демонстрацией мощи и величия своего государства. Он обращался и к тете, матери Вече, чтобы она повлияла на сына.

– Сын мой, – сказала мать, – Иран древнее государство с великой историей, выйдя из-под его покровительства, ты не сумеешь сохранить свою страну, ты останешься один, и у тебя появятся много врагов. Благоденствие твоей стране дает шахиншах Ирана.

– Ты так мало ценишь своего сына, мать?

– Нет же, я говорила о другом, сын мой. И Иран, и Алпан страны, где с самого начала исповедуют религию Заратустры. А тебе не хватило, что сам принял вероучение Иисуса Христа, занесенное каким-то нищими странниками, склоняешь к нему весь алпанский народ, заставляешь разрушать храмы огнепоклонников и взамен строить церкви. И меня, и невестку мою ты не оставляешь в покое, насильно навязывая учение Христа. Даже твой покойный отец так не делал, сам приняв новую веру, меня он к тому не принуждал, сохранял уважение к религии моих предков. Знай же: внешне люди поддадутся принуждению, но сердцем они не пойдут за тобой, сын мой. А твоим сердцем завладел Ахриман!

– Мать, кому подчиняется мое сердце, знает только оно само и Творец. Он и сохранит страну Алпан. Но я не могу отойти от вероучения, переданное мне отцом, подвигнувшее его на великие деяния. Я сбился было с пути, в чем грешен, и оставшуюся жизнь я посвящу тому, чтобы очиститься от греха.

– В твоем войске соблюдают религию Заратустры, оно оставит тебя. А те, кто перейдет в твою веру, окажутся неспособными воевать, так как им нельзя будет убивать. Ты не сумеешь противостоять моему племяннику, не допускай напрасного кровопролития, сын мой!

Вече чувствовал, что мать в чем-то права, и это ущемляло его гордость.

– На небе – Бог, на земле – шах! – Вече привел свою любимую поговорку. – Я шах земли алпанской! Я не хочу проливать ничей крови, у меня нет в помыслах грабить и разрушать чужую страну. А большая часть моего войска еще вместе с отцом приняла новую веру. И мое войско, и мой народ всегда будут верны мне!

Сердце Вече раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, учение Христа велит: не убивай! И вместе с тем: почитай мать и отца. А он не прислушивался к словам матери, воюя с дикими ордами, идущими с севера, с врагами, нападающими с юга, он убивал и проливал много крови. Духовные тревоги утомляли шаха, он вспоминал отца: как поступал в подобных случаях Урнайр?

А мать расстраивала его все больше:

– Разве твоя религия не запрещает проливать кровь и руками иноверцев?

Вече, не отвечая, ушел в маленькую комнату, где привык в одиночестве предаваться размышлениям. Перед изображением Иисуса Христа на стене он перекрестился, стал на молитву...

До прихода ночи он оставался в одиночестве. Светильник и свечи он зажег сам. Никто из слуг не осмеливался беспокоить его, хотя шах не запрещал входить к себе. Мать и жену Нушабе он несколько раз сам приводил в эту маленькую комнату. Но они делали это с видимой неохотой, и шах перестал их сюда приводить. За комнатой приглядывал Цанди, прибирал там Камчих...

Дверь распахнулась.

Увидев жену, шах удивился:

– Нушабе? – его не обрадовало посещение жены.

– Да, шах, решилась побеспокоить тебя, – Нушабе склонила голову.

Шаха не обманывала нежная мягкость в голосе жены.

– Уходи, здесь не твое место, – сказал он сухо. – У тебя и у моей матери имеется ваш храм. Вы не признаете мою веру, и я не буду больше на этом настаивать. Прошу простить меня, что прежде добивался вашего перехода в веру во Христа.

– Я пришла не в келью странника-девриша, я пришла к моему мужу, шаху Вече. – Нушабе распустила густые черные волосы, высоко уложенные на ее голове, они

плавно рассыпались по ее плечам и спине, распространяя густой аромат.

– Если ты признаешь меня, так прими и мою веру, имей уважение и к этой келье.

Нушабе приблизилась к горящему светильнику. Сквозь оранжевое платье из тонкой материи просвечивалось ее красивое и гибкое тело, полное жизни, соблазнительно влекущее, так хорошо знакомое, не дающее забыть свою непреодолимую власть над шахом.

– Ты думаешь, что найдешь дороже меня на земле или на небесах? Такого нет, шах! А кто утверждает, что есть, они обманывают себя, – Нушабе взяла колпачок от светильника и погасила его.

Ваче, подойдя сзади, взял ее за плечи и с легкостью перышка понес ее к двери.

– Ты не сумеешь погасить свет, найденный мной! Но ты не хочешь видеть его. Так иди к своему огню, который сожжет тебя, мой мотылек! – выдворив жену из маленькой комнаты, Ваче задвинул запор в двери...

Шахиншах Фируз знал о происходящем между шахом Алпана и с его матерью и женой. Шахиншаха тревожило, как бы алпанские земли не отошли от Ирана. Но он воздерживался и от применения силы, чтобы утихомирить Ваче. Еще не была забыта кровопролитная междоусобица, происшедшая между ним и братом Ормуздом за власть после смерти отца Язкерта.

Теперь войско шахиншаха было занято защитой городов и сел Ирана от диких племен, нападавших отовсюду, и неисчислимых, подобно муравьям.

Шахиншах, добившись трона отца, обретший высшую власть, понимал: предпримешь что-то против Алпана, Ваче тут же соберет в достаточном количестве воинов, в жилах которых течет такая же буйная горская кровь, как и у него самого. Фируз был осторожен. Старшие из приближенных, помнившие прошлое, ему рассказывали, как в свое время Урнайр силой нового вероучения возродил ослабевшую страну Алпан. А сын,

хотя однажды и отступил, вернулся к вере отца, и Фируз понимал, что и дело отца он будет продолжать с большей настойчивостью. Приходилось признавать: их вера обладала необъяснимой чудесной силой.

Шахиншах Фируз, прислушиваясь к своему главному советнику Рахату, который воспитывал и учил его с малых лет, искал способ малыми усилиями сломить сопротивление Вачe и привести его в полное подчинение. И такой способ он нашел...

Вновь нагрянувшие кочевники, кроме не удивляющего обыкновения грабить все, что попадалось, отличались тем, что ездили в крытых повозках, устланных сухим конским навозом, который служил им постелью. Вот если их направить на север, в страну Алпан... Эта мысль вызвала у шахиншаха Фируза насмешливую радость.

Появление кочевников, пребывающих на очень низком уровне развития, становилось бедствием для всякой земли, где проживал народ, прошедший долгий путь исторического и культурного развития.

Фируз пополнил свое войско кочевниками, привыкшими спать на постели из конского навоза, обещал им цветущие земли и несметное богатство и повел их к пределам Алпана.

Однако Вачe тоже не бездействовал и не отставал от шахиншаха. Он разрешил пропустить на юг своей страны кочевых маскутов через почти всегда закрытые северные ворота города Цал, и сам собрал войско из горцев с передовыми отрядами из яркинцев, с самого рождения приучаемых к ведению войны.

Произошли жестокие сражения, многие города и села южного Алпана превратились в руины. Однако Вачe не изменил себе. Он, как и сам шахиншах Фируз, понимал, что в этой войне не было победителя, и никто из них себе в этом не признавался.

Коварный Фируз задумал другое: не пожалев для подкупа много золота и прочего богатства, он тайно до-

бился, чтобы Ворота Алпана в Цале открылись и перед бесчисленными гуннскими ордами.

На этот раз победа была явная и победителями оказались кочевники, шедшие как с севера, так и с юга. Подобно насекомым стали они вгрызаться в благодатные земли. И народ страны, как бы он ни любил свою землю, не в силах оказался им противостоять: ветер, дующий из пустыни, всегда опустошителен...

И Фируз, и Вече в своей гордой непреклонности понимали, что происходит, но никто из них не желал отступать.

Фируз, отстаивая свою религию, пытался доказать ее превосходство и тем самым окончательно добить христианина Вече.

Шахиншах послал Вече письмо, в котором говорилось: «Великий шах Вече! Я всегда радовался нашим родственным отношениям, но ты их перешагнул. Превыше силы и славы Заратустры ты поставил проповеди еврея Иисуса. Мне не простят дух моего отца и моя вера, если моя тетя, а твоя мать, и моя сестра, а твоя жена, останутся при тебе. Обращаюсь к тебе с последней просьбой: отправь обеих близких мне женщин ко мне, на их родину, обеспечив их безопасность. Это будет поступок, одобряемый твоим Богом и твоей верой».

В последних словах Вече почувствовал издевку над собой, и он не стал медлить: самых близких женщин, теперь ставших чужими, вместе с посланниками шахиншаха, придав им надежную охрану, он собрался отправить на их родину.

– Сын мой, я мать твоя, это твоя жена. Мы твоя семья. Что ты делаешь? – не смея верить происходящему, говорила мать, обращаясь к сыну, лицо которого помрачнело более обыкновенного.

Сын ответил ей словами Иисуса Христа:

– Кто моя мать, и кто мои братья? Вот моя мать, и вот мои братья. Ибо кто исполняет волю моего небесного Отца, тот мне и брат, и сестра, и мать. – Показав

на своих приближенных из числа самых доверенных, он добавил: – Вот моя семья... Передайте шахиншаху Фирузу: я отказываюсь от царской короны и трона, отныне я не являюсь владетелем страны Алпан! Моя вера для меня превыше и семьи, и трона!

Они расстались, больше ничего не говоря, но ни та, ни другая сторона не скрывала своих слез...

Был один человек, глаза которого оставались сухими и не потеряли свой блеск: младший брат Вače совсем не горевал по поводу распада семьи, отъезда матери на родину предков. Он и не стремился помещать происшедшему. Будь он другим, возможно, мать решилась бы и остаться. Но ожидала ли она иного? Нет, она знала сердце своего младшего сына, так же, как и сам Вače...

Он понимал, что алпанский трон не будет пустовать.

До сих пор к трону постоянно подбирался беспутный младший брат, что не особенно беспокоило Вače. Получая донесения о кознях брата против себя, он обычно только отмахивался: «Оставьте его... У него рука не поднимется на старшего брата».

Теперь же, оставив трон, Вače сделал брату подарок, о котором он не мог и мечтать. «Теперь он вправе поступать по своему усмотрению, – думал Вače о брате. – Если в нем осталось уважение к покойному отцу, то продолжит его дело, сохранит страну... Сохранит ее народ, принявший вероучение Христа. Народ пойдет по пути, указанному мной. Да сохранит Алпан небесный Отец, и Сын, и Святой Дух!..»

Вот какие надежды утешали Вače. Большой свет горел в его груди, и освещал ему путь впереди...

Накинув на плечи простой плащ, в обуви из сыромятной кожи, которой прежде никогда не знал, помогая себе в ходьбе палкой, он прошел немалое расстояние. И приближенные, оставшиеся с ним, шли пешком, ведя лошадей на поводу. Они брали пример с того, кто был шахом, но теперь перестал чем-либо на него походить,

и следовали за ним, не потеряв к нему своего почтения... Всего их было шестеро: Цанди, Хатай, Кумбай, Антер и двое юношей – Чайгун и Шуай. Ваче их не принуждал, они пошли за ним добровольно. С ними не было Камчиха, которому Цанди наказал остаться и ждать от него вестей.

Ваче сначала повел свою группу в Яркинский край, который давал его войску лучших воинов. Он шел дорогой святого Месропа Маштоца, некогда обновившего алпанскую письменность, переводившего на этот язык священные тексты, совершившего много благовидных дел. Свои занятия над обновлением письменности Месроп проводил в Яркинском краю, в селе Гетяг. В стране Алпан гетягцы первыми приняли вероучение Иисуса Христа. И само слово «гетяг» в лезгинском языке имеет два значения: «уверовавший», то есть «христианин» и «рыбак». Это слово хранит в себе удивительную тайну. Корень его («гъед») передает два значения: «звезда» и «рыба». Звезда, появившись в небе, оповестила о рождении Христа. А рыба в старинных книгах является знаком Иисуса Христа... Возможно, первую письменность в Алпане была создана гетягцами. Сообщения об этом и привели Месропа, вдохновленного Святым Духом, в Яркинский край. Армянин Месроп вначале не мог даже правильно произнести слово «гетягар», то есть «гетяги» и он прозвал их «гаргарами».

Нечто подобное рассказывал бывшему шаху Ваче преданный ему Цанди.

– Мы гетяги, – говорил он. – Мы, уверовавшие, так должны называть себя на своем языке.

– Ты, как всегда, прав, брат гетяг, – соглашался с ним Ваче.

Далее они собирались следовать к Горе Алпан. Там, где высоко и чисто, ближе к небу, Ваче собирался своими руками построить храм, посвященный Иисусу Христу. И было там место, названное Камчиху как конечная точка их следования, куда он должен был прибыть в свое время с известиями о происходящем в стране...

Шли дни. Шаху, оставившему свой трон, казалось, что он только теперь по-настоящему познает свою землю.

На благодатной земле располагались города и села, где кипела жизнь, везде трудились люди, отдавая силы добрым делам. Везде Ваче, утомляясь в пути, отдыхал в храмах, возведение которых началось во времена его отца. Он все сильнее верил, что надежды его сбудутся, и глаза его увлажнялись слезами радости.

Но ночами появлялись признаки чего-то лишнего, не характерного для этой земли. Казалось, здесь дневная жизнь одна, а ночная – другая, не связанная с этим народом.

Когда проходили через некоторые села, и останавливались на выбранном для ночной стоянки месте, наблюдались тревожащие сердце картины. Вдали вспыхивали огни и, неизвестно откуда, появлялись толпы людей, говорящие на непонятном языке. Они кричали грубыми голосами, выпрягали из крытых повозок лошадей и на них скакали в сонные села...Ваче понимал: от войска, посланного шахиншахом Фирузом, откололись и остались в стране какие-то части кочевников, которые не изменили своей природе и образу жизни. Они не умели зарабатывать свой хлеб добрым трудом, они существовали, грабя и отбирая чужое. Но ведь их постепенно может стать больше, и они станут сильнее... Нет, надо верить, что Христос защитит эту землю и ее людей от всех напастей. Ваче даже жалел кочевников, не имеющих своей родины . Он верил, что и таких можно вывести на путь истины. Но для этого требовалось время...

Как-то он познакомился с одним кочевником.

В вечерние сумерки, когда они поили лошадей на речке у какого-то села, к ним подошел мужчина с мешком на спине. Лицо у него было темно-желтое, судя по сильным движениям, он был еще не стар, хотя усы и борода начали седеть, раскосые узкие глаза смотрели хитро.

На нем были порванный халат, обувь из звериной шкуры вся в дырах, однако казалось, что ему нет никакого дела до своего внешнего вида. Видимо, он сразу понял: от маленькой группы путников с лошадьми ему не будет никакого вреда. Он также догадался, что главным среди путников является Ваче, что-то сказал на своем языке и опустил мешок на землю. Хотя большой мешок был чем-то хорошо набит, он не казался тяжелым.

– В его мешке конский навоз, – сказал Цанди. – Он один из кочевников, рассеявшихся в этих землях. Наши прозвали их «цапашар» – «навозниками» за то, что они спят на высушенном конском навозе.

Ваче удивился:

– Они могли бы спать в своих повозках.

– В повозке может не хватить места всей семье, – пояснил Цанди. – Детей укладывают в повозке, а мужья с женами ложатся под повозками на навозе. Конский навоз тем хорош, что не впитывает влагу...

– Усади этого бедняка, дай ему поесть.

Кочевник начал изъясняться с ним на плохом фарси, а этим языком владели все спутники Ваче. Кочевник остался доволен тем, что его угостили, и он охотно разговорился. Он рассказывал притчи, даже пел, и своей открытостью подкупил слушателей. И ему рассказывали об увиденном в пути, о вере во Христа, о Евангелии. Незаметно наступила ночь.

– В этом селе у вас есть где остановиться? – спросил кочевник.

– Нет, мы здесь и переночуем, – ответил Ваче. – Ночь теплая.

– Так не пойдет, – сказал кочевник. – Вы меня приняли как гостя, теперь будьте гостями у меня. В открытом поле небезопасно, пойдем на нашу стоянку.

Цанди хотел отказаться от предложения кочевника, ведь они уже ночевали в поле, и все обходилось благополучно. У незнакомых кочевников, как он считал, они оказались бы в большей опасности. Но Ваче решил не

обидеть кочевника отказом, кроме того, он хотел посетить их стоянку и узнать больше об их образе жизни.

А на стоянке кочевников бурлила ночная жизнь.

Мужчины сидели у костров, женщины с детьми держались отдельно. Говорили много и громко, размахивая руками. Громко разговаривать друг с другом в поле, на расстоянии, видимо, глубоко вошло у них в привычку. Лошади и остальная скотина паслась недалеко на лугу. У многих мужчин лица были в шрамах. Вече и его спутники знали, что в некоторых диких племенах мужчины, для устрашения врага, наносят себе раны, чтобы от них остались следы. Не раз встречал Вече таких и в сражениях. Кочевники, привычные ходить в гости и принимать их, не обратили особенного внимания на странников, или же им самим так показалось. Жена и дети того, кто их сюда привел, сидели вокруг котла. Они брали из нее что-то руками и ели.

Из товарищей Вече двое молодых, Чайгун и Шуай, решили остаться в поле при лошадях, что остальные приняли с одобрением: требовалось сохранить осторожность.

Когда пришел хозяин, жена и дети встали и освободили место у очага. Жена приняла у мужа мешок и отнесла его к кибитке. Муж что-то сказал ей, она куда-то увела детей.

– Кушать мы не хотим, – сказал Вече. – Спать мы ляжем на войлоках у твоей кибитки.

– Будет по-вашему, – согласился хозяин, отводя их на место, а Вече он сказал: – А ты можешь спать в кибитке.

– Нет, в ней пусть спит твоя семья.

– Не отказывайся от моего предложения, – сказал кочевник с притворной, как показалось Вече, мольбой. – Там и ложись на своем войлоке, его я сейчас принесу. – Он помог гостю забраться в кибитку, потом принес войлок. – Отдыхай, тебе тут будет удобно. Я позабочусь о твоих товарищах и ваших лошадях.

Под низким потолком кибитки нельзя было стоять, приходилось наклоняться, к чему шах, пусть и бывший, не привык. И сон к нему не шел, его перебивал острый запах кожи. Вече пожалел, что согласился принять приглашение кочевника. Вдруг кожаный занавес, закрывающий вход в кибитку откинули, возникла голова жены кочевника.

– Здесь нет твоего мужа, уходи, – махнув ей рукой, сказал Вече на фарси.

– Ты дорогой гость, достойный уважения, – ответила женщина приятным голосом и стесняясь. На фарси жена говорила лучше своего мужа. Она залезла в кибитку.

Увидев ее еще при дневном свете, пусть и одетую в какие-то лохмотья, Вече внутренне удивился тому, что женщины у кочевников так красивы.

– Что это значит? – недоумевая, спросил Вече.

– Хороший хозяин уважаемому гостю на ночь предлагает свою жену, – пояснила женщина. – Таков обычай. Я исполняю волю мужа.

Вече, пораженный, чувствовал, как его сердце переполняет гнев: «Обычай... И с кем я связался?..»

– Уходи! – приказал он. – Этого не надо. У нас такого обычая нет. Уходи же.

На раскосых, но больших и красивых, глазах женщины появились слезы.

– Муж побьет меня, – прошептала она. – Целую неделю он не будет кормить меня. Меня осудит наш род, что нарушила обычай.

Гнев улегся, Вече почувствовал жалость к женщине.

– Хорошо, – согласился он, – оставайся. Вот там и сиди. И подожди немного.

Женщина его поняла и сказала:

– Муж узнает.

– Как он узнает? – удивился Вече.

– Он спит под кибиткой. И ничего не услышит.

– Но где же ваши дети?

– Они тоже спят там.

Ваче, злясь, понял, что оказался в трудной ситуации. Он помолился Творцу, прося указать выход из создавшегося положения. Чтобы молитва дошла, видимо, требовалось время. Но нельзя было больше и медлить, он предложил женщине:

– Давай раскачивать кибитку. Ты там, где сидишь, а я здесь.

Женщина, повеселев, улыбнулась: то ли ей понравилось предложение гостя, то ли она пожалела его.

Но и молитва Ваче все же дошла.

Снаружи раздались шум и крики. Кричали и ругались и на известном Ваче языках, и на языке самих кочевников.

В кибитку заглянул Цанди.

– Быстро выходи! – сказал он. – Здесь воры и грабители!

Цанди отпрянул назад от выскочившей из кибитки женщины.

Ваче вышел, не забыв подхватить свой войлок.

– Мне сам Бог послал тебя! – сказал он. – Спасибо, вовремя появился, выручил. Но что это за крики?

– Твой новый «друг» хотел увести наших лошадей. Хорошо, что с ними остались Чайгун и Шуай. Поспешим, нас ждут.

Сопровождаемые восклицаниями и криками кочевников, они ушли со стоянки. Тем и обошлось, возможно, потому, что обычай гостеприимства у кочевников по-своему тоже почитался.

Странники, продолжая двигаться на север, не оставались ночевать в христианских храмах, о чем их попросил Ваче. Шах, оставивший трон, не желал возможных при этом встреч со знакомыми, избегал прежнего преклонения со стороны народа. На каждом шагу он замечал, как религия, внесенная его отцом, меняла и людей, и всю их жизнь, за что не уставал вновь и вновь возносить молитвы Богу.

Но не все увиденное успокаивало и радовало его сердце.

Увиденное у одного села напомнило Ваче случай из своего детства, когда он вместе с отцом как-то оказался за городом Харум.

Они наткнулись на святилище огнепоклонников, где те хранили огонь. А жители села были огнепоклонниками. Они, и мужчины, и женщины, чуть ли не все ходили обнаженными, были тощими и ослабленными, жили убого. Главной своей обязанностью они считали истязание плоти, что им хорошо удавалось.

Один старик, весь почерневший и напоминающий сухую палку, стоял, воздев вверх руки, которыми уже не мог двигать. Говорили, что в таком положении он стоит уже тридцать лет. Какая-то женщина из посуды с носиком вливала ему в рот воду.

Другой мужчина от шеи до конца торса был туго обкручен бронзовой проволокой, въевшейся в тело.

У третьего кожа на груди и животе была стянута и зашита проволокой.

Из святилища выходил дым. Ваче и его спутники попросили пустить их внутрь. Огнепоклонники, отвыкли от проявления сильных чувств, на просьбу отреагировали спокойно, но, пожалуй, потребовали за ее исполнение плату. Цанди дал им три мелкие монеты и их впустили в святилище.

Внутри помещение почернело от дыма, с непривычки дышать было тяжело. Спутники Ваче закрывали рот и нос, но все равно не могли удержаться от кашля. В центре помещения находилась большая яма, сверху накрытая войлоком. Мужчина с зашитой кожей на груди и животе убрал войлок, и из ямы к дымоходному отверстию в потолке поднялось пламя. Что-то пошептав, мужчина вновь накрыл яму войлоком.

Цанди хотел обратиться к огнепоклоннику, но Ваче остановил его:

– Не стоит, они не созрели, чтобы осознать Творца. Они тебя не поймут, а обидеться могут. Уйдем отсюда, у нас другая дорога.

Они ушли, но Чайгун и Шуай, любознательные юноши, задержались у огнепоклонников, наблюдая, удивляясь и делясь своими впечатлениями.

Старшие товарищи уже значительно удалились от святилища огнепоклонников, когда сзади раздались крики и плач, а из святилища вырвались клубы черного дыма.

Ваче, встревожившись, сказал:

– Как бы не случилось что-то с нашими юношами.

– С ними ничего не случилось, – успокоил его всезнающий Цанди. – Но кто-то из огнепоклонников скончался. Потому крики и плач, черный дым.

Прискакали юноши и, взволнованные, не сразу смогли заговорить.

– Они сожгли... – выдохнул Чайгун.

– Умер старик с воздетыми руками, – сообщил Шуай. – И они его сожгли.

– На яму с огнем положили плоский камень, а на него – труп, – уже спокойнее объяснил Чайгун. – И сожгли, как обрубок дерева. Потом войлоком погасили огонь. С камня и в яме собрали пепел и рассеяли по ветру.

Заметив, что сказанное им не особенно впечатлило старших товарищей, юноши замолчали. А Цанди им сказал:

– Для вас это ново, мы же видели такое не раз. Молитесь Богу да остерегитесь мерзости земной.

...Увидев вернувшихся к нему тетю и сестру, шахиншах Фируз не поверил своим глазам. Он и не думал, что так выйдет, и даже пожалел, что написал злополучное письмо Ваче. Теперь-то Фируз ясно видел, какая тревожная обстановка сложилась как в стране Алпан, так и в самом Иране. Особо не надеясь на успех, но все же пытаясь смягчить сердце Ваче, он написал ему еще одно письмо: «Прекрасного Алпана великий шах Ваче! Видимо, я нанес тебе обиду, но поверь, это вышло случайно, без злого умысла с моей стороны. За происшедшее прошу у тебя прощения. Я готов исполнить каждое твое жела-

ние, но при одном условии: не оставляй трон, управляй своей страной! У меня вызывает уважение твоя твердость в своей вере. Пусть она придаст тебе силы для укрепления страны Алпан».

Письмо шахиншаха дошло до Вече у подножия Горы Алпан. И оно не оказало на него никакого воздействия, так как неделю назад Камчих доставил ему письмо от армянского епископа Гиюта Арахезского. Письмо, глубокое по смыслу, точно дышало небом, начиналось оно словами Иисуса Христа: «Кто ради имени моего оставит или дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ему принадлежащие, тому воздастся сторицей в жизни вечной». Епископ писал: «Бедняку легок такой поступок, а ты, шах, сделал невозможное. Люди могут тебя не понять, ангелы же, прославляя, сравнят его с деяниями Бога, оставив сонм небесный, пришедшего на землю в образе смертного человека. Дело твое достойно Бога!»

Слова епископа еще раз убедили Вече в своей правоте и прибавили ему сил, он принял его письмо как подарок судьбы.

В затруднительных жизненных ситуациях Вече всегда опирался на Цанди, образованного выходца из Яркинского края, который владел не только своим родным лезгинским языком, но и древнееврейским, греческим, латинским, персидским и армянским.

Цанди имел свою историю.

Алпанскую грамоту Цанди перенял у самого Месропа Маштоца и его ученика-алпанца Буньямина, когда они, прибыв в Яркинский край, приступили к доработке алфавита. Среди уверовавших гетягов Цанди, может быть, оказался самым способным. Месроп даже хотел оставить его при себе, чему Цанди был только рад. А алпанец Буньямин, радуясь успехам Цанди, часто говорил ему на родном языке: «Вун заз ала я», что сегодня понимается как «ты мне дорог» или «ты для меня выше всех». Но в этой фразе слово «ала» возводится к первой

букве кавказско-албанского алфавита, и выражение «вун заз ала я» буквально переводится как «ты для меня – главная буква».

Прослышав о Горе Алпан, Месроп отправился туда в сопровождении нескольких своих учеников из числа гетягов. Там для него открывались новые возможности для проповедования Евангелия, распространения новой грамоты. Оттуда потом он мог, более коротким путем, вернуться к себе на родину.

Они пустились в путь на двух повозках, запряженных лошадьми. Поднялись вверх по долине Срединной реки. Дойдя до места впадения в нее Большой реки, они повернули налево и по левому берегу этой реки поднялись к подножию Горы Алпан. Народ встретил их доброжелательно, с открытым сердцем и щедрой рукой. Месропа порадовало, что тут давно знают про Евангелие, и у многих были вопросы, которые они ему задавали. Он понял, что здесь нужны люди, которые просвещали бы народ в вероучении. И обещал, что скоро сюда дойдут книги, написанные на их родном языке, в которых они найдут ответы на все возникающие у них вопросы. Месропа восхищала красота Горы Алпан, он говорил, что ее вершины подобны куполам божественных храмов... Кроме того, его заинтересовали глиняные таблички, увиденные здесь у детей. На небольшие прямоугольные дощечки, обитые по краям тонкими деревянными гранями, намазывали белую глину. И по ней писали заостренной палочкой или гвоздем. Когда записи просыхали, их присыпали ригом – красной пылью, которую потом сдували. Но пыль оставалась в начертаниях букв, они красиво смотрелись на белой глине и легко читались. А красную пыль просеивали через сито у недальних Красных скал и приносили в маленьких кожаных мешочках. В детской сумке оказывалось несколько глиняных табличек, разных по величине, это зависело от того, кому какие дощечки попадались. При необходимости сухую табличку увлажняли и на ней писали заново...

Цанди все время, пока Месроп Маштоц пребывал у Горы Алпан, находился рядом с ним. Потом он со своими спутниками, обогнув Ледовую гору, по перевалам перебрался на южную сторону Кавказского хребта.

Цанди же пришлось расстаться с ними, и вот почему это случилось.

По пути с гор на равнину их догнали шахские посланники.

– Кто из вас Цанди? – спросил из них старший.

– Это я, – отозвался удивленный Цанди.

– Ты что, задумал бежать от нас? – сказал недовольный посланник. – Сколько можно тебя искать?

– Если я и бегу, то только навстречу новым знаниям, – ответил Цанди.

Остальное совершилось быстро.

– Тебя шах вызывает к себе, будешь у него писцом, – сказал посланник. – Едем, вот твоя лошадь, – он вложил в руку Цанди повод оседланной лошади.

Пришлось Цанди проститься с мечтой об участии в переводе на родной язык Евангелия. Потому нельзя сказать, что его очень обрадовала служба у шаха. На этой работе, прежде всего, потребовались его познания в языках. Языками же он овладевал, общаясь на базарах с купцами и путешественниками, отовсюду приезжавшими в славный город Цал, куда часто в юности ездил в поисках работы и знаний. При Месропе же, высоко ценившем его редкие способности, он углубил свои знания.

Со временем Цанди, изучивший все ценные книги в шахском книгохранилище, стал самым близким и доверенным человеком молодого Вече, севшим на трон после кончины своего отца. Вече еще колебался между устаревшим вероучением огнепоклонников и новой религией, в нем шла сложная духовная борьба и тут, в укреплении его веры, незаменимым оказалось влияние Цанди. Он, значительно старше шаха по возрасту, стал для него как наставником, так и истинным братом по духу. Однако Цанди и предположить не мог, что его влияние

приведет шаха к решению оставить трон. И он был против этого его решения, противился и отговаривал, но ничего не добился.

– В вероучении ты крепче меня, – наконец, сдавшись, сказал он шаху. – Это твоя судьба, нет силы, которая свернула бы тебя с пути.

И вот, теперь паломничество вместе с Ваче на Гору Алпан, где он прежде бывал с Месропом Маштоцем, Цанди принял как очередной подарок провидения...

...Для временного обустройства у подножия Горы Алпан маленькой группе Ваче помогли чабаны. Они не догадывались, что этот человек, высокий, крепкий и стройный телом, с глазами, выдающими силу и терпение, еще недавно был их шахом. Чабаны приняли его как человека чистых помыслов, который в своей вере оказался крепче всех остальных. Правда, и до них дошли слухи, что шах страны оставил трон. Однако тронный город Фирузабад находился далеко на юге, и чабанам во сне бы не приснилось, что шах вдруг окажется в их горах. Как бы то ни было, незнакомец, хотя и одетый, как обычный странник, но мало на них похожий, своей крепостью в вере и достоинством подкупил чабанов, и с первого же дня они помогали ему всем, чем могли.

Но как-то молодой чабан Эндир случайно услышал, когда спутники незнакомца между собой говорили о нем как о шахе Ваче. Чабан не стал разглашать услышанную тайну.

– Тут такое место, что с неба падают камни, – лукаво сказал чабан не похожему на других паломнику. – Но никто не знает, когда это произойдет.

Чабан не обманывал: о камнях, падающих с неба, разговоры случались часто.

Ваче принял его слова спокойно, точно не видел ничего необычного в камнях, падающих с неба, и сказал:

– Мне кажется, что здесь больше такое не произойдет...

...Здесь невозможно было обойтись без камней. Для устройства жилища Ваче они выбрали громадный ва-

лун. Возле него с восточной стороны стали строить небольшое помещение, к чему приступили без промедления: обеспечение бездомных людей крышей над головой считалось делом, угодным Богу.

Ниже этого валуна находилась котловина с осыпавшимися разноцветными камнями, заросшая колючим кустарником и ежевикой. Вдоль обеих сторон этой огромной ямы длинными полосами тянулись луга. Можно было подумать, что когда-то тут не было этой громадной ямы, а длинный луг был единый. Но нагрянуло какое-то природное бедствие, которое нанесло земле рану, располосовав луг.

– Раненый луг, – как-то вздохнув, проговорил Вачe.

– Верно сказано, – заметил молодой чабан, оказавшийся рядом. – Похоже. А место, где мы стоим, мы называем Одиноким лугом.

Такое название удивило Вачe.

– Но и то верно, что раненный луг, – повторил чабан.

– Как тебя зовут? – спросил его Вачe.

– Эндир, – ответил чабан.

– А ты можешь сказать, кто так красиво назвал это место?

– Оно всегда так называлось. Как я слышал от своего дедушки, сюда приехал один армянин, святой человек. Он тоже, как и ты, назвал это место с большой ямой «раненным лугом». Ему также сказали, что повыше – Одинокий луг. Кто так назвал, не знаю. Некоторые считают, что его так назвали потому, что сюда приходят люди, обиженные судьбой и ушедшие от мира.

– Тот армянин не носил имя Месроп? – взволнованно спросил Цанди, слушавший их разговор.

– Да, так говорят. С ним был еще человек по имени Буньямин, говоривший на нашем языке. Они обучили грамоте моего отца. А отец передал свои знания мне.

– Эндир, ты грамотный чабан, это хорошо, – улыбаясь, сказал Вачe. – А ты умеешь играть на свирели?

– Как не уметь? Конечно, умею! – молодой чабан немного даже обиделся за странный вопрос, пусть и заданный хорошим человеком.

– В этом я и не сомневался, мой младший брат. Ответь-ка еще на один мой вопрос: – Ты останешься с нами?

– Если отец разрешит, останусь, – не задумываясь, ответил чабан.

– У тебя есть еще братья и сестры?

– Есть. Я старший из братьев...

Эндир ушел, спрашивать разрешение у отца.

Через два дня он вернулся на Одинокий луг, но не один, а с отцом и младшим братом.

Кумри, совсем высохшему от старости, сыновья помогли слезть с лошади. Старик напряг как свои ослабевшие глаза, так и ум, чтобы угадать, кто же из странников, вышедших из помещения, прилепленного к валуну, одинаково одетых, шах, оставивший трон? Видя его усилия, Эндир шагнул вперед.

– Шах, мы приветствуем тебя! – обратился он к Вache. – Это мой отец, его зовут Кумри. Он разрешает мне остаться с тобой. А вот мой старший брат Бутай.

Кумри опустился на колени перед бывшим шахом.

– Приветствую тебя, шах! – сказал он. – Ты... – старый чабан многое собирался сказать, но слова застряли в его груди. Ведь перед ним находился тот, кто отстаивал свое дело в спорах с шахиншахом великого Ирана, объединил лезгинские земли, ради чего вел победоносные войны.

Старик не просто умом, всем своим существом понимал: имеет великий смысл то, что шах, отказавшийся от трона, появился в горах в одеянии странника.

Вache, взяв сильной рукой за плечо, поставил его на ноги, при этом сказав:

– Встань, дорогой брат. Я больше не шах. Отныне я раб Божий.

Кумри точно скинул с себя груз старости, как бурку с плеч, пришел в движение. Сказал сыновьям, чтобы они сняли поклажу с лошадей.

– Мы привезли вам запас продовольствия: тут хлеб, вяленое мясо, брынза.

– Да прибавится у вас благодати! – отозвался Вачe. – Самый большой подарок от тебя, это разрешение сыну остаться с нами.

– Мой сын – он твой сын, шах... брат Вачe, – старый чабан сумел произнести эти непривычные два слова. – Если бы каждый отец приводил к тебе своего старшего сына, исполнилось бы задуманное тобой. А мне что-то подсказывает, что ты взялся за великое деяние.

Слова старого чабана озарило светом сердце Вачe. Теперь он окончательно понял, с какой целью Небесный Отец, которому он тут же вознес молитву, привел его в эти горы.

Кумри слышал эту молитву от армянина Месропа и его ученика Буньямина, который повторял ее на лезгинском языке.

– Как ты, брат мой, узнал Месроп Маштоца? – спросил его Вачe.

– Наша встреча состоялась в пути, когда мы перегоняли стада с равнины в горы. От города Харума до местности Паласа он со своими спутниками и мы, чабаны, шли вместе. Вместе ночевали, вместе ели, много беседовали... Его спутники были лезгинами из Яркинского края. По их словам, они познакомились в городе Ганзак. Я спросил, с какой целью они направляются в Яркинский край. Месроп ответил, что там, в Долине магов, обосновалось много огнепоклонников, они собирались привести их на путь истины. Он знал, что в Яркинский край уже дошел свет вероучения Иисуса Христа.

– Ты понял значение Благой вести, которую он нес?

– Да, он много говорил с нами, объяснял непонятное. Он открыл мне не только глаза, но и сердце. После того многие заботы оставили меня, ушли сомнения, ко мне

пришли вера и понимание. Он обучил меня с товарищами новой грамоте.

Ваче, улыбаясь, обнял старика.

Кумри с сыновьями остались на ночь, но легли они снаружи помещения странников. Старый чабан, обычно для себя, проснулся, когда еще не погасла утренняя звезда. И вдруг он увидел, что утренняя звезда, дрожа, светит внизу, где была котловина. Старик поразился: не может же звезда светить с земли. Он взглянул на небо, потом опять в котловину, и понял: там забил ключ, в воде которого отражалась звезда. Никого не беспокоя, узкой тропинкой он спустился вниз. Утренняя звезда уже погасла, а обильная прозрачная вода в образовавшемся водоеме окрасилась в алый цвет разгорающейся утренней зари.

Кумри, опустившись на корточки, погрузил руку в воду. От ледяной воды в старой руке возникла боль. Он вынул руку из воды.

Старик посмотрел в небо.

– Ты велик, небесный Отец! – проговорил он, и пошел обратно. Когда-то, в далекой молодости, по этой тропинке он проходил с проворством зверя, а теперь задыхался. Но он старался не придавать этому значения, с сердцем, охваченным радостью, спешил сообщить Ваче добрую новость: если там, где остановился человек, ожил родник, это знак свыше.

Бывший шах спал у стены помещения, на куске войлока, накинув на себя ветхий тулуп.

Старый чабан думал, смотря то на спящего Ваче, то на его спутников: «Если это человек взамен трону, власти, богатству, всем возможным благам выбрал эту жизнь, то он знает то, чего не знают другие, видит такое, чего не видят другие, слышит то, чего не слышат другие. Он велик и сердцем, и умом. Он знает, что делает. Благо, отдавать сына для его дела... И те, спутники его – избранные, преданные ему своей чистотой и праведностью. И они люди большого сердца».

– Шах... – Кумри тронул спящего за ногу, высунувшуюся из-под тулупа. Остановился, вспомнив запрещенное, тронул опять: – Брат мой, просыпайся. Есть новость для тебя, радостная!

Прежде Ваче пробудились Цанди и Камчих.

– Что случилось?

– Хорошая новость, братья! Но я хотел прежде обрадовать его.

– Хорошая новость? – Ваче, откинув тулуп, поднялся и сел. – Так что за новость, брат мой?

– Чем услышать, лучше увидеть! Надо выйти наружу.

Все вышли. Кумри указал им на водоем, видневшийся внизу. Окрашенная зарей вода рябила под утренним ветерком.

– Слава Всевышнему, его деяния чудесны! – проговорил Ваче.

– Нет конца благам, Им ниспосылаемым! – сдерживая радость, сказал Цанди.

– Здесь больше не будут падать камни с неба, – сказал Ваче, вспомнив поверье чабанов. – Здесь будет место крещения уверовавших.

Солнечные лучи, брызнувшие из-за дальней вершины, отражаясь, заиграли на воде...

Глава 2

Переведя записи Шуая на современную графику и читая их, я представлял себя одним из спутников шаха Ваче, отказавшегося от трона... А Антер, вместе с ними выехавший из города Харум, конечно же, напоминал мне моего покойного дедушку, портрет которого висел у нас дома на стене. Имя Антера было привычным для нашего рода.

И рассказы Эдгема Шахшана, услышанные мной в Москве, заново и по-новому зазвучали в моей памяти.

Ведь он говорил, что часть наших сельчан, те, к кому испытывал расположение Шуай, являются потомками родов, произошедших от тех людей, которые пришли в наши горы вместе с Вачe. Об этом Шуай сам говорил Эдгему... Дядя Джебес из рода Шахшанов, род Эндиров – к нему относится мой друг Андрей, Кумбаи – имя рода дяди Балака), Камчихи – из них учитель Ингар, дядя Ходжа из рода Цанди... Эти имена остались, переходя от поколения в поколение, бережно хранимые потомками, как бы жизнь ни менялась в течение столетий несмотря на то, что на смену вероучения Христа в наши горы пришла новая религия.

Словом, Шуай мне очень ясно показал, что и дядя Джебес, и дядя Балак, и учитель Ингар, и дядя Ходжа, Андрей и я сам, и немало других наших сельчан, даже наш друг Песен родом из села Тагар, теперь живущий на крайнем севере, все мы являемся потомками «сынов Вачe».

Я мог этим только гордиться. Такие корни не могут не давать силу человеку, крепить его дух...

Еще к одному обязало меня письмо Шуая. Вернее будет сказать, даже не само письмо, эту обязанность я сам возложил на себя.

Письмо Шуая намекало на беду, которая потом сгубила его. А после того, как Шабал Камкам передал мне слова своей жены, у меня не оставалось сомнений, что сделал это Сардар. Прав был учитель Ингар, раньше всех заподозривший его в гибели Шуая.

Но хватит ли всего того, что мне известно, для органов правосудия, чтобы покарать преступника, этого я не знал.

И потом, я спрашивал себя: согласился ли бы сам Шуай, чтобы я поднял этот вопрос?..

Я задумывался над тем, что он сделал так, чтобы я получил его письмо не сразу, а спустя некоторое время. Он как будто хотел, чтобы впечатление от происшедшего потеряло свою остроту, люди успокоились. Исповедующий веру во Христа, он прощал своему врагу?..

Как бы там ни было, я решил поехать в село, навестить Дом Ваче, собрать еще факты, относящиеся к гибели Шуая. Читая записи Шуая, я вспомнил о дощечке в Доме Ваче, о разбившемся кувшине там на полу. Теперь я понимал, что та была не простая дощечка, а глиняная пластина, и она не выходила из моей памяти.

Дождавшись выходных, я поехал и прямо направился к дяде Ходже. Его сыновья, Укай и Гезенти, мне нужны были как помощники на Горе. Они выросли в ладных, крепких парней.

– И я пойду с вами, – тут же решился дядя Ходжа.

– Тебе будет тяжело, – предупредила его жена Зияра.

– Я еще не так стар, жена! Нет, пойду в Гору. Как не помочь родичу? Парни еще молоды, а на Горе нельзя без старшего... А ты не лезь не в свое дело, иди печь хлеб...

Я молчал, знал: старшего родича, если он решил, не переубедишь. Знали это и его сыновья, потому они тоже молчали.

До Хрустального озера мы поехали на моей машине. Оттуда направились в Гору по уже знакомой тропинке. (Не забыть сказать: дядя Ходжа не забыл взять с собой и свою знаменитую веревку из грузовика.)

Укай и Гезенти без конца снимали на свои мобильники красоты природы, чем соблазнили и меня.

– Хорошо вам, живущим с видами гор в кармане, – неодобрительно заметил дядя Ходжа. – Виды родных гор должны быть запечатлены не в телефоне, а в сердце.

Правильно ведь сказал. С дядей Ходжой бесполезно спорить, впрочем, как всегда... И крутую тропинку он одолел молодецки, не жалуясь и не особенно запыхавшись. Жена напрасно беспокоилась, здесь, на Горе, он даже выглядел несколько помолодевшим.

Одолев и хорошо запомнившиеся опасные места, мы дошли до Дома Ваче. Над его наклонившимся куполом сидел орел. Когда еще вдалеке появились мы, он

резко взлетел, тяжело покружился над нами и улетел в сторону Ледовой горы.

Гезенти и Укай (они носили на плече веревку) успели и эту гордую птицу снять на телефоны.

Орла, поднявшегося с Дома Вече, я посчитал за добрый знак.

– Ну, ты чего, вынь и свой мобильник, – сказал дядя Ходжа.

Я его не понял и ответил:

– Орел-то улетел...

– Вместо орла сними меня, чтобы показать моей жене, когда вернемся домой.

Но когда я направил на него мобильник, он рассмеялся:

– Да шучу я, парень! Не надо меня снимать... Вот спустишься в Дом Вече, там снимай.

Это был дельный совет.

У щели от взрыва под куполом Дома Вече Укай крепко обвязал меня веревкой за пояс. Одной рукой я держался за веревку, а в другой держал мобильник, которым собирался снимать увиденное и освещать внутри Дом Вече.

Меня осторожно спустили.

Я нашел там глиняную пластину, поднял и направил на нее свет: на ней были кавказско-албанские надписи. Я не стал в них разбираться, что было бы трудно без помощи параллельных древнего и современного лезгинского алфавитов, так как я не все помнил. Под смятым сундуком у стены я нашел немало писем в конвертах. Все они были адресованы в Кремль, Сталину. Перебирая их, я увидел конверт с адресом, выведенным детским почерком: письмо вождю от маленького Балака...

– Нашел, что тебе нужно? – спросил сверху дядя Ходжа.

– Да, кое-что нашел. С ним я разберусь в Махачкале... И вот еще, письма мамухцев Сталину. А это написал дядя Балак.

– А ведь он знал, что письмо здесь. Кажется, даже хотел заполучить его обратно.

– Надо эти письма раздать детям, внукам тех, кто их написал.

– Правильно, родич, – согласился дядя Ходжа.

Мы вернулись в село.

– На один день я стану почтальоном, – сказал дядя Ходжа, – раздам письма. Потом, если захотят, пусть отнесут в школьный музей. Чтобы люди знали, какие были времена... А вот письмо Балака сам отнеси его старухе. Все же мать твоего друга. Тебе и так следует ее навестить, родич.

Тетю Нурге я нашел на террасе дома. Постаревшая, она сидела на постели, растеленной у стены на ковре. Прикрывая рот рукой, она тихо покачивалась. Знакомая картина, заставившая заныть мое сердце... Дома оказались ее старший сын Палча и его жена.

– Ты кто, сынок? – спросила тетя Нурге, ответив на мое приветствие. – Не узнаю, милый, совсем ослепла я.

– Это я, Антер...

– Да буду я жертвой ног твоих, которые привели тебя ко мне! Спасибо, милый, что вспомнил меня... А вот Айсам еще не вернулся...

Я молчал, ощущая ком в горле.

– Почему ты так говоришь? Вернулся же и он, – вступила в разговор невестка, напоминая ей о внуке.

– Ты не обманывай меня. Я тебе не Балак. Я знаю...

– Вернется он, – сказал сын. – Вернется, мать.

– Когда?

– Он же военный, мать, не то что мы, сельские. Его время принадлежит не ему самому. Когда ему разрешат, тогда и приедет.

– Хорошо, если так, – прикрыв рот рукой, тетя Нурге опять стала покачиваться и вскоре задремала.

Невестка подложила ей подушки.

Я отдал Палче письмо, в детстве написанное отцом.

– Нашел в Доме Ваче? Сохранилось... – Он повертел письмо в руках. – Он нам рассказывал, что написал на

лезгинском. А мы: «Разве Сталин знал лезгинский язык?» Он ответил: «Тогда я думал, что Сталин знает все языки». Что же писал вождю маленький отец? – Вздохнув, он распечатал конверт и вынул оттуда листок, исписанный по-детски крупными буквами, черным карандашом, с нажимом. Палча прочитал вслух: «Дорогой и любимый дедушка Сталин! Меня зовут Балак Кумбаев. Я ученик второго класса школы села Мамух. Я хорошо учусь. И еще я слушаюсь маму. Моего папу Абди дядя Велихан увел, приставив к спине пистолет. Папа до сих пор не вернулся. Дорогой дедушка Сталин, скажи, чтобы отпустили его. Мой папа очень хороший. А твое добро я никогда не забуду».

– Написано без ошибок, – помолчав, сказал Палча.

– Дядя Балак никогда не допускал ошибок! – вдруг выпалил я.

В тот же день я вернулся в Махачкалу.

Глава 3

Надо было разобрать надписи на глиняной табличке. Весь текст я переписал на современную графику.

Вот что там было написано:

«Сардар, сын Вурдихана, пришел, следуя за лошадью Джебеса. Увидев меня, он отогнал лошадь. Я закрылся в помещении, задвинув запор. Он кричит: «Теперь проси защиты у своего Христа! Я взорву тебя! Вернусь в село и сожгу твой дом! Зуб за зуб!» Он что-то бросил в дымоход очага. Он не ведает, что творит. Я его прощаю. Его не трогайте».

Теперь у меня не осталось никаких сомнений, все стало на свои места. Итак, Сардар взорвал Дом Ваче, убил Шуая, сжег его дом. В село он сумел вернуться незамеченным еще и потому, что весь народ вышел к реке, увлеченный невиданным и неожиданным селевым потоком. Он скрывался у себя дома, а ночью под-

жег дом Шуая и сбежал из села. Чтобы его как-нибудь не заподозрили, он отпустил лошадь, которая привела его к Дому Ваче. А поймал он ее в поле у подножия Горы. Здесь ее оставлял пастись Шуай, и умное животное ждало его... Видимо, Сардар не думал, что лошадь вернется в село. Но когда он ее грубо прогнал, она почувствовала, что у этого человека злой умысел, и поспешила дать знать об этом хозяину.

Я опять вспомнил о разбитом кувшине и влажном следе в Доме Ваче, увиденном, когда спустился туда в первый раз. Возможно, Шуай заранее принес воду с близкого Небесного озера, приготовил и глиняную табличку, догадываясь о своем неминуемом конце. Он знал, что погибнет от рук Сардара. И приготовился оставить свое свидетельство. И он также знал, что найдутся те, кто будет искать его свидетельство...

Сделав это, он попросил: его не трогайте... В ответ на «зуб за зуб»...

Всю ночь я не мог спать. Как мне теперь поступать? С одной стороны, есть преступник, убивший человека, повинный и в кое-чем другом, и факты, разоблачающие его. С другой стороны, прощающий врага Шуай: его не трогайте...

На следующий день, придя на работу, я нашел в справочнике рабочий телефон Сардара. Передо мной уже не стоял вопрос: что делать? Решение мое созрело.

Я позвонил, трубку взяла секретарша. Я назвал себя.

– Не кладите трубку, – попросил милый голос секретарши, – я сейчас сообщу.

– Алло, – другой голос, сухой, без эмоций.

– Это я, – тоже сухо, не приветствуя, ответил я.

– Знаю. Что надо?

– Мне от тебя ничего не надо. Но я тебе что-то прочту, ты послушай, – я прочитал ему записку Шуая на глиняной пластине, только без слов «Я его прощаю. Его не трогайте».

В трубке наступило молчание. Потом он спросил:

– Что это такое? Я не понял.

– Это записка, найденная в Доме Вече.

– Ты решил подшутить надо мной? За кого ты меня принимаешь?

– Во всяком случае, не за того, за кого ты сам себя принимаешь. И я не шучу. Это написал Шуай.

– Что еще надо доказать...

– Есть все доказательства. Написана записка его рукой. Есть видеозапись из Дома Вече. Есть и свидетели, видевшие, как ты поймал лошадь и поехал на Гору.

– Парень, это давнишняя история, – он попытался придать своему голосу мягкость. – Тебе надо в ней копаться? И разговор не телефонный. Скажи, куда приехать. Договоримся.

– Не получится. Я за версту обхожу места, где бывают тебе подобные.

– Тогда скажи, сколько тебе надо?

– Чего?

– Денег... Всего, чего хочешь. Дом. Машину. Землю...

– Нет, я уже сказал: мне от тебя ничего не надо... И еще скажу: ты худший из негодяев, руки которого в крови ни в чем не виновного человека.

Испытав наконец-то чувство облегчения, я положил трубку.

Потом я звонил в село: дяде Джебесу, учителю Ингару, дяде Ходже (теперь это не составляет труда, у всех ведь мобильники). Всем им я прочитал записку, найденную в Доме Вече, и сообщил о своем разговоре, состоявшемся с Сардаром.

– Ты правильно поступил, сынок, – сказал дядя Джебес. – Дух Шуая будет доволен твоим поступком.

Поддержал меня и учитель Ингар.

Только дядя Ходжа, взволновавшись, заявил:

– Надо было посадить кабаньего сына! Таким надо показывать свое место!

Но я считал, что тюрьма будет не той мерой наказания, которую заслуживает Сардар. Тем более, что, не секрет, в наше время такие и в тюрьме живут вольгот-

но, чуть ли не хвастаясь содеянным и представляя себя героями. Исполняя посмертную волю Шуая («Я его прощаю. Его не трогайте»), я верил, что преступника накажет сама жизнь, и это наказание окажется более справедливым. Каждый день своей жизни он будет помнить: люди знают, что он убийца, чьи руки в невинной крови. И будет он пребывать в постоянном ожидании наказания в этой и в той жизни. Можно ли придумать наказание страшнее?.. (Мне было известно, что Сардар несколько раз отправлялся на хадж в Мекку.)

При этом я думаю и о неизвестных убийцах, уничтоживших Эдгема Шахшана и его семью. Думаю и об известном нам Бетихе. Все они существа одной породы...

Прошло несколько дней, когда газеты сообщили, что Сардар освобожден от должности по собственному желанию.

После этого он исчез, куда – никто не знает.

Никто и не хочет об этом узнать.

Вместо эпилога

На этом можно завершить историю моего односельчанина Шуая.

Возможно, кому-то он казался человеком «дна» жизни. В действительности это было не так. Он был человеком совести и справедливости, его внутренний мир был велик, чист, открыт, его доброта и любовь не избирали, доходили до всех. Мало людей, способных достичь уровня человечности, каким он обладал. Те «сыны Вачe», кого я знаю, сумели лишь приблизиться к нему или старались приблизиться.

А жизнь продолжается.

И Большая река шумит и течет.

И горные вершины, которые окружают село Мамух, не меняются в своем вековечном величии, наделяя людей своим духом.

И село, как бы оно ни было удалено от столиц и больших городов, где кипит жизнь, старается идти в ногу со временем. Мамухцы не любят плестись позади!

Как-то ночью люди увидели свет в окошке склепа Шуая...

Тут нельзя не рассказать, как было дело.

Мамухцы решили, объединившись, отпраздновать день села. Тут они оказались впереди всего Дагестана: после них день села стали отмечать повсеместно.

А мысль об этом пришла учителю Ингару. Говорят, как-то на киме он провозгласил: «Если власть не может, то должен смочь народ!» Он-то знал, что мамухцев больше на стороне, чем в самом селе, и многие из них были его учениками. И он решил собрать мамухцев: тех, кто живет далеко, и тех, кто не очень далеко, и тех, кто остался в селе. Решение учителя получили одобрение сельчан, они поручили ему взяться за это дело, пообещав и помощь со своей стороны.

Я со своей стороны собрался сообщить о празднике всем односельчанам, кого знал, но они уже были

поставлены в известность и в назначенный день собирались ехать в село вместе с семьями.

Я позвонил и Андрею.

– Ты знаешь? – спросил я.

– О дне села Мамух? Знаю.

– Приедешь?

– Как не приехать? Приеду.

Потом я позвонил Песену. После обычных расспросов я сказал:

– Приглашаю тебя вместе с семьей на день села Мамух. Я говорю от имени председателя оргкомитета праздника учителя Ингара, твоего старого знакомого. Расходы на дорогу – твои, на месте – мои.

– Но я же не из Мамуха...

– Тебя мы приглашаем как почетного жителя Мамуха! На празднике будут не только мамухцы. А учитель Ингар включил тебя и в праздничную программу, нам не обойтись без твоей зурны.

– Приеду, друг, приеду. Я ведь тоже скучаю по родине...

Не мог я не пригласить и Шабал Камкама. Он обрадовался и сказал:

– А можно мне приехать вместе с Цюкер-ханум?

– Без нее тебя могут и не принять на празднике.

– Приеду, друг, приеду. Андрей и Песен будут на празднике?

– Да, будут.

– Это здорово!

...Праздник села Мамух провели в августе, на просторной зеленой площади у школы.

Утром рано на главном сельском киме зурначи заиграли «Зори». Группа людей под музыку прошлась по улицам села и спустились к школе. Вот таким образом сельчан пригласили на праздник.

Прежде всего, на лугу поставили опоры и натянули канат, направив его от восхода к заходу солнца.

– Откуда пригласили канатоходцев? – спросил я у учителя Ингара, зная, что дядя Джебес давно уже не поднимается на канат.

– Мы еще не дошли до того, чтобы приглашать их со стороны! – весело ответил учитель. – У нас есть свой молодой канатоходец.

По нижней дороге в село разноцветной вереницей въезжали автомобили. Много их уже было припарковано в нескольких местах в селе. С террас домов свисали ковры, придавая селу еще более праздничный вид.

В школьном саду поднимался дым от открытых очагов, там мужчины-повара готовили праздничное угощение.

По всему длинному коридору школы были расставлены столы. (Почему не на открытом месте? Сельчане знают: у нас и в самый ясный день может налететь неожиданный дождь.) А чтобы места хватило всем гостям, столы со стульями поставили и в классах.

Не забыли и про микрофоны: все должны были слышать, что говорит тамада и тостующие.

Девушки в кувшинах носили воду с близкого Родника у мельницы. Женщины уже накрывали столы...

Из вновь прибывших машин выходили празднично одетые мужчины и женщины с детьми и направлялись к площади.

Пожилых мужчин (с ними был и дядя Джебес, ради праздника не по погоде одетый в костюм и каракулевую папаху) и женщин усадили на стулья на стороне, откуда удобно было наблюдать за всеми праздничными действиями. Среди женщин я заметил тетю Тургую, жену дяди Джебеса, и тетю Нурге, жену дяди Балака, мать Айсама.

Учитель Ингар, взволнованный, беспрестанно двигался с программкой праздника и недавно изданной в нашем издательстве своей книжкой в руке, у кого-то что-то спрашивая, напоминая, вновь поручая.

– Ну как? – подошел он и ко мне. – Приехали твои друзья? Скоро начнем!

– Пока их не видно. Позвонить?

– Не стоит. Тому, кто в пути, звонком не поможешь.

Он отошел.

Кто-то сзади крепко обхватил меня, приподнял и опустил. Оглянулся – Песен. Рядом с ним стояли женщина и трое мальчиков.

– Моя семья, – представил он. – Супруга Мария, сыновья: Уткем, Самур, Алпан.

– Какая красота! – оглядываясь кругом, выражала свое восхищение Мария. – Я никогда такого не видела! Какие высокие горы! А какое высокое небо!

Мальчики снимали на камеры мобильников все видимое.

– Где твои, жена и дети? Не приехали? – спросил Песен.

– Жена в школе, помогает накрывать столы, и мальчишки где-то здесь, носятся со своими сельскими друзьями.

Пока мы говорили, к нам подошла маленькая девочка с большим бантом на голове.

– Милые дяденьки! – обратилась она к нам по-лезгински, не без труда произнося заученные слова. – Вы – сыны Вачe?

– Да, дочка, да! – ответил я. – А ты кто?

Девочка пожала плечами, по-лезгински она не понимала.

– Как тебя зовут? – спросила жена Песена.

– Меня зовут – Диляса Андреевна!

– О! – я взял девочку на руки.

«А Эдгем с Дилясой ее не увидели...» – сердце пронзила боль, но не время было поддаваться ей. Я обратился к девочке:

– Ну-ка, позови сюда своего папу!

– И маму тоже? – спросила девочка.

– И маму тоже!

– Папа! Мама! Идите сюда!.. Они там прячутся, – пояснила девочка. – Вот идут!

Подошли Андрей с Эсмер, но Диляса Андреевна успела мне шепнуть:

– А у нас еще сюрприз... Но я вам не скажу!

– На сюрпризы вы большие мастера, – сказал я. – Ну-ка, мастера, дайте мне вас обнять!

Учитель Ингар, появившись, тоже поприветствовал гостей, после чего повел нас к дяде Джебесу.

– Он ведь ждет не дождется, – сказал учитель, освобождая нам дорогу среди людей. – Все спрашивает, жалуется, что телефон не отвечает.

Увидев нас, и дядя Джебес и тетя Тургуя встали и поспешили нам навстречу...

– Пора! Я начинаю, – сказал учитель Ингар. И предупредил нас: – Вам всем троим будет предоставлено слово, будьте готовы. Только не тянуть, желающих говорить много... Песен, я знаю, ты не очень любишь говорить, можешь сказать своей зурной... Ты инструмент привез?

– Без него вы едва ли пустили меня в село... Он в сумке Марии.

От села по склону вниз съехала машина дяди Ходжи с нарядными девушками с цветами в руках, они громко исполняли песню «Высокие горы». Их шумно приветствовали, раздались благопожелания и здравицы.

У учителя Ингара в руках появился микрофон, со всех сторон на него направились видеокамеры и мобильники.

– Небеса синие! Гора Алпан! И остальные наши горы! У вас прошу позволения сказать слово свое! – начал учитель. – Уважаемые мамухцы! И дорогие гости, с приездом которых ярче засияло нам солнце! Всех вас поздравляю с этим днем! Здравствовать вам!

Сегодня наш древний Мамух уподобился столице прекрасного Лезгистана. Еще раз: с праздником вас!..

Учитель Ингар первым предоставил слово старому канатоходцу Джебесу, которого в прошлом хорошо знали во всем Лезгистане, почтенному аксакалу, олицетворяющему честь и совесть народа.

Раздались бурные аплодисменты.

А я-то думал, что учитель не удержится, прочтет стихотворение из своей книги...

Дядя Джебес вышел вперед с пакетом и легкими кожаными туфлями в руках. Микрофон, который протянул ему учитель Ингар, он не взял. Он передал ему сначала пакет, потом, сняв с себя, пиджак. Он также стянул с ног свои блестящие сапоги и надел кожаные туфли. Учитель Ингар выглядел удивленным: он ничего не понимал, происходящее не входило в его программу.

Ни на что не обращая внимания, дядя Джебес подошел к той опоре натянутого каната, к которой был прислонен балансир.

Все это время на лугу молчали. Неужели старый канатоходец решил вспомнить молодость? Но он, при сохранившейся внушительности своей атлетической фигуры, слишком стар, вот и плечи приопущены...

– Песен! – позвал он. – Где ты, парень? Иди сюда!

Песен, не забыв взять зурну, подбежал к нему.

– Сыграй «Лезгинский марш»! – приказал дядя Джебес.

Песен заиграл. Один из местных зурначей, подойдя, стал рядом и начал ему вторить. И все пошло по правилам.

Впрочем, не все: мальчишка лет семи, подхваченный мелодией, под одобрительный смех и восклицания, начал маршировать под канатом. Его, Айсама – внука покойного дяди Балака, увела выбежавшая мама.

Дядя Джебес осторожно, но уверенно поднялся на канат. На развилке первой опоры, упирая балансир концом в землю, он жестом остановил зурначей, что-то сказал учителю Ингару. Ловко поймав микрофон, им подброшенный, дядя Джебес заговорил:

– Свое слово я скажу отсюда. Дорогие мои односельчане и гости! Сыновья мои! Дочери мои! Мои внуки и правнуки! Здравствовать вам на долгие годы! Благополучия и счастья! Я несказанно рад видеть своими

глазами сегодняшний день. И сожалею, что многих, кто должен был находиться здесь, уже нет. Что делать? Будем помнить о них. Будем считать, что они всегда с нами. Я знаю: они смотрят на нас сверху и радуются вместе с нами. И говорят: «Поздравляем! Радуйтесь!» То же самое, отсюда, с каната, говорю вам я. Никогда не будьте слабыми и мелкими! И не делайте такими других. Ни при каких обстоятельствах не опускайте голову! И другим не давайте это делать. Оставайтесь самим собой, что бы с вами ни случилось! Любите свою малую родину и великую страну! Нашу великую и прекрасную, нашу бескрайнюю и незаменимую Россию! Не отдаляйтесь от своей земли и друг от друга! И тогда никто нас не одолеет. И не будет счастливее нас... – Взглянув вниз, он крикнул: – Песен, «Одинокий луг»! – и кинул микрофон учителю Ингару, который тоже сумел его ловко поймать.

Музыканты заиграли.

Дядя Джебес так же осторожно, как поднялся на канат, прошел от одной опоры до другой и спустился на землю под оглушительные аплодисменты.

Оказалось, что он еще не окончил и не все сказал. Опять завладев микрофоном, забрав у учителя Ингара свой пакет, он обратился к односельчанам:

– Дорогие мои! Хочу освободить себя еще от одной заботы. – Он вынул из пакета и, подняв, показал всем свое одеяние канатоходца. – Сегодня я впервые в жизни поднялся на канат, не облачившись в это одеяние. И сейчас я поднимался на канат не как канатоходец. Меня подняли туда радость и на короткие минуты вернувшийся задор молодости. Я не хочу, чтобы это одеяние, с амулетами, обновленными покойным Шуаем, оказалось заброшенным за ненадобностью. Я дарю его нашему молодому канатоходцу. Пусть он подойдет сюда!

Одежду канатоходца дядя Джебес сразу надел на подошедшего к нему статного юношу в спортивном ко-

стюме. Оно ему оказалось впору. Юноша поблагодарил старого канатоходца и поклонился ему.

Им вновь зааплодировали.

Дядя Джебес вернулся на свое место.

Заговорил учитель Ингар:

– Я хотел предоставить слово другу нашего села Песену. Но он решил, что свое слово скажет мелодиями. Мы не против: пусть больше играет, иначе не отпустим его из села!.. А слово я предоставляю человеку, которого вы все очень хорошо знаете, моему любимому ученику Антеру Мазанову!

После поздравлений односельчан с праздником я добавил:

– Мною написана книга о нашем селе и о наших односельчанах. В нее вошло и все то, что я мог бы здесь сказать. И обещаю вам: я допишу о нашем сегодняшнем празднике. Этот день, объединивший всех нас, вдохновляющий, дающий чувствовать, как мы сильны, когда вместе, должен остаться в нашей истории! Воспоминания об этом дне всегда будут озарять наши сердца!

Дядя Ходжа, когда ему дали слово, сказал:

– Здоровья и благополучия вам, дорогие односельчане! Поздравляю! Что еще сказать? Не додумаешься, не опрокинув стопку...

Дяде Ходже, пожалуй, хлопали больше всех, конечно же, за содержательную краткость его выступления...

Предоставляя слово Андрею, учитель Ингар напомнил сельчанам, кто он такой, а при упоминании имен Ясаба и Арины Федоровны на площади наступило молчание: в селе их помнили. При этом Эсмер с дочкой встали и куда-то ушли.

Мой друг был краток, он сказал, что готов помочь селу и школе, где работала его мать. Он также сообщил, что готов восстановить Дом Ваче, и что с завтрашнего же дня он приступит к строительству нового дома на месте развалин дома отца.

– А теперь, с позволения тамады, – сказал Андрей, оглядываясь и выискивая кого-то среди людей, пере-

дать микрофон еще одному человеку. Посмотрим, узнаете ли вы его. Выйдя к нему, микрофон взяла Арина Федоровна. Вот, оказывается, какой сюрприз имела в виду маленькая Диляса!

Пожилые люди все узнали Арину Федоровну. Женщины прослезились. А кто ее не знал, тем все объяснил учитель Ингар. Рукоплескала вся площадь, рукоплескал, широко улыбаясь, и сам тамада.

– Мои дорогие! Родные мои! Мои односельчане! – заговорила Арина Федоровна, пытаясь жестами успокоить площадь. – Вот я вернулась на родину. Я готова остаться здесь и жить, чтобы меня здесь и похоронили.

Совершив низкий поклон, она выпрямилась, и все увидели, что она плачет. Андрей отвел мать туда, где находились пожилые сельчане, они встретили ее объятиями, со слезами на глазах, как самого дорогого человека.

А праздник продолжался.

Молодой атлет в одеянии дяди Джебеса показал на канате, на что он способен. И старых и малых смешил шут, но сегодня в его мешке была не мука, которая летела бы в лицо тем, кто не одаривал его. Сегодня сам он, беря из мешка, одаривал конфетами и сладостями детей и старых женщин.

Много пели, много танцевали.

Я же жалел об одном: так и не появились Шабал Камкам со своей Цюкер-Ханум.

Ближе к вечеру всех пригласили в школу, к праздничным столам.

Учитель Ингар и тут оставался тамадой.

Оправдалось и народное поверье, что небеса откликаются на людскую радость: в одно время загрохотал гром и на землю брызнул короткий освежающий дождь.

Получилась бы целая книга, если бы я решился записать все тут сказанные тосты, состоявшиеся разговоры, бесконечные воспоминания. Но пусть уж за это возьмется кто-нибудь другой, кто сможет...

Не тот ли возьмется, кто, опоздав, вдруг возник в дверях, когда его уже не ждали – Шабал Камкам! А рядом жена, которая чуть ли не на голову была выше него.

Я взмахом руки показал ему, где нахожусь. Не удержался от упрека:

– Почему опоздал, парень?

– Утром заявился тесть. Пришлось везти его в Дербент, потом доставить к себе домой... Тестя нельзя не уважать, а то заберет свою дочь, – пошутил он.

– Это твой любимый поэт Шабал Камкам, – представил я его учителю Ингару.

– Тебе мы всегда рады! – сказал тамада.

– И два штрафных ему! – добавил дядя Ходжа.

– Два штрафных за что? – спросил тамада.

– Один – за опоздание, другой за то, что жена выше него, – пояснил дядя Ходжа.

При поднявшемся смехе Шабал Камкам заявил:

– Я не против!

За него заступилась Цюкер-Ханум:

– Жена Пушкина тоже была выше мужа!

– О! – дядя Ходжа уважительно взглянул на поэта. – Тут добавить нечего. Иди, сядь рядом со мной, наш Пушкин.

Опустошив штрафные, Шабал Камкам вместе с женой сели на указанное место.

В начале застолья тамадой были обещаны три подарка за тосты: за самый длинный, за самый короткий и за самый красивый.

За самый красивый тост барана получил Шабал Камкам, за самый короткий индюка – Песен, за самый длинный петуха – дядя Ходжа...

Какие были тосты? Их обещал записать Шахбал Камкам...

К концу застолья дядя Ходжа тоном, не допускающим пререканий, сказал мне:

– Сегодня ты и вся твоя команда идете ко мне домой!

– Нет! – решительно воспротивился я. – Кого приглашал я, они пойдут домой ко мне!

– Понятно: с бараном и индюком ты их к другому не пустишь, – дядя Ходжа хлопнул меня по спине, и уступил: – Хорошо, но завтра вы все придете ко мне!

Это предложение мы приняли непрекословя...

– Смотри, Пушкина не отпускай!

– Ни в коем случае!

... В ту ночь в окошке склепа Шуая люди видели свет.

Там горела свеча, поставленная Ариной Федоровной.

09.01.2004 – 08.04.2020

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление

3

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

6

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

104

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

226

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

275

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

333

Вместо эпилога

371

Арбен Кардаш

(Арбен Мехединович Кардашов)

СЫНЫ ВАЧЕ

Роман

На русском языке

Редактор *Н. Раджабова*
Художник *Р. Темирова*
Художественный редактор *Ф. Гаджиев*
Технический редактор *М. Гучева*

Подписано в печать 04.09.2026
Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная
Гарнитура «PF Centro Serif Pro». Печать офсетная
Уч.-изд. л. 18,2. Усл.печ. л. 20,2
Тираж 300 экз. Заказ № 99
Цена свободная

ГАУ РД «Дагестанское книжное издательство
«Даггосиздат»
Министерства цифрового развития,
информации и печати РД
367018, г. Махачкала, пр-т. Насрутдинова, 1а
E-mail: daggosizdat@mail.ru

Отпечатано в ООО «Феникс-пресс»
368430, РД, Шамильский р-н, с. Хебда